



МИХАИЛ ШОЛОХОВ

*в воспоминаниях, диссеминациях, письмах
и статьях современников*

1941—1984

Виктор Васильевич Петелин
Михаил Шолохов в воспоминаниях,
дневниках, письмах и статьях
современников. Книга 2. 1941–1984 гг.

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3119765

Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Кн. 2. 1941—1984 гг. / Сост., вступ. ст., коммент., примеч. В.В. Петелина.: Шолоховский центр МГОПУ им.

М.А. Шолохова; Москва; 2005
ISBN 5-8288-0776-5, 5-8288-0774-9

Аннотация

Перед читателями – два тома воспоминаний о М.А. Шолохове. Вся его жизнь пройдет перед вами, с ранней поры и до ее конца, многое зримо встанет перед вами – весь XX век, с его трагизмом и кричащими противоречиями.

Двадцать лет тому назад Шолохова не стало, а сейчас мы подводим кое-какие итоги его неповторимой жизни – 100-летие со дня его рождения.

В книгу вторую вошли статьи, воспоминания, дневники, письма и интервью современников М.А. Шолохова за 1941–1984 гг.

Содержание

Часть первая	4
Илья Котенко I	4
Юрий Лукин I	12
Борис Ливанов I	26
Борис Сперанский	29
Петр Луговой	31
Ф.С. Князев	37
Новый роман Михаила Шолохова	39
Новые главы романа «Они сражались за Родину»	40
Казачи-гвардейцы в гостях у Шолохова	41
Л. Большаков	42
Часть вторая	46
Владимир Гаранжин	46
Леонид Кудреватых	57
И. Араличев I	60
Полковник А. Выпряжкин	64
Писатель М.А. Шолохов выехал из Сталинграда	68
Встреча писателя М. Шолохова с читателями	69
В. Соколов, спецкор «Литературной газеты»	70
50-летие Михаила Шолохова	73
Петер Вереш (Венгрия)	74
Эрвин Штриттматтер, немецкий писатель	77
Евгений Люфанов I	79
В. Коротеев, В. Ефимов	81
Николай Кочнев	86
Капитан милиции В. Жуков	88
Сергей Герасимов I	89
Л. Лубан	98
Петр Глебов, народный артист РСФСР I	100
С. Бондарчук I	104
Свен Сторк	107
Беседа М. Шолохова с Д. Стейнбеком	109
Возвращение М.А. Шолохова из заграничной поездки	110
В. Крупин	111
Гюннер Герсов, датский писатель	114
Встречи М. Шолохова в Праге	118
Франтишек Кубка (Чехословакия)	119
Федор Шахмагонов I	127
М. И. Привалова	172
Петр Гавриленко I	183
Конец ознакомительного фрагмента.	198

Виктор Петелин

Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг

Часть первая Война

Илья Котенко¹ Снаряженные народом

1

Не знаю, откуда происходит слово «наряд». В словаре сказано, что это «группа лиц, выполняющая служебные обязанности по особому назначению, а также сами такие обязанности». Но откуда оно взялось? Может быть, от старого русского ратного слова «снаряжать».

Первый раз оно пришло и осталось в памяти вместе со старой песней, которую певали по вечерам рыбаки станицы Елизаветинской: «Снаряжен стружек, как стрела, летит...» А потом оно, совершенно уже в другом виде, возникло в донецкой степи, когда мы, шахтерские мальчишки, под всякими предложениями стремились проникнуть в большую, с цементным полом, комнату у самого шахтного ствола, которая так и называлась – «нарядная». Перед сменой здесь всегда былолюдно, шумно, накурено. Здесь можно было узнать все поселковые новости, и отсюда, проверив в последний раз свои лампочки, на ходу докуривая сигарки, уходили шахтеры куда-то далеко под землю.

Много лет спустя, в годы первой пятилетки, мы, только что начавшие бриться комсомольцы, снова встретились с «нарядной». Это был деревянный, сбитый из горбылей барак, стоявший в самом дальнем углу строительной площадки Сельмашстроя. По утрам вокруг него собирались сотни подвод и саней, на снегу ярко зеленели клочки душистого донского сена, над лошадьми поднимался пар, а их хозяева, «грабари», съехавшиеся чуть ли не со всей Центральной России мужики, толпились в бараке, грелись у железных бочек, превращенных в печки, ругались с нарядчиками. Получив «маршрут», «грабари» поглубже натягивали треухи и выходили к своим «грабаркам», чтобы через несколько минут мчаться на них по дорогам в каменоломни, к Дону, за песком и на станцию Нахичевань-Донская, где на платформах высились шершавые ящики с заводским оборудованием.

После мы встречались с этим словом в армии. Как и многое в жизни, оно, это слово – «наряд», оборачивалось иногда своей неожиданной стороной, с малоприятным добавлением «вне очереди». Но зато как много гордых и глубоких ощущений и мыслей рождало оно, когда, осмотренные с ног до головы старшиной, мы уходили в гарнизонный наряд. Засыпает хорошо поработавший за день город, гаснут в многоэтажных домах огни, затихает даже листва на деревьях, и кажется: весь земной шар погружается в сон, а ты стоишь, прижав к

боку винтовку, и чувствуешь, что охраняешь не крохотный объект, вещевой или продовольственный склад, а покой миллионов людей.

И вместе с народом становились мы в грозные годы в наряд, который был уже общегосударственным, общенародным, общечеловеческим.

2

В конце августа 1941 года к нам в действующую на Смоленском направлении XIX армию неожиданно прибыли Михаил Шолохов, Александр Фадеев и Евгений Петров. Впрочем, неожиданным их появление могло показаться именно тогда. Сейчас понятно, почему они появились в тот трудный месяц войны именно у нас, в нашей армии, на нашем участке.

Редакция нашей газеты «К победе» вместе с другими подразделениями штаба армии стояла тогда в лесах восточнее Вадино, неподалеку от шоссе Вязьма – Смоленск. Больше месяца передовые части вели позиционные бои под самой Духовщиной. Около колес типографских машин уже стала пробиваться зеленая травка осеннего побега, выгоревшие брезенты на машинах провисли под тяжестью опавших листьев, а по ночам часовые, выходя на посты по охране бивака, набрасывали на плечи шинели. Похоже было, что армия готовилась зимовать на занятых рубежах: мы еще спали в зеленых шалашиках, сложенных из соснового лапника, но отделение саперов в самом центре нашего расположения откапывало для всей редакции гигантскую землянку. Стала лучше работать полевая почта, появился военторг, даже тропинки между штабными подразделениями кто-то аккуратно посыпал песком. Словом, после беспокойного и тяжелого отхода армии из-под Витебска, через горящую, сметенную бомбами Рудню, опустевший Смоленск и заваленную трупами и разбитой техникой Соловьевскую переправу наступила пора передышки и ответного удара.

И он, этот ответный удар, наступил. Сначала на участке нашей армии вышла после длительных боев в немецких тылах большая группа под командованием генерала Болдина. В прорыве фронта участвовали авиация, танки и крупные части армии. Затем, развивая успех, полк под командованием полковника Грязнова повел успешное наступление; за ним пошли вперед другие полки и дивизии. Мы впервые увидели трофейные немецкие автоматы, танки, орудия и немецких пленных. Это был, по существу, один из первых крупных ударов, которые нанесли наши полевые войска на Западном фронте, и все мы мотались дни и ночи, не зная передышки: на передовую, в освобожденные деревни, к разведчикам и снова к себе в редакцию.

В разгар этих событий и появились у нас Михаил Шолохов, Александр Фадеев и Евгений Петров². Об их появлении в армии мы узнали накануне и с нетерпением ожидали: зайдут они к нам или нет? Кто-то передавал, что они путешествуют по передовой вместе с командующим армией генералом Коневым, что будто Шолохов, где только можно, ищет донских казаков, а Фадеев – дальневосточников. Обсуждали вопрос: стоит ли их просить написать в нашу газету и чем угощать?

Появились они неожиданно, когда мы, расположившись на брезенте, поедали свой военторговский обед. Первым из-за маленьких сосенок вышел Михаил Александрович. Увидев нас, он остановился, поджидая Фадеева, Петрова и сопровождавшего их работника политотдела армии, затем сделал несколько шагов вперед и, чуть улыбаясь, приложил руку к зеленому козырьку фуражки:

– Здорово, земляки!

Мы вскочили. За время войны мы научились должным образом относиться к званиям и чинам: на петлицах наших гостей пестрели «шпалы», у Фадеева, если не ошибаюсь, был даже «ромб». Только наш старейшина, любимый «батя», писатель Александр Бусыгин, с

ухмылочкой вытер ладонью рот и, поправив выгоревшую, закапанную смолой пилотку, шагнул навстречу:

- Здорово, Михаил Александрович!
- Здравствуй, Александр Иванович!

Они поздоровались чинно, чуть склонив головы, но в глазах обоих бегали какие-то удивительно милые бесенята, а затем, видимо не выдержав, они – и Шолохов, и Бусыгин – бросились друг к другу и обнялись так, что, казалось, намертво прикипели к спинам их руки. Затем Бусыгин поцеловался с Фадеевым, крепко пожал руку Петрову и как-то ловко обхватил их всех троих.

Евгения Петрова мы, тогда еще совсем молодые литераторы, до этого не видели ни разу. А что касается Шолохова и Фадеева, то это были наши, донские; многие с ними крепко дружили, почти все с ними встречались и, уж во всяком случае, знали их жизнь неплохо. И вот, когда они так стояли, обнявшись, в тени высоких сосен, на Смоленской земле, одетые в военную форму, я вдруг понял, почему эти трое дорогих нам людей на какую-то секунду замерли, прижавшись друг к другу.

В годы гражданской войны Шолохов, совсем еще тогда парнишка, мотался с продотрядом. Фадеев был комиссаром партизанского отряда, имея за плечами тоже не более двадцати лет. А Саша Бусыгин в девятнадцать лет был командиром красного бронепоезда. С той поры они немало сделали: славили жизнь, мужество, верность. Они любили друзей, детей, литературу, песни и вот снова встретились, одетые в армейскую форму, на далекой от Дона Смоленской земле, встретились опять на войне.

Впрочем, эта минутка-грустинка прошла, как березовый желтый листок, медленно проплывший мимо них на землю. Михаил Александрович, тая в уголках губ улыбку, кивнул в сторону нашей строящейся землянки:

- Устраиваетесь?
- Не помешает! – отозвался Бусыгин.
- Армия в наступление пошла, а вы курень строите!
- Наступать нам, Миша, далеко...

Шолохов, уловив в голосе Бусыгина неожиданно прорвавшуюся тоску, посерьезнел, кивнул.

- Это ты верно... Дорожка не близкая!

Фадеев между тем здоровался с нашими армейскими писателями и журналистами:

– Здравствуй, Гриша³, здравствуйте, Александр Палыч...⁴ Как живется литературе на солдатских харчах?

В это время работник политотдела, сопровождавший гостей, приложил к фуражке руку:

- Разрешите напомнить насчет пленных. Их сейчас допрашивают...

Фадеев махнул рукой:

- Мы их уже с Евгением видели у артиллеристов...
- Выходит, я отстал? – Шолохов улыбнулся. – Ну что ж, пойдем поглядим...

3

Пленных допрашивали метрах в пятидесяти от нас, на крохотной полянке, притаившейся среди густой сосновой поросли. Около палатки, растянутой веревками, за квадратным столиком на одной ножке сидел, перебирая листки бумаги, смуглый, цыгановатый капитан. Рядом с ним примостился молоденький, с девичьим, во всю щеку, румянцем, лейтенант-переводчик, не раз приносивший к нам в редакцию свои стихи.

– Сидите, сидите! – Михаил Александрович поморщился и недовольно замахал рукой, когда и капитан, и переводчик вскочили, уставясь на него удивленными и радостными одновременно глазами. – Продолжай, капитан! – уже более строго сказал Шолохов, усаживаясь у самой палатки на перевернутый ящик.

Пленные, до этого сидевшие перед столиком на траве, тоже вскочили и стояли теперь вытянувшись, отведя назад плечи, и переводили взгляд с капитана на Шолохова и обратно. Впрочем, стояли только двое, третий – широкоплечий, рослый, с гладко зачесанными назад мокрыми волосами офицер в черном мундире – продолжал сидеть, опираясь одной рукой о землю, и равнодушно жевал травинку.

– Силен! – вглядываясь в него прищуренными глазами и весь подавшись вперед, словно про себя произнес Михаил Александрович. – «Чистая кровь»?

– Так точно! – Капитан сел за столик. – Член национал-социалистической партии с тридцать четвертого года. Его повязали свои же солдаты...

– Что рассказывает?

– Молчит...

– Что будете делать с ним?

– Отправляем в Москву.

– А эти?

– Эти ничего... Говорят так, что не успеваем записывать... Желаете задать вопросы?

– Кто они?

– Вот этот... – Капитан перелистал тоненькую ученическую тетрадку и, не поднимая глаз, ткнул карандашом в стоявшего чуть впереди высокого, худощавого, с выпяченной грудью пленного: – Обер-ефрейтор Вернер Гольдкамп. Говорит, по профессии – спортсмен, на лодочной станции работал...

Обер-ефрейтор, услышав свою фамилию, еще больше оттянул назад плечи и бодро щелкнул каблуками. Михаил Александрович осмотрел его с ног до головы и улыбнулся, ибо бодрое настроение обер-ефрейтора никак не вязалось с его внешним видом.

Дальше я позволю процитировать слова из корреспонденции Михаила Шолохова «Пленные», написанной им для нашей газеты «К победе» и напечатанной в номере 101 за 31 августа 1941 года. В этом же номере напечатана и корреспонденция Александра Фадеева «Люди, прославляющие часть».

«Вернер Гольдкамп попал в плен сегодня утром, – писал Михаил Александрович. – Он участвовал в захвате Польши, Франции и с начала военных действий находился на Восточном фронте. Последние трое суток он не ел и не умывался, лицо и одежда его в грязи, серо-зеленый мундир изрядно потрепан, сапоги залатаны, даже голенища пестрят латками. Трое суток наша артиллерия громила батальон, в котором служил ефрейтор Гольдкамп».

– Значит, настроение неважное?

Выслушав перевод, ефрейтор согласно кивнул головой:

– О да, да – очень плохое...

– А с каким настроением шел на войну?

Гольдкамп мнется, бормочет о том, что все рассчитывали на скорую войну, что поход в Польшу и Францию был приятным, и даже пытается сосчитать насчет того, что для солдата самое главное – мягкая перина, вино и женщины.

Капитан, до этого терпеливо выслушивавший и вопросы, и ответы, видимо, узрел в ответе что-то выходящее из рамок дозволенного и, потирая свои густые угольно-черные брови, недовольно сказал:

– Вы у него лучше спросите: хочет он сейчас вернуться в Германию?

– Давай спрашивай! – согласно кивнул Шолохов.

Выслушав вопрос, ефрейтор поспешно прижал к груди руки:

– Нет, нет, сейчас не хочу. Я уже получил достаточно и больше войны не хочу.
Шолохов строго покачал головой:

– Как же так – не хотеть вернуться на родину?.. У него же, наверное, есть мать, жена или невеста?

Гольдкамп покосился на сидевшего на траве офицера в черном мундире, словно проверял, сведет ли еще раз с ним судьба, поправил пилотку с серебряным орлом и, подняв голову, уставился куда-то на вершины сосен. Да, у него на родине есть и мать, и молодая жена, и брат, и две сестры, но родина для него сейчас – это война...

– Толковый ответ, – согласился Шолохов.

– Артиллеристы образовали! – сердито подтвердил капитан. – Надо им всем такой всеобуч...

Третий пленный, ефрейтор Ганс Добат из 83-го пехотного полка 28-й дивизии, ничего особенного собой не представлял. У него был такой же, как у Гольдкампа, мятый и усталый вид, такая же светлая щетина на щеках и такая же словоохотливость. Он жаловался, что им плохо доставляли пищу, что их не поддерживали танки, что за три дня в их батальонах осталась пятая часть кадрового состава.

– Чем он до войны занимался? – спросил Михаил Александрович.

Выслушав вопрос, Добат долго что-то рассказывал. Капитан покачал головой и посмотрел на часы. Переводчик заметил этот жест и, остановив ефрейтора, сказал:

– Видимо, из бауэров... Говорит, на маслозаводе у отца работал...

– А ну-ка, повтори и ему вопрос: хочет вернуться к своим?

Добат поднял голову и, чуть усмехаясь, посмотрел на капитана.

Нет, не хочет! Он, конечно, понимает, что такой вопрос надо и интересно задавать пленным, чтобы узнать их солдатский дух, понимает, что его обратно русские не вернут, но если возникнет необходимость обмена пленными, просит учесть, что он, Ганс Добат, перешел к русским добровольно, и поэтому просит его до конца войны не тревожить. Переводчик покачал головой и, сложив «самописку», решительно, хотя и заметно робея от этой решительности, посмотрел на Шолохова:

– Скажите, товарищ Шолохов, у кого же загадочнее душа?.. Наши, чтоб вернуться на родину из плена, на колючую проволоку бросаются, подкопы из тюрем роют... Все здесь ясно... А они... как в сейф, свою душу положили – и ключ в карман... До конца войны. Что у них, родины нет?

Михаил Александрович поднялся, по-солдатски расправил под поясом гимнастерку и на секунду задумался.

– Да нет, товарищ лейтенант, родина у них есть, но для него война – не мать родна...

В своей статье «Пленные», о которой я упоминал, Шолохов писал:

«Сложная и хитро продуманная фашистами система, направленная к тому, чтобы любыми средствами удержать немецкого солдата под ружьем, пока еще в действии. В групповом окопе немецкой роты ни один солдат не может пройти к ходу сообщения, миновав офицера, но если он и проскользнет – в тылу его задержит полевая жандармерия. Ложь, запугивание, жестокая дисциплина – все это пока держит уставшего от войны немецкого солдата в окопах, но уже отчетливо проступают первые признаки начинающегося разложения части немецкой армии: недовольство офицерским составом, отсиживающимся в тылу, сознание полной бесперспективности войны с Советским Союзом, недоверие к авантюристической политике гитлеровской клики. И чем сильнее будет отпор Красной Армии врагу, тем быстрее пойдет неизбежный процесс распада и гибели немецко-фашистской армии».

4

Когда мы вернулись, в нашем расположении шел пир горой. Это выражение можно считать буквальным, потому что на огромном зеленом брезенте, растянутом на траве, выселись горы припасов, крупно нарезанные куски хлеба. Одно в этом пире было примечательно – все сидевшие на брезенте кружком, как вокруг костра, были с блокнотами и записными книжками, а у секретаря редакции писателя Михаила Штительмана лежала на коленях подшивка нашей газеты.

Ребята рассказывали о подвиге капитана Войцеховского, оказавшегося в непосредственной близости от врага и вызвавшего на себя огонь своей артиллерии, о бесстрашном связисте Александре Хлудееве, о потомке Лермонтова, служившем капитаном в приданной нам авиационной части, о тех смелых и самоотверженных людях, с которыми приходилось встречаться в эти первые дни войны писателям и журналистам, работающим в редакции.

Начинало темнеть. Из глубины леса потянуло сыростью. Недалеко, за железной дорогой, начала бить наша артиллерия. И все было бы ничего, если бы не появившийся где-то высоко в небе чужой, металлический звук. Он нарастал, надвигался волнами и, завывая, шел на восток. Это направлялись к Москве фашистские бомбардировщики. Значит, и сегодня где-то будут разрушены дома, будут убиты люди, будут плакать матери и дрожать в бомбоубежищах дети.

– Спой, Саша! – попросил Фадеев, пряча в полевую сумку свою записную книжку.

Я не знаю, откуда Александр Александрович знал о песне, которую однажды пел у нас Александр Бусыгин. Может, приходилось раньше слышать на товарищеских вечеринках в Москве или Ростове, или вместе ее певали в дни молодости. Но мы ее впервые услышали на Соловьевской переправе, когда наши части, оставив горящий Смоленск, по Старо-Московской дороге отходили к Дорогобужу. Совсем узкий в этом месте Днепр был завален трупами людей, лошадей и разбитой техникой. Фашистские самолеты днем и ночью висели над этой, наверное самой трагической в мире, переправой. Но мы проскочили ее довольно благополучно – самолеты только что отбомбились и ушли, и мы, перетащив свои машины, отдыхали на опушке дорогобужского лесного массива. В этот миг мы увидели: в стороне от проходивших войск, по луговой низине пробирался высокий старик, с непокрытой седой головой, в сером длиннополом пиджаке. На плече он нес косу, другой рукой вел маленького белоголового мальчишку, должно быть, внука. Куда шли они, спасаясь от фашистских бомбардировщиков, – к знакомым ли в соседнюю деревню или просто неизвестно куда, как и тысячи людей в те времена, но одно было ясно: шли они не на косовицу. Кто бы вздумал косить рядом с полем изувеченных, не погребенных еще людей.

Вот тогда Саша Бусыгин и запел. Запел, будто про себя, мягким, чуть рокочущим баритоном:

Полоса ль ты, моя полоса,
Нераспаханная сиротинка.
Отчего ж на тебе, полоса,
Не колосятся ржи и былинки?
Знать, хозяин-то твой...

Но что случилось с хозяином, мы так и не узнали. В этом месте Бусыгин оборвал песню.

И сейчас он остановился на этих словах, потер, видимо, перехваченное горло и махнул рукой:

– Пусть лучше Гришка стихи читает...

Стихи читали и Гриша Кац, и Александр Павлович Оленич-Гнененко – стихи, написанные во время боев и отступлений, стихи веселые и суровые, а то и вовсе похожие на соленые солдатские припевки.

– Это хорошо, – смеялся Фадеев. – Очень хорошо! – И, посерьезнев, добавил: – Во всем этом есть главное – от народа, от жизни...

Он начал рассказывать о своих встречах с артиллеристами. Об этом он так писал в своем очерке «Люди, прославляющие часть»:

«Бойцы-артиллеристы работают споро, ловко и весело. Это все молодые ребята, с крепкими руками, ясноглазые, с ослепительными в улыбке зубами на загорелых, задымленных лицах».

Затем мы, конечно, пели. Пели вполголоса свои донские песни, пели о «снаряженном стружке», который «как стрела, летит», пели о родном городе, о ветре, полном «любви и надежды».

Все время поглядывавший на часы работник политотдела наконец улучил минутку и сказал:

– Товарищи, нас уже ждет командующий!

Они ушли не прощаясь, пообещав вернуться на ночевку.

Гости вернулись далеко за полночь, когда затихли долго не смолкавшие разговоры в шалашах, угомонились, казалось, вместе с нами отлетавшие на восток птицы и весь лес погрузился в ту первозданную тишину, которая совсем не подразумевает присутствия в этих лесных массивах десятков тысяч людей, машин, орудий и снарядов, готовых в любую минуту взорваться словами команд, шумом моторов и вспышками орудийных выстрелов.

Они появились совсем неожиданно из-за деревьев, по пояс в белесом болотном тумане. Поблагодарили провожатого, перекурили и, расстегивая пояса, полезли в шалашик. Захрустел лапник, зашелестел брезент, наконец все затихло.

Но тишина была недолгой.

– Ну как тебе информация? – вполголоса спросил Фадеев.

– Снаряжение у них неплохое, ничего не скажешь, – так же тихо отозвался Шолохов.

Через несколько секунд послышался голос Петрова:

– Главное, у них танки, правда?

(После мы узнали, что в этот день было получено сообщение о начавшемся сосредоточении войск противника на Западном направлении, нацеленных на Москву.)

– Только не это главное... – отозвался Шолохов.

– Ты о чем?

– Пленных видел?

– Ну?

– Какие там для них, к черту, высокие материи, идейность... Надрессированные машины... А столкнутся с войной, получат по зубам, и просыпается из всего человеческого только одно – желание жить... Это не отберешь ни у кого... Только зачем же до этого доходить через войну...

В шалашике стало тихо. По верхушкам сосен прошел ветерок, осыпая нам плечи подсыхающими иголками, а затем снова, в который уж раз, с запада стала накатываться завывающая, стонущая волна фашистских бомбардировщиков.

5

После двадцати лет, прошедших со времени тех событий, я неспроста вспомнил о пожелтевшем номере старой армейской газеты, в котором были напечатаны мало кому

известные фронтовые корреспонденции двух выдающихся писателей нашего времени, и обо всем, что связано было с этим. Мне подумалось о тех солдатах, которых готовят сейчас к новой войне на том же самом Западе, на той же самой германской земле бесноватые глашатаи разбоя и смерти. Хотелось мне помянуть и своих добрых товарищей, тех, кто писали, работая, как солдаты, и о тех солдатах, о которых они писали. А скорей всего это все пришло на память от того чувства гордости, которое переполняет сердце, когда читаешь величественную Программу Коммунистической партии Советского Союза, провозгласившей на весь мир жизнеутверждающие принципы мира, труда, свободы, равенства и счастья всех народов и столько добрых слов сказавшей о нашей литературе, всегда честно работающей на самых передовых позициях нашего великого наступления, умеющей всегда, даже в самые трудные моменты, не терять чувства бодрости, уверенности и веры в силы своего народа, и о тех литераторах, снаряженных народом, которые никогда не изменяли его великой народной, партийной правде.

Юрий Лукин¹ Из книги «Воспоминания»

Встречи с М.А. Шолоховым

...Накануне моего возвращения в ополченческую дивизию из Москвы в гостинице «Националь» остановился Шолохов, по дороге из своей станицы в очередную командировку на фронт. Разумеется, я нашел его в гостинице. В тот же день навестили Михаила Александровича двое ростовских писателей-ополченцев, также ехавших на фронт. Они ехали из Ростова и узнали, что могут встретить в Москве Шолохова. Это были прозаик Михаил Штительман и поэт Григорий Кац. Так нам достались несколько часов встречи, заполненных донскими песнями и неожиданной радостью свидания. Пели оба ростовчанина, а Михаил Александрович, сам любивший «дишканить» в местном станичном хоре, признался, что не знал про своих обоих земляков, какие у них «звонкие теноришки». Наутро мы все, простившись у входа в гостиницу, разъехались по своим направлениям. С фронта вернулись не все. Оба ростовчанина погибли.

Еще одна очень уж памятная жертва осталась на Западном фронте: лучший друг Шолохова Василий Кудашев. Много позже, значительно позже года Победы, я готовил телевизионную передачу о Шолохове, и вдова Кудашева показала мне хранившееся у нее письмо тех лет. В письме Михаил Александрович просил проставить в приложенном письме к Кудашеву номер полевой почты, которого Шолохов не знал. Но Матильда Емельяновна получила извещение, что ее муж погиб. В письме Шолохова есть упоминание о нашей встрече.

«Дорогой друг! Судьба нас с тобой разоздрила... Но все же когда-нибудь сведет нас вместе. Я сегодня уезжаю из Москвы. Как только вернусь, сообщу тебе. Думаю, что увидимся. У меня есть к тебе дела...

Дома не был давно. Но там все в порядке. Недавно на час видел Юрбора. Поехал в Армию. Крепко обнимаю. Целую, твой *Шолохов*.

Будь здоров. Я пишу коротко. Спешу. Надеюсь на скорую встречу».

Трудно найти слова, чтобы передать, как же дорого мне было прочитать эти строки на случайно уцелевшей открыточке. И свое имя, которым окрестил меня Михаил Александрович, научил он этому и немцев, и японцев, и моих товарищей по работе...

Еще об одном его письме, связанном в моей памяти с давней нашей встречей военной поры, с воспоминаниями о человеке, который был мне другом и с которым мы были знакомы независимо от Михаила Александровича: я был редактором «Повести о детстве» Михаила Штительмана. Когда война и наша встреча в «Национале» были уже в далеком прошлом, Детское издательство выпустило новое издание повести в 1974 году. Ростовские писатели и семья покойного помогли мне познакомиться с письмом Шолохова к автору. Я привел это письмо в своем предисловии. Вот оно:

«Товарищ Штительман!

Примите 100 моих извинений. Только недавно прочитал. Книга теплая, и я не раскаиваюсь, что чтение отложил на осень. Когда холодно, теплое согревает. Привет!

Мих. Шолохов

23 ноября. 1933 г.»

Война в свое время вырвала каждого из нас из привычного жизненного круга. Но связи с привычками и пристрастиями мирного времени оказались прочнее и активнее, нежели мы могли предполагать и предвидеть. Во всяком случае, со всей очевидностью наступало время для большинства из нас возвращения на круги своя. Этот процесс, как многие другие, таил в себе порой немало не только внезапного, но и причудливого в своей неожиданности. О том, что я оказался в газете «Сталинский сокол», находившейся в Москве, узнало руководство «Комсомольской правды», желавшее создать у себя отдел литературы, искусства и решившее, что я могу справиться с ролью заведующего этим отделом. Тут начались забавные осложнения. В «Сталинском соколе» соглашались откомандировать меня в «Комсомольскую правду», но, естественно, думали, что для этого потребуется демобилизация, поскольку имелся в виду переход на службу гражданскую. Однако сразу выяснилось, что эта сложность отпадает: в сумятице первых недель войны то, что именуется личным приказом о мобилизации того или иного военнослужащего, отдано так и не было. Вроде как я и не служил в армии и на фронте не был. Тогда заартачился я; и в комиссариате вняли моим доводам насчет того, какие трудности я испытаю, объясняя сыновьям и будущим внукам, где же и как провел я первые месяцы войны.

Военные нашли решение, которое показалось мне справедливым при всей своей причудливости: оформили задним числом мою личную мобилизацию с первого дня реального моего пребывания на армейской службе, и с той же даты, когда этот приказ оформлялся, отдали приказ о моей демобилизации. Так вопрос был разрешен, и я начал работу в «Комсомольской правде», в должности заведующего отделом литературы и искусства. Поначалу я заведовал самим собой: отдел только из меня и состоял. Позже появились секретарь, а затем и заместитель заведующего. Через год службы был я переведен на должность заместителя заведующего таким же отделом в «Правду» (впоследствии должность была переименована: заместители стали консультантами). В этом качестве я пребывал тридцать два с половиной года, до выхода на пенсию. Совмещалось это беспрепятственно с постоянной работой по линии творческих организаций – писательской, журналистской, кинематографистов.

Так мирная профессия вернула себе то, что полагала своим достоянием.

Встреча с Шолоховым, с этим писателем и – я подчеркиваю – человеком – была моим счастьем.

Началом был 32-й год. Был я тогда еще молодым редактором и работал в том издательстве, которое позже стало называться «Художественная литература», а тогда это был Гослитиздат. Вот там мне и поручили редактировать третью книгу «Тихого Дона». Дело в том, что писатель сдал в издательство сразу и третью книгу «Тихого Дона» и первую книгу «Поднятой целины». «Поднятая целина» пошла другому редактору, а мне достался «Тихий Дон». Так появилась книга, на титульном листе которой значится 1933 год. И есть там автограф:

«Дорогому т. Лукину с благодарностью за работу над книжкой и с такими найтеплейшими дружескими чувствами.

М. Шолохов

31-Х-33».

Так началось. Потом было редактирование вместе с ним первой и второй книг «Тихого Дона». Он все редактировал заново, потому что роман подвергался очень большим искажениям в свое время, когда печатался в журналах. Следующей нашей работой, после первых двух книг, было иллюстрированное издание «Тихого Дона». Подряд, год за годом, вышли три книги. Четвертая еще не была автором закончена. А незадолго перед войной, в начале того года, когда война началась, читатели получили и ее. Тогда часто выпускали однотомники, издания, в которых при использовании двухколонного набора умещалось все произ-

ведение в целом. Художник успел проиллюстрировать четвертую книгу после тех, которые уже вышли. Я расскажу позже, что тогда произошло, почему эти превосходные рисунки не смогли быть опубликованы в одномомнике под его фамилией. Пришлось приглашать гравера, чтобы из рисунков сделать гравюры. Так появилась книга, в которой не указана фамилия автора рисунков.

В этом издании я принимал самое горячее участие – написал к нему предисловие. Вместе с Михаилом Александровичем мы сделали для одномомника словарики донских слов и оборотов речи. Если ко всему этому прибавить фанатическую мою любовь к книге и ее автору, может быть, читатель поймет дикий мой поступок: когда война началась и я ушел с ополчением на фронт, – в своем рюкзаке я взял с собой вот эту толстую книгу... Сначала мы были саперами, копали противотанковые рвы, и во время пеших переходов таскать книгу было тяжело. Потом, когда началась работа в политотделе и мы с напарником развозили по передовым частям размноженные нами сводки Информбюро, а еще позже работали в армейской газете, книга находилась уже в более благоприятных условиях, ездила с нами в автобусе-типографии. А то ведь сперва приходилось ее на себе таскать... Однако расстаться с этой книгой – мой читатель это поймет – я был просто не в состоянии.

Мне часто задавали вопрос: «Вот вы редактировали Шолохова. Что такое – редактировать Шолохова? Что это было?» Приходится говорить так: бывает работа с молодым писателем такая, что ее можно уподобить лепке из глины, податливой, мягкой, которой можно придать форму нужную, необходимую. А тут совершенно другое. Шолохов сдавал в редакцию – в журнал, в издательство – рукопись тогда, когда считал ее абсолютно законченной. У меня в голове всегда только одно сопоставление: работу с ним над его рукописью можно сравнить уж никак не с приданием формы глине, а со шлифовкой драгоценного камня. Нужна другая редакторская специальность, потому что можно только кое-где положить очень небольшой, тонкий штрих, чтобы грань засверкала другими цветами.

Да ведь и началось у нас в значительной мере со странной, может быть, с точки зрения редактора, работы: мне многое приходилось просто восстанавливать по сравнению с тем, что было уничтожено в журнальных текстах, выступать как бы в роли реставратора. И в то же время Михаил Александрович наметил и другой путь для редактирования: он старался избавиться от перенасыщения языка в своем произведении местными речениями. Тут тоже я старался помочь ему, как мог. Чтобы прояснить сущность этой работы и предостеречь о сложности в подходе к ней, в ходе дальнейших моих воспоминаний я расскажу о беседе писателя со шведскими студентами во время его пребывания в Швеции после вручения ему Нобелевской премии. Благодаря усилиям одного работника нашего посольства (его фамилия – Рымко) удалось сохранить и в «Литературной газете» напечатать запись этой беседы. Там драгоценнейшие свидетельства. А перед этим я хотел бы остановиться на вопросе, который иногда возникает в устных и печатных выступлениях некоторых литераторов: прибавила ли Нобелевская премия что-нибудь к популярности автора «Тихого Дона» во всем мире? И была ли эта премия желанием, как некоторые склонны утверждать, потрафить Советскому Союзу и чуть ли не коммунистической партии? Относительно популярности надо отметить так: конечно, прибавила. Немногие достигают такой степени признания. Мне довелось видеть воочию нобелевские празднества там, в Швеции. Видел я всю торжественную церемонию, смог почувствовать всю атмосферу праздника. Кстати, и о том, не было ли присуждение престижнейшей премии стремлением угодить Советскому Союзу. Думаю, что скорее – наоборот... Как он отнесся сам? Когда он ритуально благодарил за присуждение премии, он без чрезмерной мягкости заметил, что, по совести сказать, думает, что это могло произойти на тридцать лет раньше. Эффект от встречи с ним был в Швеции колоссальный. Пресс-конференция с ним по числу присутствующих превзошла все предыдущие. Любопытно отметить, что перед ним там была Софи Лорен...²

Почему я думаю, что вряд ли присуждение премии Шолохову было вызвано желанием угодить Советскому Союзу? Мне кажется, эту премию рассматривали скорее как укол Советскому Союзу. Эта книга рассматривалась ведь в советских кругах как «малоприемлемая», не сказать – диссидентская, но, во всяком случае, очень уж острая, такая, что вызвала явное неудовольствие: ее ведь разносили и после публикации в журнале и когда роман был окончен. Даже тот человек, о котором теперь говорят «Сам», и тот не выразил восторга по поводу финала: ему, очевидно, хотелось, чтобы Григорий пришел к определенному решению, но в то же время он понимал – это, конечно, догадки! – что шутить со всем этим не следует, понимал ту пользу, которую может принести признание Шолохова, и поэтому присуждение советской премии последовало за публикацией романа немедленно. А теперь посмотрим, в каком окружении предстал лауреат премии Нобелевской. Лауреаты русские: Бунин (эмигрант), Пастернак и вот Шолохов... Вряд ли все это делалось, чтобы советскому государству потрафить.

Меня порою спрашивали: а что из шведского празднества запомнилось больше всего? Отвечал: все! Но кое-что – особенно. Во-первых, вечер в Обществе шведско-советской дружбы. Там был ужин в большом зале, в торжественной обстановке, и по времени это совпало с трогательным шведским праздником, который отмечается в рождественские дни. Это праздник «Люсии». Он отмечается во всем мире, оказывается. В каждом шведском доме, в каждом учреждении есть своя, местная, Люсия. Если вы приезжий, живете в гостинице, для вас праздник начинается так: утром к вам в номер стучатся, и появляется девушка в белом платье, гостиничная Люсия, она предлагает вам чашечку кофе, которую вы обязаны выпить. Избирают Люсию общенациональную. Эта разъезжает по городу на автомобиле, ей фирма, торгующая мехами, дарит шубу, на ней делают бизнес. А идея праздника – гимн Свету. Основа имени Люсия и есть «свет». Праздник и зародился в северной стране, как радостное приветствие весне, свету.

На том вечере, о котором я начал рассказывать, вдруг зазвучала изумительная итальянская песня «Санта Лючия» и вошла процессия: дети, во главе которых прошествовала в белом наряде девочка, маленькая «Люсия». Она приветствовала Михаила Александровича. Нам всем, гостям, были розданы листки с напечатанными латинскими буквами текстом величальной песни «Приветствие почетному гостю». Слова примерно такие: к нам приехал наш дорогой гость!.. Мы смогли без труда участвовать в общем хоре, так как в листках было указано для всех: мелодия – «Стенька Разин»...

Еще вопрос, который часто возникает. Откуда возникли сомнения в авторстве «Тихого Дона»? Откуда взялись эти нападки? И самому автору в давние еще времена такие вопросы задавали. Откуда все это взялось? Правда ли, что это зависть? У него был ответ, который мне запомнился: да, но зависть бывает хорошо организованная. Вот что он сам сказал. И думаю, что дело не только в зависти, а и в том, что у нас часто называют «конфронтацией».

Иной раз Шолохову стараются приписать несправедливое деление людей на «наших» и «не наших» по национальному признаку. Назову несколько имен его друзей. Когда писатель ездил в Швецию и Японию, с ним, как правило, был Лева Мазрухо, Леон Мазрухо, ростовский кинематографист и фотограф, у которого накапливалась едва ли не самая обильная и самая драгоценная фотоархивная коллекция по Шолохову. Она копилась годами. Повторяюсь: друзьями Шолохова были упоминаемые мною поэт Григорий Кац и прозаик Михаил Штительман...

Но «вернемся к нашим баранам!» Начну с того, что за время моей работы с Шолоховым мне пришлось слышать семь или восемь имен людей, которым приписывался «Тихий Дон», будто бы присвоенный Шолоховым. Первое в перечне – имя донского журналиста Голоушева. Подчеркиваю: журналиста, не писателя в полном смысле слова, автора не художественных произведений. Это автор очерков, названных им «По тихому Дону»... А-а-а!!

«По тихому Дону», значит, это и опубликовал Шолохов, чуть переименовав, и назвал: «Тихий Дон». . . Между тем Тихий Дон – такое же народное название реки, как Волга-матушка, Волга – русская река и так далее. Потом Михаил Александрович сам рассказывал об этом, сначала с усмешкой, со смехом. . . он вообще любил всякие забавные истории, в том числе и те, что происходили с ним. Так вот, следующая версия такова. (Будем называть это версиями.) Шолохова приютила переночевать какая-то старушка, и он под кроватью у себя обнаружил сундук, а в сундуке рукопись «Тихого Дона». Про старушку он и рассказывал со смехом, а потом, постепенно, со все большей досадой и болью. Дело ведь доходило до того, что, когда в нашем издательстве была получена рукопись третьей книги, последовали телефонные звонки в редакцию, в ленинградский журнал, в «Роман-газету»: может прийти та старушка, у которой Шолохов украл «Тихий Дон», рукопись ее сына. Всюду отвечали: пусть приходит. Нигде не появился никто. Но звонки раздавались, повторяю, всюду. Вот что это было? Не буду позволять себе какие-то домыслы, однако у Михаила Александровича были в свое время достаточно крутые расхождения с РАППом, и это вполне могло быть следствием. Хотя потом один из руководителей РАППа участвовал в подтверждении того, что Шолохов сам написал свой роман. Это было письмо писателей, опубликованное в «Правде». Там стоят подписи и Серафимовича, и Авербаха. . . Мы позже с самим текстом письма познакомимся. А пока – о том, что не использовалось для того, что мне хочется назвать «недоброжелательными недоумениями». Какие зацепки для этого изыскивались? Ассортимент их был широк, на всякий вкус, как говорится. Первое: как мог юноша, которому к концу Первой мировой войны было совсем немного лет, по слову поэта – мальчишеских лет, как мог он дать такое зрелое изображение самой войны да еще с такой степенью проникновения во внутренний мир своих героев, показать взаимоотношения мужчины и женщины? Как он, почти не передвигаясь в пределах театра военных действий во время гражданской войны, сумел дать столь широкую картину этой войны? Почему две первые книги романа появились так быстро одна за другой? Почему обе эти книги, как представляется «недоумевающим», намного сильнее обеих последующих? И почему после «Тихого Дона» он ничего равнозначного не написал? Почему – даже до такого доходит! – почему в этом романе молодым прозаиком не допущено ни одной заметной исторической ошибки? Короче говоря, почему, почему?., бывает ли так? как могло произойти? можно ли допустить?! Не следует ли устремиться в поиски «подлинного автора», или, на худой конец, как писал один из уважаемых наших писателей, – мощного соавтора, который вел всю белую линию, а Шолохов потом портил произведение, вписывая красную линию? Вот я упомянул о Голоушеве, о некой старушке, но этим далеко не исчерпывались и не исчерпываются подозрения. Возникла фигура безвестного учителя из соседней станицы, который будто бы показал рукопись юноше, а тот рукопись забрал и угрозил: ну, вот, теперь молчи!.. Чуть позже предполагаемому автору нашли новое место: в самой Вешенской. Слухи шли и шли. Существовал в Москве литературный кружок «Никитинские субботники». Его посещал один ротмистр царской службы, который написал литературное произведение, нуждавшееся в доработке. Молодой Шолохов своими рассказами уже зарекомендовал себя как прозаик, ему дали рукопись ротмистра для помощи автору. А автор возьми да умри. . . И наконец, самая поздняя версия: еще один офицер, белый офицер и писатель Федор Крюков. Эта версия, к моему глубокому сожалению, была поддержана – не знаю, из каких побуждений, не хочу фантазировать, – но мне очень жаль, что она была поддержана Солженицыным. О Крюкове только два слова: он умер от сыпного тифа в двадцатом году, действие «Тихого Дона» заканчивается примерно в двадцать втором!

Теперь насчет череды «сомнений». Вопрос об исторической точности в изображении гражданской войны, думаю, достаточно проясняет хотя бы та самая беседа со шведскими студентами, которую ухитрился, сделав тем самым великое дело для истории нашей лите-

ратуры, записать тогдашний сотрудник нашего посольства Рымко. Шолохов на этой беседе сказал:

«Если говорить о том, как я начал писать, то поначалу это были короткие рассказы или новеллы, как хотите, а до этого некоторое время я работал журналистом. За «Тихий Дон» я взялся, когда мне было двадцать лет, в 1925 году, во всяком случае, тогда, когда никого из вас еще на белом свете не было.

Поначалу, заинтересованный трагической историей русской революции, я обратил внимание на генерала Корнилова. Он возглавил известный мятеж 1917 года. И по его поручению генерал Крымов шел на Петроград, чтобы свергнуть Временное правительство Керенского. За два или полтора года я написал шесть-восемь печатных листов... Потом я почувствовал: что-то у меня не получается. Читатель, даже русский читатель, по сути дела, не знал, кто такие донские казаки. Была повесть Толстого «Казаки», но она имела сюжетным основанием жизнь терских казаков. О донских казаках, по сути, не было создано ни одного произведения.

Быт донских казаков резко отличался даже от быта кубанских казаков, не говоря уже про терских, и мне показалось, что надо было начинать с описания вот этого семейного уклада жизни донских казаков».

Вот один из пунктов. Вторая книга не сильнее, она слабее всех остальных книг «Тихого Дона», потому что с нее автор начинал и вернулся к ней, уже написав первую книгу.

Теперь – о некоторых биографических данных, которые тоже имеют большое значение.

«Я родился в хуторе Кружилином станицы Вешенской. Почти всю жизнь провел я там и живу до сих пор в той же местности. Естественно, что впечатления детских лет, постоянные невольные наблюдения за жизнью и бытом моих однохуторян давали мне живой материал для воссоздания мирной эпохи на Дону».

Там просто сам воздух дышит этим.

«... Таким образом, я, оставив начатую в 1925 году работу, начал сюжетно с предвоенных лет, с описания семьи Мелеховых, а затем так оно и потянулось.

Роман я окончил (я писал его пятнадцать – шестнадцать лет) уже накануне войны. Считаю, что «Тихий Дон» – наиболее крупное мое произведение, для меня оно имеет особое значение потому, что я много времени положил и сделал все, что мог, чтобы ознакомить и своих, русских читателей, и зарубежных с трагической историей донского казачества в годы революции».

Продолжает он разговор в свойственной ему манере: «Вот как будто бы и все. Это предварительно. Если у вас будут ко мне какие-либо вопросы, я с радостью отвечу. Если я что-нибудь совру, здесь присутствует первый редактор «Тихого Дона» товарищ Лукин, который меня поправит». (Это вызвало, естественно, смех.) «Я думаю, что форма вопросов-ответов – это наиболее живая форма, а читать вам лекцию я не имею возможности, да и считаю, что вы и без меня достаточно ученые». (Опять смех. Он умел очень просто и естественно разговаривать с такой капризной аудиторией, как молодежь.) Один из студентов задает вопрос: «Михаил Александрович, разрешите мне вас вот о чем спросить. В «Истории советской литературы», вышедшей на Западе, профессор Струве³ пишет, что вы полуказак. Там написано, что ваша мать казачка, а отец – нет».

Михаил Александрович ответил:

«В какой-то мере это верно. Дело в том, что моя мать (она сама украинка) вышла замуж за казака и рано овдовела. Потом она жила с моим отцом, как говорится, гражданским браком, невенчанные были. Сколь я родился, а она была, так сказать вдовой, я по формуляру числился казаком, имел пай земли, все привилегии казачьи. Затем отец меня усыновил, уже после моего рождения они перевенчались с матерью, и (по документам) стал я уже русским. Вот такова история».

Под дружный смех студент продолжает допытываться: «Так, значит, вы русский или казак?.. Я бывал на Дону, я родился на Тереке... И я знаю, кто такие казаки. По крайней мере, терские казаки спрашивали, ты русский или казак?»

«У нас таких людей, – ответил на это Михаил Александрович, – называли иногородними. Вот я – иногородний. По отцу я крестьянин Рязанской губернии, Зарайского уезда. Вот таково мое генеалогическое древо...»

Теперь об исторической точности и о ходе гражданской войны. В той же беседе писатель и об этом говорил:

«Мне приходилось изучать материалы по истории гражданской войны двусторонним образом: кроме личных наблюдений и личных впечатлений, естественно, я пользовался архивами – нашими, советскими архивами, но, чтобы не попасть впросак, использовал и материалы зарубежные, в частности «Очерки русской смуты» генерала Деникина, воспоминания генерала Краснова, бывшего донского атамана, и массу других, повременных изданий, которые выходили во Франции и в Англии, вообще всюду за рубежом...»

Огромную помощь ему, молодому тогда писателю, оказала Е.Г. Левицкая, которую он трогательно называл «бабушка Левицкая». Когда он приезжал в Москву, то едва ли не первым делом навещал ее. Она заведовала в свое время библиотекой Московского горкома партии и вот снабжала Михаила Александровича чрезвычайно важными для него источниками.

О художественной силе отдельных книг романа. Об утверждении, будто первые две книги сильные, а остальные получились слабее. Убежден, что это несправедливо. Как мы знаем, начал автор со второй книги, не имея еще опыта романиста; она в художественном отношении не только не возвышается ни над первой, ни над всеми остальными, напротив – значительно уступает им. Четвертая же, с ее трагической силой, это именно вершина произведения, точка, где писателем достигнута наивысшая степень мастерства. И в третьей уже ощутим некий подъем.

Вот на чем еще мне хочется акцентировать внимание. Был использован еще один козырь в своего рода шулерской колоде карт. Небывало ранний возраст дебютанта в литературе. Кто, мол, может поверить: первый рассказ, автору 18 лет, два первых тома романа, а автору 23 года... Прошу обратить внимание, запомнить: 23 года. А если по совести вспомнить, надо ли искать объяснение поразительному явлению помимо двух решающих обстоятельств? Требований времени, которое не давало длительных сроков для созревания, для формирования личности, и – что не менее важно – очевидного наличия раннего расцвета личности высокоодаренной. Такое ли это исключение, каким удивительным ни кажется сам факт на первый взгляд. Когда Пушкин написал «Руслана и Людмилу», ему было 20 лет. Еще поразительнее другие сроки. Стихотворение «Вольность» – автору 18 лет, «Послание к Чаадаеву» и стихотворение «Деревня» – 19, «Евгения Онегина» начал писать в 24 года, «Борис Годунов» создан в 26 лет. Николай Михайлович Карамзин осуществляет первый перевод на русский язык шекспировского «Юлия Цезаря», имея от роду 21 год. Жуковский начал печатать свои стихи, когда ему было 15 лет. Бунин перевел «Песнь о Гайавате» Лонгфелло в возрасте 26 лет.

Пока, могут сказать, речь идет о поэзии. Известно, что со стихов и начинают чаще и начинают раньше. Поэтому обратимся и к другим фактам. Салтыков-Щедрин свои первые повести написал в 21 год. Русская литература обогатилась «Вечерами на хуторе близ Диканьки», когда Гоголю было всего 22 года. Появляется рассказ Максима Горького «Макар Чудра» – автору 24. Не достаточно ли было бы вспомнить в этой связи о феноменальном примере Лермонтова? За годы своей такой короткой жизни он создал все, что оставил драгоценным наследием русской литературе и культуре. Отпущено ему было судьбой всегонавсего 27 лет... Не так давно в одном из журналов можно было прочитать замечательные слова о Лермонтове, принадлежащие Анне Ахматовой: «Я уже не говорю о его прозе, здесь

он обогнал самого себя на сто лет и в каждой вещи разрушает миф, что проза – достояние лишь зрелого возраста».

Вдобавок еще один, один факт. Даже не факт, а фактик. Почти полузабытый, свидетельствующий об очень ранней и разносторонней одаренности. В Вешенской в давние годы существовал молодежный самодеятельный театрик. Совсем юный Шолохов и лицедействовал в этом театре, и пополнял его репертуар, сочинял пользовавшиеся успехом у станичных зрителей пьески. Бродивший со своей бандой в окрестностях Фомин даже удостаивал эти представления своим присутствием, когда являлась возможность прибыть специально «на Мишку Шолохова». Все это было.

Теперь же попрошу у читателя прощения и уведу его совсем в иную сторону. Не все мне будет ловко рассказывать, кое-где придется прибегнуть к фигуре умолчания. Но попытаюсь сущность передать. А перед тем, как начать, похвастаюсь... На первом томе имеющегося у меня иллюстрированного (роскошно!) «Тихого Дона» есть драгоценная для меня надпись: «Дорогому Юр. Бор. Лукину. Вместе со мною любовно работавшему над этой книгой – с глубоким дружеским чувством. *М. Шолохов.* 2 VI 36 г.».

Надеюсь, читатель поймет, что это такое для меня.

Немного об истории этого издания... Получаю телеграмму от Михаила Александровича (я тогда работал в издательстве) о том, что один художник без договора с кем-либо, на свой страх и риск, исключительно из любви к произведению, проиллюстрировал все три вышедших к тому времени тома «Тихого Дона»... «Договорились с издательством, чтобы его приняли и посмотрели эти рисунки. Я с ним приеду». Приехали, иллюстрации привезли. Рисунки в буквальном смысле слова поразили издательство. Немедленно был заключен договор. Так появились три тома с этими иллюстрациями. Чуть-чуть было в них натурализма. И это послужило результатом последующего, о чем приходится рассказать. Вот почему четвертая книга, хотя художник к ней рисунки уже представил, не могла быть издана в свое время. По крайней мере, под его фамилией как иллюстратора...

Этот художник жил на Дону. Он сын или племянник одного из братьев Корольковых. В «Тихом Доне» есть упоминание знаменитого на Дону Королевского конного завода... Исключительно удался художнику образ Григория. Аксинья гораздо хуже. Женщины ему далеко не все удавались, я считаю. Но примечательная особенность этих иллюстраций: если вы взглянете на рисунки, где изображен Григорий – в начале и в конце первой книги, вы увидите, как менялся облик человека, однако несомненно согласитесь с тем, что перед вами один и тот же человек. В третьей книге новая встреча Григория с Аксиньей на прежнем месте, у спуска к Дону, вы опять-таки с несомненностью узнаете их обоих, но видите людей, уже переживших очень многое... Надо добавить, что это художник-самоучка. В Новочеркасске он проявил себя и как незаурядный скульптор, целиком отделав в городе парадный зал...

И случилось же так, что в полном удовлетворении от того, как он был принят и признан (Шолохов считал, что эти иллюстрации самые лучшие, а его иллюстрировали и такие мастера, как Фаворский, Верейский, Ребров), чувствуя себя на вершине успеха, художник проиллюстрировал совершенно другое произведение... Этих иллюстраций я не видел, но могу представить себе, что получилось при его реализме, граничащем, как мне все-таки кажется, порою с натурализмом: иллюстрировал он на этот раз небезызвестное произведение, названное по имени и фамилии его героя: «Лука...» (фамилию опускаю). Сделал Корольков не только рисунки, но и много фотокопий, которые не то дарил, не то продавал, короче говоря – за это оказался в тюрьме. Выпустить-то его выпустили. Мне даже рассказывали, будто следователь попросил: ну, дескать, ты мне один-то комплект оставь, подари... А тот отвечает: «Ну да, ты меня потом опять посадишь». Короче говоря, его выпустили... Потом началась война. А женат он был на немке, приволжской. Шолохов меня к ним привел, и я видел эту чету. Жена была художнику как Рембрандту Саския: и любимая женщина, и

постоянная натурщица, все вместе. Кончалась война, и немецкую армию погнали из Ростовской области. То ли кровь взыграла, то ли неустойчивое сознание этого самого Сергея Григорьевича Королькова, но они с женой ушли с отступавшими немцами. Ушли и закрыли тем самым дорогу дальнейшим публикациям иллюстраций. Шолохов незадолго до своей кончины сделал попытку обратиться, как у нас говорят, в инстанции: нельзя ли реабилитировать рисунки Королькова к «Тихому Дону»? Ответ был в ту пору отрицательный. Следы Королькова затерялись далеко, за океаном. Это досадно крайне. Надо ли напоминать, к примеру, рисунок в первой книге к первой встрече Григория с Аксиньей и рисунок для третьей книги, когда Григорий, много переживший, говорит, встретив ее на том же месте: «Здравствуй, Аксинья дорогая...» И она отзывается: «Не на этом ли месте любовь наша началась?»... Я в своих телевизионных опытах эту иллюстрацию всегда демонстрировал. Она поразительна.

Не хочу упустить ни одну из самых разных разностей, чтобы из них возникало целостное изображение. Поэтому прошу читателя простить мне повторы, перескоки от одного к другому ради какого-то малого штриха.

Программа «Пятое колесо» много усилий потратила на вещания в привычном для нее плане: все те же самые выпады насчет авторства «Тихого Дона», те же домыслы, та же неукротимая неприязнь. В Ленинграде (он еще не был переименован) вышла писательская газета с названием «Литератор». Опять и опять. Все то же самое, одно и то же... Как будто не было хлестких и точных реплик в публикациях Л.Е. Колодного, как будто не содержится ясных ответов по существу на нынешние инсинуации в письмах самого писателя, сохраненных Е.Г. Левицкой. Признаться, я был удивлен, когда увидел, что «Пятым колесом» анонсирована ретроспективная передача всех трех серий фильма «Тихий Дон». Передача состоялась. Последняя серия была показана в неудобные ночные часы...

Опять прошу у читателя прощения, но боюсь упустить один характерный штришок, который поможет показать, какими писатель сделал свои рукописи. Издательство командировало меня, чтобы получить очередные главы «Тихого Дона», одни из последних. Я провел у Михаила Александровича в Вешенской какое-то время, мы с ним все, что он приготовил, прочитали, чемодан мой постепенно наполнялся, но финальных, самых важных глав еще не было. И вот под конец я просто взмолился: «Михаил Александрович, вы же хорошо знаете, что, если вы не хотите, ни один человек не узнает от меня, что я читал эти главы, но я не могу от вас уехать, – вы понимаете, не могу уехать, – не узнав, чем же все это кончается». Что же он мне ответил! «Вот ты у меня пожил две недели, и я тебя ни разу не видел в нижнем белье. Почему же ты хочешь, чтобы я щеголял перед тобой в таком виде?» И так и не показал мне написанное, а я ему сказал, что видел у него на столе стопочку листов. Очевидно, это и были те главы. И действительно, вскоре он все закончил.

Он не позволял себе показывать свою работу в незаконченном виде. Но если потом вы могли ему доказать – что-то такое тут желательно как-то исправить, как-то усовершенствовать, он не сопротивлялся. Несмотря на то, что прежде думал об этом как о вполне законченном.

И совсем из другой оперы. Какой он был «заводной»! Любил и других заводить. Очень любил всякого рода розыгрыши. Иногда довольно жестокие. Как он со мной поступил... Но перед этим я должен объяснить: когда я с ним разговаривал, то обращался на «вы» и «Михаил Александрович», а он со мной – «Юрбор» и «ты». (Имя «Юрбор» он мне присвоил, да так, что оно ко мне прилипло, с тех пор многие стали так звать.) Всю жизнь так и было. И не было тут ни в какой степени ни малейшего оттенка чего-то вроде чинопочитания, самоуничтожения перед вышестоящей персоной. Нет, просто я считал бы для себя неприличным обратиться к нему на «ты» и назвать его коротким именем. Мне было неприятно, когда другие говорили ему, похлопывая по плечу, «Миша», как было бы неприятно, если бы услышал,

что о Пушкине кто-то говорит как о Саше, о Лермонтове – как о Мише, о Гоголе – как о Коле, о Шекспире – как о Вилли. Не те люди. Так о розыгрыше. Было это на охоте... Когда я бывал в Вешенской, всегда ездил с ним и Василием Михайловичем Кудашевым на охоту. Ездили на открытой, очень удобной для охоты в степи машине, похожей на «газик». Михаил Александрович был, кстати сказать, великолепным стрелком. Почти снайперская меткость у него была. Так вот он говорит: «Слушай, Юрбор, почему ты никогда не охотишься с нами, только едешь, как болельщик у нас? Ты – что, не умеешь стрелять?» А меня в ту пору по молодости завести ничего не стоило, я спортсмен заядлый был и, конечно, стрелял из «монте-кросто», мелкокалиберки, стрелял неплохо. «Почему? – говорю. – Я много стрелял». – «Ну, поедем сегодня с нами. На тебе вот, – снимает со стены французское ружье, – это ружье хорошее. Но имей в виду: мы едем на вальдшнепов, а с ними даже опытный охотник может промазать. Вальдшнеп вот как – зигзагом! – взлетает, так что, если промажешь, не горюй!» Мне этого было достаточно, я уже трясся, пока не дождался... И вот, поднимает собака птицу, вальдшнеп взлетает, я стреляю, птица падает. Михаил Александрович с Кудашевым (они оба в охотничьих сапогах) идут туда, где собака птицу подобрала, и, возвращаясь, несут добычу за лапки. По их физиономиям вижу: готовится мне какой-то подвох. Приближаются, Михаил Александрович говорит: «Ну, как?» Отвечаю: «Убил». – «Убить-то убил. А кого ты убил?» Думаю: Боже мой, неужели ж я какую-нибудь домашнюю птицу пристрелил? Курицу какую-нибудь или что-нибудь еще?! Какой черт мог домашнюю живность сюда занести?.. Говорю робко уже: «Вальдшнепа». А мне в ответ: «Вальдшнепа-то вальдшнепа... – Василий молчит, а Михаил Александрович изображает даже некоторое сочувствие не то птице, не то мне, не то нам обоим. – А ты на глаза его посмотрел?» – «А что такое?» Протягивают они птицу мне поближе, и Михаил Александрович говорит: «Посмотри, у него же твои глаза». В тот день я стрелял еще очень много, но ни разу ни в одну птицу не попал. И с тех пор больше вообще не охотился... У меня отец был страстный охотник, я уже увлекся спортом, пошел по этой линии. Могло быть по-другому, не сломай меня сразу тогда Михаил Александрович..

И опять позволю себе внезапный поворот. О круге чтения. Михаила Александровича часто спрашивали: кого он считает своим учителем в литературе? Толстого? Ответ его был такой: не только. У всех понемногу учился – и у Гоголя, и у Чехова, и, конечно, у Толстого. Спрашивали и так: кого он считал своим учителем, а кого просто любил? Он очень высоко ценил Бунина⁴. Об этом можно судить уже по тому, что в «Тихом Доне» Бунин процитирован. Во второй книге романа один из персонажей вспоминает бунинские строки: «Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей ты смотришь золотистыми глазами...» Строки из стихотворения «Собака». Но это еще не все. Когда мы с ним у него дома подходили к книжным полкам, брали ту или иную книгу, он любил читать вслух. Он умел это делать, что-нибудь вспомнить из стихов и нравящееся прочитать вслух. Он умел это делать. Помню, как он смаковал опять-таки бунинское:

Я, простая девка на баштане,
Он, рыбак, веселый человек...

В стихотворении говорится об этом веселом рыбаке, который объездил много морей и рек, многое повидал его белый парус, и потом идут такие строки:

Говорят, гречанки на Босфоре
Хороши... А я черна, худа.
Утопает белый парус в море —
Может, не вернется никогда!

Буду ждать в погоду, в непогоду...
Не дождусь – с баштана разочтусь,
Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь.

Надо было видеть его, когда он произносил эту последнюю строку! В его зеленых глазах искры какие-то пробегали в этот момент. И была у него приметная мимическая гримаска: нижняя губа поджималась к верхней, он как бы приглашал собеседника разделить с ним восхищение этой лихой отчаянностью девушки, грозящей задушиться собственной косой.

В то же время, с одной стороны, этот бешеный темперамент, а с другой – нечто иное: он даже говорил с людьми о том, какое впечатление на него производит мудрая, спокойная пришвинская проза с ее поразительным проникновением в природу и с ее прозрачностью, доброй ясностью мысли и восприятия. И то и другое было ему близко. А то вдруг заводил он разговор о Хемингуэе, и всегда было интересно говорить с ним об этом. Умел он и блистательно его спародировать. Ему доставляло удовольствие вспоминать книгу американского писателя прошлого столетия Мелвилла «Моби Дик»⁵ – о белом ките. У Хемингуэя⁶ ему ближе всего был, как мне кажется, «Старик и море». Но это уже ощущения. А вот что несомненно привлекало его внимание. Был у него сборничек стихов эмигрантского поэта, который из своего имени (полностью – Аминад Петрович Шполянский) выстроил себе странный псевдоним: Дон-Аминадо⁷. Теперь у нас издана его интересная проза, получил читатель его стихи. Так вот, одно из стихотворений опять-таки связано со вкусами Шолохова. Он очень ценил умение чувствовать запахи, а стихотворение Дон-Аминадо – о запахах разных городов мира. Оно говорит о том, как пахнет Лондон, как пахнет Гамбург, какие запахи у Чикаго, какие – у Парижа. Есть там горькие строки. Михаил Александрович это стихотворение так любил, что его дети, с которыми я дружил, читали наизусть заключительные строки и меня заразили...

...Но один есть в мире запах,
И одна есть в мире нега:
Это русский зимний полдень,
Это русский запах снега.

Лишь его не может вспомнить
Сердце, помнящее много.
И уже толпятся тени
У последнего порога.

Вот такая степень тоски по родине, по России. Это всегда было ему очень близко, он очень это ценил.

Не напрашивается ли здесь ассоциация? Как не сказать о запахах родной Шолохову степи! Те запахи, которые обычно считают характерными для степного пейзажа, – запах полыни и выжженной солнцем травы – это далеко не все. Я, когда у него бывал, сам видел степь сплошь лиловую от фиалок. А в другом месяце степь опьяняла запахом тюльпанов. Я не ошибаюсь: наши тюльпаны не пахнут, а те, дикие, пахнут, и когда они цветут, степь пахнет одуряюще, она вся покрыта как бы цветным ковром. Существует местное название: «лазоревый цветок», вот это и есть дикий тюльпан. Почему «лазоревый», неизвестно, тюльпаны пестрые, разноцветные.

Если бы писатель не чувствовал так остро, не понимал запахи, он никогда не смог бы и о своей Аксинье написать, что она уловила: у ландыша запах грустный и томительный...

Однажды я, работая тогда в редакции «Правды», получаю от главного редактора поручение – поехать разыскать Шолохова там, где он сейчас находится, сообщить ему, что он стал лауреатом Нобелевской премии, и взять у него первое интервью для печати, для газеты. Сначала было не так легко: пришлось разыскивать Михаила Александровича в Казахстане. Помог мне в этом уральский писатель Николай Федорович Корсунов, с которым вместе мы обнаружили нобелевского лауреата на берегу озера Налтыркуль, где он со своей семьей предавался любимому увлечению – охоте... А значительно позже – вот уже огромный по времени перескок! – была поездка после Швеции в Японию. И та и другая поездки были связаны с этим присуждением Нобелевской премии. Волею судьбы я оказался с писателем в этих поездках как специальный корреспондент «Правды». А еще позже была поездка в Вешенскую с немецкими профессорами Эберхардом Брюнингом и Эрхардом Хексельшнайдером, где я даже выступал в качестве переводчика одного из поздравлений, с которым к писателю обратились немецкие ученые. Встреча была удивительная. Цель ее была в том, чтобы вручить Шолохову диплом почетного доктора Лейпцигского университета.

А гораздо раньше была другая примечательная поездка в Вешенскую. Там в то время находился известный московский фотограф (он даже не любил, когда его называли просто фотографом, он говорил: фотокорреспондент, видя в этом нечто более уважительное) Виктор Темин. Он сделал там много снимков. Один для меня особенно ценен: на балконе шолоховского дома стоим мы втроем – Шолохов в центре, а слева от него секретарь Вешенского райкома Петр Кузьмич Луговой. Тот самый Луговой, о котором впереди еще пойдет речь. Который был впоследствии арестован, сослан, и Шолохов его выручил, вытащил оттуда, как проделывал это с рядом других людей...

Что ж, чтобы жизнь присутствовала в моем рассказе с большей пестротой, расскажу еще несколько случаев, хотя бы два-три. Разговор Шолохова с графоманом, его земляком из Вешенской, который принес ему на просмотр свое произведение. Михаил Александрович прочитал и посоветовал не тратить время зря. Я присутствовал при этом разговоре. Посетитель вежливо попрощался с хозяином, дошел до ворот, у калитки обернулся, улыбнулся, сверкнув золотыми зубами, и сказал: «А все-таки вы не правы, Михаил Александрович. Моя жена – зубной врач, и она тоже кое-что понимает в литературе. Она мне говорила другое».

Это один посетитель. Другой был совершенно иного плана. Сидим мы на веранде за чаепитием. Мне поручили наливать в чашки кипяток из самовара, поэтому именовали «завкипом», заведующим кипятком. Подходит секретарь Михаила Александровича и говорит: его спрашивает какой-то старик. «Где старик?» – «А там, на кухне». – «Зови его сюда», – радушно приглашает Михаил Александрович. «Да не идет он». Ну, Михаил Александрович пошел на кухню, оставив нас на какое-то время, а когда вернулся, я в первый раз увидел Шолохова до такой степени смущенным. Он вернулся просто красный. Когда принялись расспрашивать, в чем дело, он никак не хотел говорить. Пристали к секретарю. Тот и рассказал: «Это, знаете, пришел старик с Украины, пешком пришел. И сюда никак не идет, говорит, что пришел «тильки побачыты», только увидеть. И вот, мол, теперь «побачыв» и собирается обратно. И никаких слов, кроме того, что он уже одно такое паломничество совершил: в Ясную Поляну».

Вот это и потрясло Михаила Александровича.

Об одном запомнившемся во всех своих деталях впечатлении. Спускались мы вниз по Дону на лодке с Михаилом Александровичем и с местным рыбаком, у которого было странное для нашего слуха имя: Чикиль. Чикиль – на донском наречии значит хромой. Он действительно был хромой, потому и получил такое прозвище. Там, на Дону, все ходят с прозвищами. Этот Чикиль вел нашу лодочку, он был на веслах. И вдруг я увидел... Мне показалось, что я или видел это раньше во сне, или когда-то был здесь... Такое ощущение меня не оставляло. Это был один из хуторов, которые вошли в представление о хуторе

Татарском, где жили семьи Мелеховых и Астаховых. Все было настолько узнаваемо, что я спросил: «Михаил Александрович, а это Татарский?» Он не успел ответить, за него ответил Чикиль: «Что вы, Юрий Борисович! – там очень уважительно выговаривают отчество, не «Борисыч», а «Борисович», – вы же видите, тут у спуска к Дону, где мог Григорий с Аксиньей встретиться, тут же песок, а у Михаила Александровича не написано, что Григорий ехал по песку». Меня это поразило. Во-первых, простой рыбак спонтанно, немедленно может, по-видимому, сослаться на текст, взятый с любой страницы. А во-вторых, какая убежденность, неуступчивая вера в реализм изображения: уж если был песок на этом месте, так уж писатель об этом обязательно упомянет...

И еще случай хотел бы рассказать. Михаил Александрович любил меня поддразнивать. Вот он как-то и говорит: «Ты мне скажи – ты кто, редактор или ты лит?» Словом «лит» он обозначил: главлитчик, цензура. Я старался как-то не снижать веселых ноток в разговорах, но однажды задумал очень плачевно обернувшееся для меня предприятие. В Ростове издавался сборничек к 35-летию писателя. В этот сборник я, совершенно естественно, написал статью обычного, нормального плана, а кроме того, решил схулиганить, сделать юбиляру сюрприз: описал приезд в Вешки, чаепитие на веранде, даже встречу с тем стариком, который пришел побачыты, и дорогу ночную на машине из Миллерова в Вешки... А надо сказать, что мы ехали с Василием Михайловичем Кудашевым, ночью надо было выходить, поэтому попросили проводницу нас разбудить, чтобы мы не проехали Миллерово. А от Миллерова ехали уже на машине до Вешенской. Эта проводница была какая-то очень суровая, видимо – надоели ей пассажиры страшно. Но когда она услышала, что мы едем до Миллерова, она вдруг спросила: «А вы не к Шолохову едете?» Мы сказали. И тут все внезапно изменилось. Нам немедленно принесли чай, проводница заговорила с нами так, будто мы едем к ее родным... И это я описал, и ночь на дороге. Когда машина едет по этой дороге ночью, впереди время от времени вспыхивают зеленые сияющие точки: это лисы перебегают дорогу, останавливаются и смотрят на машину в упор. А потом – удивительное зрелище: «Утренняя звезда» – это Венера там у них так называется – постепенно поднимается от горизонта и тянет за собой, как шлейф, полосу рассвета... Все это я, как сумел, описал, а поскольку дело дошло до старика украинца... Да! Я еще подписался псевдонимом: «Г. Лит.». Думал, Михаил Александрович сразу узнает и посмеется. Потом спросил его: «Вот вы в сборничке читали? Там какой-то Лит о вас написал». Он говорит: «Читал». Короткая пауза, а потом – я не решаюсь воспроизвести точное его выражение, заменяю в нем одно слово: «Как, – говорит, – в ухо тебе заглянули». Только он не «ухо» сказал, а другое. Я не видел своего псевдонима, но после этого решил, что никогда о нем вот так, о черточках его характера, о случаях его жизни, об этом писать не буду. Только о творчестве! И дневниковых никаких записей делать не буду. Подальше от соблазна! Он подобные вещи не воспринимает. Потом я, разумеется, страшно жалел: многое, что могло быть записано, приходилось и приходится восстанавливать по памяти... А она, как известно, чем дальше, тем больше подводит.

В то же время он был человеком очень веселым, любил близких ему людей разыгрывать. Я уже написал здесь, как он меня разыграл на охоте. И подобное повторялось не раз. Он все время втравливал нас в игру в подкидного дурака по донскому правилу: это называлось «на пролаз», проигравший должен был проползти на четвереньках под столом, а его могли подпихивать со стороны, чтобы ускорить его продвижение.

Познакомился я в те дни с его матерью, Анастасией Даниловной, или, как ее там называли, Данильевной; с его тестем, Громославским, отцом Марии Петровны, бывшим атаманом одной из станиц, общительным человеком, который отсидел при царе за то, что был атаманом либеральным, а при Советской власти – за то, что вообще был атаманом...

Но я рассказываю такие веселые вещи, а начали мы совсем с другой ноты. Действительно, его смелость, его неумение приспособливаться или нежелание приспособливаться,

все опасности, которые его окружали, то, что нависало вокруг него, над ним, все это присутствовало со всей несомненностью... Я и сейчас удивляюсь тому, что он меня не посвящал в эти обстоятельства до поры до времени.

Однако пора перейти к тому, что волей-неволей нас не оставляет. К той клевете, которая плелась и плетется вокруг него. Надо сказать, что эта клевета была даже тогда опровергнута. Прочитав письмо писателей в «Правду». Там было пять подписей, под этим письмом. Его и Фадеев подписал. Писатели в своем письме прямо говорили о злобной клевете, гневно опровергали ее и осуждали тех, кто ее распространяет, распускает грязные сплетни. Все это связано с авторством «Тихого Дона». Писатели требовали привлечь клеветников к суду (как это и делается теперь в подобных случаях в наше время). Многим стоило бы особое внимание обратить на весьма справедливое утверждение в этом письме. Цитирую: «Всякий, даже не искушенный в литературе читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для тех его ранних произведений и для «Тихого Дона» стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей». И они продолжают: «...писатели, работающие не один год с т. Шолоховым, знают весь его творческий путь, его работу в течение нескольких лет над «Тихим Доном»...»

Борис Ливанов¹ Трубка Шолохова

Из воспоминаний жены Б. Ливанова

<...> Из Москвы Борис Николаевич писал:

«23 сент. 1941 г.

...Я каждый день репетирую «Кремлевские куранты». На днях показывался В.Г. Сахновскому в новой роли. С сегодняшнего дня перешли на сцену. Репетируем еще «Три сестры». Вводим Андровскую² на роль Маши. Скоро пойду на фабрику грамзаписи, откуда будет передача концерта для фронта. Я играю опять «Яровую». Каждый день концерты. Иногда очень далеко за городом. Поздно возвращаюсь...

29 сентября 1941 г.

...На днях (9—10) должна быть премьера «Курантов». С завтрашнего дня пойдут репетиции на сцене. И меня ни за что не отпустят.

...Как хочется быть с вами, мои любимые, родные. Как все трудно! Хоть бы одним глазком посмотреть на вас, моих бедных, дорогих, родных!!! После премьеры предполагается выезд бригады на фронт. «Кремлевские куранты», «Яровая» и еще что-то. Должны ехать Хмелев, Грибов³, я и др. Но не знаю, пока еще это не точно...

29 октября

...Вчера у меня была генеральная репетиция «Курантов»... Спектакль, в общем, понравился. И особенно – исполнение Хмелева, Грибова и мое. Так что, кажется, все-таки... искусство... Сейчас будут снимать меня и других участников спектакля на пленку кинохроники. Надо сейчас уже скоро идти гримироваться и одевать свою особу. Не очень хорошо получается финал спектакля. Но, кажется, удалось своего добиться. Я тебе м. б. пришлю еще подробности дальнейшие...»

Потом театр отправили из Москвы в Саратов. Оттуда Борис Николаевич сообщал:

«Сегодня приехал Храпченко¹. Остановился в номере напротив нашего. Вечером будет беседовать с нами. Предположено было начать 6-го работу театра в Саратове. Все, что я пока знаю. Советовался с Храпченко о вашем приезде. Он не советует. Находит, что вы живете в лучших условиях, чем можете жить здесь со мной. Он так же, как я, не виделся с семьей с начала войны. Что узнаю после беседы с ним, сообщу отдельно».

Наконец, семья наша соединилась – в Саратове. Директором театра в эвакуации был назначен Иван Михайлович Москвин⁵, поскольку Немирович-Данченко оказался на Кавказе. Все жили в одной гостинице. Распорядок жизни артистов очень строгий. После 12 часов ночи не разрешалось говорить по единственному телефону. Все эти правила были вывешены на стене за подписью Москвина-директора. Как-то ночью постучали к нам в дверь. Мужской голос требует Ливанова к телефону.

– Слушаю. Кто говорит? – шепотом спросил Ливанов.

– Борис? Это ты? Шолохов говорит... Что ты шепчешь?.. У вас что, войны нет? Я с фронта и утром лечу в Москву. Сейчас мы приедем к тебе...

В этой маленькой, старой гостинице была чугунная лестница. Через некоторое время мы услышали грохот, разносившийся эхом по всему зданию подобно шагам командора. В дверь постучали и вошли три человека. Михаил Александрович Шолохов был в военной форме, он тогда с усами пшеничного цвета и большим нависшим лбом был похож на художника Федотова... Вторым был Князев, прокурор Саратовской области, земляк Шолохова. И еще с ними был молодой человек, тоже военный. В Саратове строго соблюдалось затемне-

ние, и мы зажгли фитиль, опущенный в масло на блюде. Сначала Шолохов рассказывал о фронте. О молодых женщинах-санитарках, иногда очень маленьких и хрупких, которые добросовестно находили раненых на поле боя и тащили их на себе, не будучи даже уверенными, что раненые еще живы...

После этих удивительных рассказов Шолохов вдруг запел высоким голосом казачью песню. Ее подхватил Князев... Они так пели, что никогда и нигде мы ничего подобного не слышали. Пение продолжалось до семи утра, потом все поехали домой к Князеву, где его жена дала нам яичницу с салом и налила по стакану спирта. Все выпили «посошок на дорожку».

Приехали на заснеженный ледяной аэродром, и Михаил Александрович улетел.

Вернувшись в гостиницу, убирая со стола, обнаружила трубку Шолохова. Забыл. Хватится, какая досада! Но он обещал на обратном пути из Москвы на фронт, пролетая через Саратов, обязательно зайти. Я положила ее в чемодан. Не зайдет – будет нашим талисманом. Трубка Шолохова с фронта! Часа через три появился Князев.

– Шолохов, вероятно, у вас оставил трубку. Звонил из Москвы!

– Нет! – Я поспешила опередить Бориса Николаевича.

– Посмотрите внимательнее...

– Я тщательно убирала. Нет, трубки нет.

Он ушел.

– Ну знаешь! – сказал потрясенный Ливанов. – Соврала, да еще прокурору!

– Он приедет, и я сама хочу ему отдать.

После ухода Князева постучали в дверь.

– Борис Николаевич. Москвин просит вас сейчас же к нему.

– Я с тобой.

– Пошли.

Глядя в окно и не оборачиваясь, сдерживая себя, накаленным голосом Москвин спросил:

– Что происходило сегодня ночью в вашей комнате? Никто не спал в гостинице...

Я робко сказала:

– Иван Михайлович, сейчас я все вам объясню.

Но Москвин прервал меня:

– Ливанов будет отвечать!

Все это говорилось с такой поистине москвинской силой, с таким безвыходным для нас подтекстом, что, казалось, объяснить ничего уже будет нельзя.

– Иван Михайлович, – начал Ливанов, – ко мне ночью пришел Шолохов с друзьями, проездом на фронт, и они так замечательно пели казачьи песни...

Москвин резко обернулся:

– Что же ты меня не позвал?

Через несколько дней Шолохов у нас. Князев с ним. Я лезу под кровать, достаю чемодан, вынимаю трубку. Ни то, как на меня посмотрел Князев, ни недоумение Бориса Николаевича, когда я не отдала трубку, ни мои угрызения совести не идут в сравнение с радостью Шолохова.

– Трубка! Моя!! Какое счастье! Боялся ехать без нее.

Даже сейчас, когда пишу, сердце забилося учащенной. Доставить радость человеку, да кому – Шолохову!

– Миша, почему ты не сделаешь пьесу из «Тихого Дона»? Ну, если ты не будешь – разреши сделать это мне.

– Ты будешь играть Григория? А Аксинью кто?

– Тарасова.

– Я буду рад. Делай.

Уже в Москве Шолохов пришел к нам. Ливанов начал читать ему инсценировку.

– Стой, стой! Отдохни, пойдешь в другую комнату.

– Ты не доволен? Я волнуюсь.

Борис Николаевич волновался.

Когда он вышел из комнаты, Михаил Александрович сказал:

– Борис думает, так это просто – ведь он сделал пьесу, не я.

Он волновался не меньше Бориса Николаевича. Когда Борис Николаевич кончил читать:

– Хорошо, ставь. Никаких тебе замечаний у меня нет.

– А у меня к тебе просьба: у Григория остался сын, теперь он воевал, наверно, и по возрасту так. Когда кончится спектакль, пусть сын Григория выйдет за занавес, обратится к зрителям. Напиши ему этот монолог. У нас есть молодой, хороший артист, и на меня похож.

– Нет, нет, нет и нет!

– Пойми, это необходимо, Миша!

– Я написал роман, это законченное произведение. Не буду.

Пьеса Бориса Ливанова «Тихий Дон» по роману Шолохова была принята в Художественный театр. В пьесе не было ни одного нешолоховского слова. Когда Борис Николаевич читал ее труппе, были аплодисменты, слезы, смех – приняли на «ура», как в таких случаях говорят. Директор Месхетели положил ее на глаза у Ливанова в сейф в своем кабинете в театре. Борис Николаевич отдал рукопись, единственный экземпляр, который потом не могли найти. Ливанов должен был приступить к репетициям. Месхетели страшно сражался тогда с частью труппы, протестуя против «Зеленой улицы»: нельзя, чтобы в Художественном театре шла такого низкого литературного качества пьеса! Михаил Кедров хотел ее ставить и – настоял. Занял Ливанова в этой пьесе. Постановку «Тихого Дона» отложили <...>

Борис Сперанский Встречи с М.А. Шолоховым

Хмурым утром мартовского дня 1942 года в кабинете военного прокурора Саратовского гарнизона настойчиво зазвонил телефон.

– Князев слушает! Что-что? Неужели? Сейчас же выезжаю...

Прокурор быстро и ловко накинул на себя шинель, надел шапку, взял со стола подмышку портфель и выбежал на улицу.

Садясь в стоявшую у подъезда автомашину, он на ходу крикнул шоферу:

– На аэродром!

Через полчаса по лестнице одного из крупных зданий Саратова поднимались двое военных. Тот, кто шел впереди, был одет в форму летчика. На его шлеме, выше лба, поблескивали стекла больших очков, на плечи спускался широкий меховой воротник. Медленно, несколько усталой походкой он переступал со ступеньки на ступеньку. И когда сопровождавший его открыл дверь, человек в летной форме облегченно вздохнул, крупно шагнул через порог. Заметив приближающуюся навстречу женщину, он громко поприветствовал:

– Здравствуйте, Любовь Филипповна!.. Что, не узнаете?

Женщина, пристально поглядев на гостя, мигом протянула руки и горячо воскликнула:

– Вы ли, Михаил Александрович?! В такое-то время, и в Саратов! Какими судьбами?

Это был известный советский писатель Михаил Александрович Шолохов, прибывший с фронта, а сопровождал его муж Любови Филипповны – Федор Степанович Князев.

Князевы знакомы с семьей М.А. Шолохова больше тридцати лет. Еще молодым Федор встретился с Михаилом Шолоховым на его родине, и с той поры они не забывают друг друга. В семье бережно хранятся замечательные письма писателя, его дарственные книги, редкие фотоснимки.

Вечером хозяин квартиры по случаю приезда в Саратов писателя устроил скромный ужин. На него были приглашены всего два человека – следовательно, ныне адвокат Сергей Иванович Максимов, и работавший тогда управляющим саратовским трестом «Маслопром», ныне директор совхоза «Хоперский» Балашовского района, Андрей Миронович Тарасов. Тарасову сразу же пришли на память события: вот он, комиссар донских станиц Букановской, Федосеевской и Слащевской и одновременно председатель районного военного совещания по борьбе с бандитизмом, принимает в начале 1922 года молодого Михаила Шолохова на работу в качестве агента по продналогу...

Сергей Иванович Максимов при первом же разговоре с Шолоховым почувствовал себя его другом.

Когда, казалось, обо всем уже было переговорено, Михаил Александрович, обращаясь к Федору Степановичу, предложил:

– А теперь давайте споем казацкие песни, – и первым запел: – «Ой да разродимая, моя сторонюшка...»

Все подхватили песню.

На следующий день писатель Шолохов познакомился с Саратовом, побывал на Волге, посетил картинную галерею художественного музея. Выйдя из музея, Шолохов откровенно признался:

– Нравится мне Саратов. У города большое, прекрасное будущее.

За четырехдневное пребывание в Саратове Шолохов дважды побывал в театрах.

– Я знаю, что ты, Михаил Александрович, очень любишь Дон, но и Волга ведь хороша! – сказал Федор Князев.

– Да. Волга-матушка – хорошая река!

В ясный, солнечный день саратовцы сердечно проводили любимого писателя.

Петр Луговой С кровью и потом

Из записок секретаря райкома партии
Неизвестные страницы из жизни М. А. Шолохова.
(Продолжение. Начало в книге первой)

<...> Изю дня в день станицы и хутора района посылали на фронт все новые и новые партии мобилизованных. Все меньше и меньше оставалось рабочих рук в колхозах и МТС. Ушедших заменяли подростки и женщины. Стали организовываться женские тракторные бригады, к штурвалу комбайна и к рулю автомашины, в мастерские МТС приходили женщины, чьи мужья ушли на фронт.

В Вешенском районе в то первое лето войны только начиналась уборка хлебов, учиться осваивать машины пришлось на ходу. Сколько слез, горя, труда было потрачено, пока из женщин, девушек и молодых парней были созданы кадры. Из существовавших до войны двух-трех женских тракторных бригад рядовые трактористки становились бригадирами, трактористов набирали из прицепщиков – парней и девушек, и на практике, без теории они осваивали машины. Бывало, сердце кровью обливается, когда подъедешь к трактору, он стоит, а девушка у заводной ручки плачет, не может завести. На тракторную бригаду с большим трудом удавалось поставить одного мужчину, знавшего трактор, и он от трактора к трактору ходил и заводил. Заведет одной, смотришь – у другой трактор стал.

Колхозники и колхозницы, казаки и казачки, ценой величайших усилий спасли хлеб, вовремя убрали его и сдали государству. Шолохов, находясь в станице Вешенской, написал статьи в газету «Правда» и «Красную звезду»: «В казачьих колхозах», «На Дону». Словом казаков Якова Землякова, Романа Выпрямкина писатель утверждал, что «донские казаки всех возрастов к службе готовы», что «великое горе будет тому, кто разбудил эту ненависть и холодную ярость народного гнева». В другом очерке Шолохов писал: «Грохочут гусеничные тракторы, над сцепами комбайнов синий дымок смешивается с белесой ржавой пылью, стрекочут лобогрейки, поднимая крыльями высокую густую рожь». И всем этим управляют другие люди, заменившие бойцов, ушедших на фронт.

Как-то, возвратясь из Москвы, Шолохов рассказывал, что был у А.С. Щербакова¹, секретаря ЦК ВКП(б). В беседе с ним Щербаков говорил, что сейчас нужна короткая статья, зовущая на бой с немецкими захватчиками, небольшая, но горячая брошюра о борьбе с немецкими фашистами. Шолохов печалился о том, что плохо даются ему такие статьи и брошюры. В дальнейшем, как известно, он овладел и этим видом творчества и создал гневные произведения большой духоподъемной силы.

В другой раз Шолохов говорил, что Щербаков высказал мысль о том, что, когда похолодает и полетят белые мухи, тогда крепче ударим немцев. Видимо, речь шла о готовившемся разгроме немцев под Москвой зимой 1941 года.

В июле 1941 года Шолохов был призван в армию, ему присвоили воинское звание полкового комиссара. Верховное командование использовало его как военного корреспондента газет «Красная звезда» и «Правда». Шолохов стал часто бывать на различных фронтах – на Западном, Южном и других.

Осенью 1941 года немцы заняли Ростов, угрожали Ворошиловграду. Семья Шолохова была эвакуирована в Камышин. Накануне он подарил мне, Красюкову, Логачеву и другим товарищам фотографию, где был снят со своей семьей: Марией Петровной и детьми Светланой, Сашей, Мишей и Машей. На фотографии Шолохов написал:

«П. К. и М. Ф. Луговым.

Дорогой друг! Мы с тобой прожили большую и богатую радостями и горестями жизнь. Ты был, остаешься и будешь – я в этом уверен – лучшим моим другом. Если эта фотография когда-либо напомнит тебе о тихом Доне, о Вешках, о том, кто был и остается твоим всегда верным другом, – будет легче тебе и мне. За товарищество, за дружбу, которая в огне не горит и в воде не тонет. За нашу встречу и за нашу победу над окаянными фашизмом!

Твой Шолохов

11 октября 1941 г.»

На другой день на грузовых машинах мы проводили дорогую всем нам семью. Шолохов, устроив семью в Камышине, вернулся домой в Вешенскую, где в доме осталась на хозяйстве его мать. В это время Южный фронт нанес серьезный удар по фашистам и выбил их из Ростова, но развить успех не сумел, немцы еще имели большой перевес в живой силе и особенно в технике.

Находясь в прифронтовой полосе, Шолохов поехал в штаб Южного фронта, находившийся в Каменске. В дорогу он взял с собой меня и Николая Николаевича Лудищева. Мне нужно было ехать в

Ростов на пленум обкома партии, а Лудищев ехал сопровождающим. К Каменску мы подъезжали поздно вечером, без света фар ехать было тяжело, машина попадала в канавы, могла перевернуться. Тогда шофер включил свет. При свете ехать также было невозможно, нас обстреливали с воздуха немецкие самолеты, бороздившие небо над Каменском. Две или три очереди трассирующих пуль чуть было не пбили нас с Шолоховым, и уцелели мы каким-то чудом. Одна очередь прошла прямо над головой, вторая слева, разбив боковое ветровое стекло. Третья очередь прошла справа в 20–30 сантиметрах от машины. Желтые, красные, зеленые, белые пули чередовались в каждом пучке выстрелов. Мы снова потушили свет, один из нас пошел пешком впереди машины, указывая ей след. Так мы добрались до Каменска.

Город был погружен в темноту. Днем его бомбили. Шолохов беседовал с военнопленными немцами, ездил на передовую. В этих поездках Шолохов простыл, заболел и был помещен в госпиталь, откуда скоро вернулся на квартиру, заявив, что не может лежать в госпитале, когда идет война и ему нужно работать.

Шолохов написал статью «На юге», в которой показывал единый борющийся лагерь советских людей, всех, кто добывает победу своей великой Родине. Затем Шолохов надолго выехал из Вешенской. Зимой 1941/42 года Шолохов побывал на различных фронтах. Он своими глазами видел, слышал и чувствовал войну, воспринимал ее запахи. В статьях того времени Шолохов писал о героической борьбе советских людей с оголтелыми фашистами.

В Вешенскую Шолохов вернулся в двадцатых числах мая 1942 года. Он рассказывал мне, что перед отъездом из Москвы был у Сталина. Сталин сказал, что положение на фронтах стабилизировано и что советское командование накапливает силы для мощных ударов по немцам. Но не прошло и недели, как под Харьковом немцы нанесли серьезное поражение Юго-Западному фронту. Они прорвали нашу линию обороны и начали крупнейшее наступление на Сталинград и Кавказ. 8 и 9 июня фашистские самолеты бомбили Вешенскую. Шолохову пришлось вновь заботиться о безопасности близких. Вначале он оставил семью в хуторе Андроповском, а сам вернулся за матерью и кое-какими вещами. Мы – я, Логачев, Красюков, Лимарев – собрались проводить его у него во дворе. Машина его стояла с заведенным мотором. Не успел Шолохов указать рукой на самолеты, как посыпались

бомбы. В это время и погибла его мать. Мы все залегли, где кто мог, а она шла в сарай по своим хозяйственным делам, и вражеский осколок сразил ее.

Немного подождав, пока рассеется дым и пыль от взрывов, Шолохов выехал в Андроповскую. Он не знал, что мать убита. Для похорон матери он снова вернулся в Вешенскую. Похоронив мать, направился с семьей в Камышин или Николаев. По пути к Волге он прислал мне записку следующего содержания:

«Дорогой Петя!

Не знаю, какова сейчас обстановка в Вешенской, отсюда трудно судить, но если ваши семьи еще не выехали, то еще раз напоминаю: будут гнать скот, пусть прихватят наших коров. Если дом не разрушен – все остается на твое усмотрение, как ты там решишь, так и будет. Крепко всех вас обнимаю и твердо надеюсь на встречу.

М. Шолохов.

P.S. В доме остались кое-какие харчишки. Если это цело – заведи себе, сгодится.

М. Ш.»

На письме не поставлена дата, судя по всему, оно написано 11–12 июня 1942 года, так как наши семьи еще отправлены не были, они находились в колхозе «Новый мир», в школе. Никаких харчей и вещей в доме не оказалось, в нем располагались красноармейцы отходящих частей, в беспорядке переправлявшиеся через Дон. Даже не оказалось библиотеки, которая еще вечером, в день бомбежки, была цела. Потом стало известно, что командир какой-то части погрузил все книги шолоховской библиотеки и отвез их в Сталинградскую городскую библиотеку (нашел куда везти), где они и пропали...

Здание райкома было сильно порушено, но еще стояло, не развалилось. В дом Шолохова попала большая бомба и взорвалась под полом, в зале, были повреждены столбы, на которых крепился мезонин. Несколько позже все надворные постройки во дворе Шолохова (сарай, конюшня, кухня с баней и забор) сгорели дотла.

Подойдя к Вешенской, гитлеровцы остановились, отделенные от станицы рекой, и стали строить укрепления. Бои развернулись восточнее Вешенской, в Серафимовиче, Клетской, Калаче и затем в Сталинграде. Районный центр был эвакуирован в Терновский сельсовет, на границу Вешенского района и Сталинградской области. Начались фронтовая и прифронтовая жизнь и работа района. МТС с тракторами и моторами комбайнов и запчастями были эвакуированы к Волге, скот тоже эвакуирован, – часть за Волгу, часть к волжскому правобережью. Парторганизация переключилась на помощь фронту, проводила заготовку овощей, фруктов, хлеба, оказывала помощь госпиталям. Строила оборонительные сооружения.

Райком и райисполком еще до подхода фашистов к Дону организовали партизанский отряд. Но действовать ему не пришлось. Хотя отдельные его бойцы выполняли важные поручения командования. Так, например, Афанасий Карпов и Илья Глазунов ходили в тыл врага в районе Ягодного. Королев ходил в тыл к немцам в районе Базков и собрал важные разведывательные данные. Были организованы конспиративные квартиры и базы с оружием и продовольствием, подпольная типография, медпункт и другое, нужное на случай перехода райкома партии и райисполкома на нелегальное положение.

Зимой 1943 года Шолохов прислал нам дружеское письмо после полугодовой разлуки:

«Дорогой Петя и все товариство!

Вот и «отыскался след Тарасов»! Павел Иванович – первая ласточка из уральских степей, но, видно, скоро и я побываю проездом в родных местах. За эти полгода много воды утекло, и обо всем не расскажешь, все это оставим

до встречи. Не знаю, кто из вас в Вешенской, кого нет, но всем оставшимся шлю привет, большущий и сердечный. С ноября по конец декабря был я в Москве. ЦК вызывал лечиться. Прошел средний ремонт в кремлевской лечебнице и сейчас уже – почти в рабочей форме, пишу, было такое время, когда не только ехать куда-либо, но и писать не мог по запрету профессоров. Чуть не попал в инвалиды, но кое-как выхромался, и сейчас уже рою ногой землю (точно так, как Тихон) и собираюсь ехать вслед за фронтом по донской земле.

В Москве говорил по телефону с Абакумовым, он должен был навести справки о Лудищеве, но т. к. это было перед отъездом, узнать о нем не мог. О вас слышал только от камышинского секретаря Ведяпина, а потом – ни слова.

Как вы там и что? Напиши с Павлом. Я не уверен, что он застанет по возвращении меня здесь, но на всякий случай напиши обо всем подробно. Мне думается, что Виделин, который был у меня, побывал уже в Вешенской и рассказал о нашем житье-бытье, а вот о Вешках мы тут ничего не знаем. Где сейчас обком? Двинский писал мне из Камышина, где он был проездом, на этом связь с Ростовской областью и оборвалась.

По-прежнему ли вы в Дударевке или уже в Вешенской? И что осталось от этой бедной станички? Очень хотелось бы побывать у вас и посмотреть. Думаю, что мне удастся завернуть к вам и увидеться со всеми после полугодичной разлуки. Где ваши семьи? Вернулись ли в Вешенскую? Тебе придется писать большое письмо!

Павел выехал в Вешки, чтобы захватить кое-что из имущества, в частности, перешли с ним мой архив, который хранился в райНКВД, и помоги ему добраться до Камышина, а оттуда уже мы его переправим как-нибудь в Уральск. Ребята, что осталось – и осталось ли? – от моей библиотеки? Нельзя ли собрать хоть что-либо? Ведь немцев в Вешках не было, неужели свои растащили?

Напиши и о соседях. Как из неразберихи выбрались базковцы, боковцы? Как выглядят правобережные хутора? Где сейчас Петро Чикиль? Много пришлось повидать мне порушенных мест, но когда это – родина, во сто крат больнее. Прошлогодня история свалилась, как дурной сон, и как-то до сих пор мысль не мирится с тем, что война отгремела на Дону.

Ну, да ничего! Были бы живы, а все остальное наладится. Трава и на погорелом месте растет! Еще раз всех крепко обнимаю и надеюсь на скорую встречу!

Твой М. Шолохов

31-1.43. Уральск».

Много горя и бед принесли немцы и на Дон. Станица Вешенская узкой лентой километра на 4 растянулась по левобережью Дона, с запада на восток. Вся западная, центральная и значительное место восточной части станицы были сожжены и разбиты снарядами и бомбами. Полностью сгорел красавец театр колхозной казачьей молодежи, кинотеатр, пристань, тубдиспансер, рентгеновский кабинет, поликлиника, баня, разрушена школа-десятилетка. Райком, райисполком, раймаг, база райсоюза, типография, водонапорная башня и многое другое, много кварталов были полностью уничтожены, в отдельных кварталах остались одинокие дома, чудом сохранившиеся.

Архив Шолохова погиб. Куда он делся, это осталось на совести начальника районного отдела НКВД Федунца, секретарь Шолохова Зайцев сдал ему архив. Видимо, когда отдел

последним покидал станицу и ее заняли воинские части, его растянули, и все это погибло на полях войны. Прежние товарищи частично разъехались по другим районам. Логачев работал в Морозовской, Красюков – в Белой Калитве, Зеленков Тихон – в Боковской, Лудищев – в Миллерове. В Вешенской из прежних работников остались я и предрика П.Т. Лимарев. Семьи наши еще были за Волгой и вернулись только к началу весны 1943 года. В январе вернулся в Вешенскую райцентр, все районные организации расположились в восточной части станицы в здании педучилища, которое меньше всех пострадало, затем постепенно начали восстанавливать разрушенные здания райкома, райисполкома и другие.

К весне 1943 года фронт отодвинулся к Таганрогу и Ворошиловграду. МТС вернули тракторы, колхозам – скот. Правда, и то и другое сильно поредело, часть тракторов и все автомашины передали фронту, все лошади, часть скота и даже часть стада рабочих волов пошли на снабжение армии. Семян и горючего в районе не было, обкома и облисполкома в Ростове не было, область еще не была восстановлена, и помочь чем-либо она не могла. Я выехал в Воронеж с тем, чтобы связаться с Москвой. Воронежцы дали возможность позвонить в Москву, я говорил с А.А. Андреевым. Он отпустил нам и горючее, и семена через Калачевскую базу Воронежской области. Весенний сев был хотя и на меньшей площади, но проведен успешно. В феврале 1944 года я по делам района выехал в Камышин, чтобы с помощью Шолохова разрешить ряд вопросов. Шолохова в Камышине не было, он был в Москве. Пришлось ехать в Сталинград, чтобы из Сталинграда связаться с ним по телефону.

Я поговорил с Шолоховым, он обещал пойти к Андрееву и все передать. 17 февраля он из Камышина прислал следующую телеграмму:

Вешенская Ростовской области Луговому

7 был Андреев. Немедленная помощь обещана. Привет.

Шолохов.

В конце марта 1944 года Шолохов прислал более подробное письмо:

«Камышин. 24.III.44.

Здравствуй, дорогой Петя!

Знать, судьба такая незадачливая: ты приехал в Камышин – я был в Москве, в начале марта я поехал в направлении Вешенской, не пустила плохая речушка Кумылга. Встретиться так и не удалось... В конце февраля я выехал из Камышина на Сталинград, оттуда на Сиротинскую – Клетскую – Вешенскую. Доехал до Кумылженской и вынужден был вернуться, т. к. в Кумылге мосты затопило, а тут так стремительно наступала весна, что ждать сбыва воды в Кумылге было невозможно и пришлось оттуда вернуться.

Как ты вылезешь с севом? Помог ли Андрей Андреевич? 7 II. когда я был у него, он твердо обещал оказать немедленную помощь, принимая во внимание отдаленность р-на от ж/д путей, спрашивал, можно ли связаться с тобой по телефону. Я сказал, что по телефону – едва ли, думаю, что он нашел другие каналы, чтобы узнать непосредственно нужды района.

Теперь я буду у вас только в мае, когда установится дорога и, главное, переправы через Медведицу и Хопер. В случае, если через эти притоки переправы в мае не будет, проеду той, т. е. правобережной стороной Дона до Базков, но в мае буду в Вешенской обязательно. Не знаю, сколько времени это письмо будет идти до Вешек, но было бы неплохо, если бы ты черкнул т-мой вкратце, как обстоят дела. До мая я, вероятно, буду в Камышине, и твой ответ (телеграфный) меня застанет дома.

Летом, как только кончатся занятия в школах, думаю перебраться в Вешенскую. В связи с этим попрошу тебя изыскать средства и на нашу долю посадить картошки, чтобы осенью не заниматься заготовками.

Как обстоит дело с ремонтом дома? Напиши обо всем.

На сессии Верховного Совета видел Бор. Ал-ча Двинского и по его рассказам приблизительно знаю, что делается в Вешках, но очень хочется посмотреть самому.

Пересылаю тебе заявление Сенчуковой. Мне думается, что в отношении ее поступили несправедливо и на работе ее надо восстановить...

От Красикова получил письмо. По характеру оно весьма сдержанно, и о Вешках – ни слова. Логачев молчит. Кто же кроме Лимарева остался в Вешках? Лудищев прислал из Миллерово письмо. Он, как видно, процветает.

Как видишь, вопросов к тебе много и помимо т-мы придется тебе черкнуть письмишко. Буду очень рад.

Передай от нас привет Марии Федоровне и всем, кто знает и помнит.

Крепко обнимаю тебя и жду т-му и писем.

Твой М. Шолохов».

На этот раз он был больше осведомлен о положении в Вешенской, по-прежнему горел желанием побывать в станице. Он несколько удивлялся, что война расстроила наше «товарищество», что разъехалась в разные стороны, в разные места та группа товарищей, окружавшая его, которую он ценил, уважал и защищал от нападок...

Ф.С. Князев 7 июля 1942 г

Получил задание и выехал через В/ешенскую/ в К/умылженскую/. Заехал к Мих/аилу/ Ал/ександровичу/. Радушная встреча, он с семьей на Дон приехал отдохнуть. Осунулся, покашливает, но продолжает усиленно курить. Марья Петр/овна/ раздобрела и такая же заботливая и внимательная. Дети выросли: Светлана уже взрослая, играет на рояле, Александр, или Алик, самостоятельно ставит сети и сегодня принес рыбы на целое варево. Миша растет, особенно хороша Машенька.

Приезд на отдых в Вешки был необдуманным шагом, да и самый отпуск произошел при странных обстоятельствах, да еще в военное время.

Ш / олохов / скитался по фронтам, писал для Англии и США, для нашей прессы написал две большие статьи: «На юге» и «Школа ненависти». Последняя статья особенно шумела, так уж она хорошо написана! Между «Правдой» и «Кр/асной/ Звездой» произошел спор. Кому ее печатать, но спор был решен, и обе газеты напечатали, хотя «Кр/асная/ Звезда/» на день позже.

В первых числах июля вызвали Ш / олохова / в Москву, и хозяин потребовал организовать отдых, предлагал осмотреть в Кремлевке и направить по заключению врачей. Советовал в Грузию, но

Ш / олохова / шутя сказал: «Что же там делать, вина много, а врачи пить не велят, но вряд ли вытерпишь». Поехал в Вешки. Провожать собрались: хозяин, Мол тип. Вор/ошилов/, Бер/ия/, Маленков, Щербаков. Маленький, военного времени банкет, разговор о войне, литературе. Хозяин спрашивал мнение Шол/охова/ о некоторых писателях, и когда он сказал, что Фадеев неважный писатель, то хоз/яин/ поправил: «Никчемный писатель и разложившийся, литература любит тружеников. Хороших писат/елей/ надо беречь. «Война и мир» Толстого появилась значительно позже событий, надо Вам подумать и начать работать не торопясь над событиями Оте/чественной/ войны. У Вас это выйдет».

Сели обедать, настроение хорошее, собралась вся семья в столовой. Мое желание выпить как бы угадал Михаил, да и сам рад случаю, но Марья Петровна восстала, выражая это очень бурно: кашляешь, умрешь, оставишь нас. «Будешь пенсию получать, – шутит Мих/аил, – а если окажется, что деньги ничего не будут значить, попроси установить пенсию натурой».

Тем не менее я выпил вдоволь, а ему, бедному, дала М/ария/ П пропилил две рюмки, а жалобная просьба третьей длилась минут 10 и не была удовлетворена, не дали.

Пообедали, отдохнули, искупался я по совету друга и лег спать, собираясь наутро выехать на фронт.

Прекрасно утро на Дону, вид исключит/ельный/ по своей красоте и обаятельности – не оторваться взглядом от крутого правого берега Дона. Но не спокоен он, раздаются тревожные, на низких тонах, гудки пароходов, а по шляху непрерывной цепью движутся грузовые автомашины из-под Россоши (занял противник).

Переправы через Дон тоже разбиты – осталась одна Вешенская. В это утро человек двадцать командиров, в костюмах, давно не видевших стирки, и с лицами, на которых только зубы белелись, проезжая через Вешенскую с фронта, даже не зная, тут ли Михаил, заходили с единственной целью: узнать и посмотреть, где живет и творит великий писатель. Радости нет предела, когда навстречу выходил по-утреннему возбужденный, радушный и всегда приветливо улыбающийся хозяин с папироской. (Куда он трубку девал – подарок раб/оче-/крест/ьянского/ графа – не знаю.) Хотя раз он ее терял у Б. Ливанова – тоже случай.

Торопливые приветствия, пожелания с обеих сторон писать больше, воевать лучше и расставанье. В 10 я решил написать письмо домой, сел в раб/очем/ кабинете Михаила. Мезонин, два балкона, легкое воздушное сооружение с видом на Дон располагало написать теплое душевное письмо домой детишкам.

Только собрался писать адрес – раздался звук моторов. Прерывающийся, захлебывающийся и препротивный.

Выглянув в окно, я заметил 4 враж/еских/ самолета, шедшие на очень небольшой (или, как Шол / охов / выразился, – на презрительно небольшой) высоте. Не успел я что-нибудь подумать, как раздался свиной, воющий визг полета бомбы и разрыв в 50 м от дома Шолохова, загорелся чей-то дом, посыпались стекла мезонина, закачались стены, и я с быстротой пули слетел по узким и кривым сходцам вниз. Михаил лежал около дома за завалинкой, находясь в уверенности, что он в безопасности, об этом можно было судить по тому, что на всех, кто еще не спрятался, он кричал: «Черт вас носит тут. Ложись скорей!

Ну, Федор, – не до гостей и не до отдыха, надо разъезжаться».

Торопливые сборы, поцелуй на дороге, и разъехались в разные стороны: я на фронт, а он в Камышин.

Новый роман Михаила Шолохова

В Москву, с фронтов Отечественной войны, приехал писатель Михаил Шолохов.

В настоящее время писатель работает над новым романом «Они сражались за Родину».

В беседе с нашим сотрудником М. Шолохов сказал:

– Это будет книга о советских людях в дни Великой Отечественной войны, – о тех, кто с оружием в руках защищает нашу родину на фронте, и о тех, кто в героическом советском тылу отдает свои силы на борьбу с врагом.

Действие одной из частей романа происходит на Южном фронте, на Дону, в период, предшествующий наступлению Красной армии.

Новые главы романа «Они сражались за Родину»

Беседа с Михаилом Шолоховым

В Москве в течение нескольких дней находился писатель, академик Михаил Александрович Шолохов. Перед отъездом из столицы он принял корреспондента редакции газеты «Московский большевик» и ответил на несколько вопросов. Ниже помещаем запись беседы:

– Мною написаны, – сказал М.А. Шолохов, – многие новые главы романа «Они сражались за Родину». Несколько глав, вероятно, будут опубликованы в «Правде», постоянным корреспондентом которой я являюсь, и в «Красной Звезде».

– Каков будет объем романа?

– Пока на этот вопрос ответить трудно.

– Что можно было бы сообщить читателям о вашей почте?

– Я получаю огромное количество писем, адресованных мне как депутату Верховного Совета СССР. Поступает также большое количество писем и рукописей участников Великой Отечественной войны. Люди, сражавшиеся за Родину, идут теперь в литературу. Среди них есть бесспорно талантливые люди.

– Каковы ваши планы на ближайшее время?

– Я уезжаю в Вешенскую. Затем мне предстоит поездка в Сталинград и в Клецкую – на места исторических битв 1942 года. Это необходимо мне для работы над новыми главами романа. В конце ноября рассчитываю приехать в Москву.

Казачи-гвардейцы в гостях у Шолохова

Ростов-на-Дону /от наш. корр./. Недавно группа донских казаков-гвардейцев из Гвардейского донского казачьего кавалерийского соединения посетила писателя М. Шолохова, живущего в станице Вешенской. Гвардейцы рассказали автору «Тихого Дона» о своих походах в боях с врагом, о ратном пути, приведшем донских казаков в Румынию, Венгрию и Австрию.

М. Шолохов поделился с воинами своими творческими планами, сообщил, что заканчивает работу над романом «Они сражались за Родину».

На прощание казаки-гвардейцы взяли у М. Шолохова обещание навестить их в ближайшее время.

Л. Большаков Они познакомились на войне...

Они познакомились на войне.

...В октябре 1942 года в газете «Красная Армия» появилась статья «По тылам врага». Речь в ней шла о смелых действиях фронтовых следопытов – лейтенанта Михаила Ливинцова и его бойцов. Зимней ночью они отправились на территорию, занятую врагом, и сумели не только разведать все, что им поручалось, но и причинить гитлеровцам солидный ущерб.

В другой раз тот же Ливинцов, отправившись в разведку вместе со своим земляком Любимовым, вернулся с захваченного немцами хутора Вертячего с ценной добычей – «языком», который на допросе дал нашему командованию важные показания.

Фронтовые журналисты вновь приехали за материалом. Они записали все сведения о дерзкой вылазке. Но тут же, из разговора с Ливинцовым, газетчики узнали, что сам он – человек «писучий», селькор с многолетним стажем, и попросили его написать обо всем собственноручно.

Так возник первый военный очерк М. Ливинцова «Встречи».

Именно он и послужил поводом к нежданному-негаданному знакомству.

Однажды (это было вскоре после появления очерка в газете, вероятно – в ноябре сорок второго) лейтенанта вызвали в штаб дивизии.

– С вами желает поговорить писатель, – сказал ему комиссар.

Шолохова лейтенант узнал сразу, хоть и представлял себе его иным.

А он энергично протянул ему руку и как-то весело посмотрел в глаза.

– Ливинцов?

– Так точно, товарищ полковник!

– Полковник – это верно... Только... – И сразу: – Вас как зовут?

– Михаил Васильевич.

– Садитесь, Михаил Васильевич, поговорим... Я ваш очерк прочел... Хорошо воюете и хорошо пишете. Мысли хорошие, язык у вас свой, рассказываете живо... Пишете давно?

– Кроме как в газету не писал.

– А с этого обычно и начинают...

Незаметно разговор перешел на дела военные. Собеседник заинтересовал писателя, и он стал расспрашивать его о жизни. «Знаменитая станица!» – сказал Шолохов, когда услышал, что Ливинцов родился в Бёрдах.

Спросил о семье. «Четверо детей? Нелегко им без кормильца...»

И снова – о боях.

– Смело ходите, Михаил Васильевич!

– Я спокойно перехожу. Вера всегда такая есть – вернусь.

– Это хорошо, это помогает... А как чувствуете вы себя в тылу врага? Как в пасти зверя?

– Такого чувства, Михаил Александрович, нет. Был вот я на хуторе Вертячем. Так, понимаете, и не думал, что в нем немцы. Наш хутор, советский. И люди в нем советские. А непрошенные гости – ненадолго...

Когда прощались, Шолохов сказал:

– Писать вы можете и, наверное, будете. Но помните: труд писателя – тяжелый труд...

Останемся живы и понадобится вам моя помощь – присылайте свое... Я буду, как всегда, в своих Вешках...

На том и расстались.

Ливинцов вернулся домой в сорок пятом, стал работать по учительской специальности, а затем возобновил и свои селькоровские занятия. Понемногу начал писать рассказы – о войне, о людях, которых узнал, с которыми сроднился.

Помня о фронтовой встрече, первый же свой рассказ он послал Михаилу Александровичу Шолохову.

И получил ответ.

«Уважаемый т. Ливинцов!

Прошу прощения за то, что так непозволительно долго задержал ответ и отсылку рукописи. Так сложились обстоятельства.

О «Высоте 87,4» могу сказать следующее: рассказ требует всесторонней и серьезной доработки. Прежде всего по линии сюжетной. У Вас все предельно упрощено и получается так, что если бы не капитан Гроб, то и высота не была бы взята. Не показано, хотя бы мельком, прямое начальство майора и роль его в проделанной операции, и выходит, что майор только получал приказы и на свой страх и риск топтался около высоты, терял людей, а все дело решил бравый капитан... На одной чашке весов у Вас ко всему безразличное командование дивизии, дурак и тупица командир полка, растяпа комиссар, который почему-то раньше не интересовался данными полковой разведки, а на другой – капитан Гроб. Что и говорить, величины несоразмерные. Но вся беда в том, что такой показ военной действительности очень далек от истины, и действительность эту дает в кривом зеркале. Это, по-моему, основной порок рассказа. Помимо этого в рассказе немало и стилевых погрешностей. Писать Вы можете. Есть у Вас и умение видеть броскую деталь, скупое и метко нарисовать боевой пейзаж, выразительно подать динамическую картину боя. Но всего этого еще мало для того, чтобы стать настоящим писателем. Думаю, что Вы отлично понимаете, сколько надо уложить труда и сил, чтобы овладеть невеселым и тяжким мастерством писателя.

Боюсь, что в Чкалове Вам трудно будет совершенствоваться в литературном мастерстве. Есть ли там порядочная библиотека? И можете ли Вы с кем-либо из местных литераторов советоваться по вопросам Вашей работы?

Над «Высотой» следует Вам еще крепко поработать и по части языка и, главное, по линии сюжета. Только тогда можно будет идти с ним в печать. Иначе не выйдет.

Если остальные Ваши рассказы более сработаны и Вы их еще никуда не посылали, – советую обратиться в «Знамя». Впервые выступать надо так, чтобы в голосе звучали если не басовые нотки мастерства, то хоть теноровые, но уж никак и ни в коем случае нельзя начинать со срывающегося фальцета.

Желаю успеха! И, безусловно, здоровья.

С приветом М. Шолохов

12.11.48 г.»

Да, Михаил Александрович прав: начинать со «срывающегося фальцета» – нельзя.

Ливинцов стал еще требовательнее к каждой своей строчке. Он писал много, кое-что печатал в газетах, один из очерков появился в местном альманахе «Степные огни», но... чувствовал неудовлетворенность.

Только теперь Михаил Васильевич понял, как тяжел литературный труд.

Но он оказался и трудом спасительным, когда нагрянула беда: фронтовая контузия вызвала глухоту, и учительское дело пришлось оставить.

Вот в это время он написал Шолохову снова.

Рассказал, что на время, пока не подлечится, из школы ушел. Рассказал, что по-прежнему пишет, но результатами не удовлетворен. Очерк, который посылает, – не военный; сейчас он осваивает новые темы, пишет о людях, рядом с которыми живет. Хотелось бы узнать мнение – прямое, нелицеприятное.

Шолохов не стал унижать своего фронтового знакомого жалостью.

Его письмо полно уважительной, но бескомпромиссной требовательности.

«Уважаемый т. Ливинцов!

Полагаю, что Ваши школьные дела со временем, как говорил Толстой, «образуются», а потому и не касаюсь этого предмета. Благо, предмет этот отнюдь не нов и в каждой области (в географическом понятии слова) звучит хотя и по-разному, но на один лад.

В отношении очерка могу сказать только одно: написан он ниже Ваших возможностей. Вступление, на мой взгляд, совершенно неоправданно. Зачем Вам понадобилась милая девица Шарипат? Это ружье, которое не стреляет. Смело можно было бы обойтись без нее, тем более, что в дальнейшем она отсутствует. Если Вам понадобилась Шарипат для того, чтобы вести рассказ от первого лица, то эта «облегчительная уловка» выглядит, как некий примитив. Досадное впечатление производят повторы. Слава новое, Вы три или четыре раза упоминаете о рекорде мальчишка Стебнева. Кому только неизвестно, что в наше время, и в старину на скачках неизменно участниками всегда были и есть мальчишки? При чем же тут новое? И Стебнева ли надо восхвалять, а, быть может, «Отрока»? Повторяются и упоминания о судьбе отца. Автор не имеет права повторяться и жевать резинку! Умный читатель запоминает все с одного раза, а на дураков не стоит ориентироваться.

Если Вы предназначаете очерк для печати, – советую серьезно над ним поработать. В таком виде печатать нельзя.

Желаю успеха.

С приветом М. Шолохов

17. XI. 1956 г.»

Такой же бескомпромиссной требовательностью проникнуто и следующее письмо от М.А. Шолохова, полученное тремя годами позднее.

«Уважаемый т. Ливинцов!

Постоянные разъезды и чрезмерное обилие чужих рукописей (около 200), – виной тому, что задержал Ваши очерки столь долго. И по содержанию, и по выполнению они вовсе неравноценны. Общее впечатление у меня такое: надо и перо Вам острить, и «воду» выжимать из очерков безжалостно, тогда дело будет. Рукопись отлежалась, и теперь Вам самому будут более отчетливо видны недоделки в написанном.

Желаю успеха!

С приветом М. Шолохов

15.8.1959 г.»

– Я часто вспоминаю нашу фронттовую встречу, – говорит Ливинцов. И добавляет: – Мне дорога дружба большого советского писателя. И критикой своей, и советами, и личным примером он учит меня работать по-настоящему. Да и только ли меня?

Михаил Васильевич давно уже не посылал ничего в Вешенскую. Но он пишет. Пишет много, упорно. Уже несколько лет работает Ливинцов над очерками по истории своей знаменитой станицы Бёрды. Станицы, связанной с именами Пугачева и Пушкина.

– Через год-два закончу и пошлю Михаилу Александровичу, – говорит он. – На строгий и справедливый суд.

Часть вторая Вешенские были

Владимир Гаранжин Вешенские были

Чернозем

В начале тридцатых годов мне, тогда подростку, попалась небольшая, в розовом переплете, зачитанная буквально до дырок книжка с простым привлекательным названием. На ее обложке – крохотный портрет автора: совсем еще юное лицо, высокий выпуклый лоб, над которым лихо заломлена казачья кубанка...

Я открыл страницу и стал читать: «Мелеховский двор – на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону...»

Книжка была прочитана, как говорится, залпом, не хотелось закрывать ее, стало немного грустно, как при расставании с близкими и милыми тебе людьми.

Так я впервые встретился с Шолоховым-писателем. Спустя несколько лет литкружковцы при газете «Даешь трактор!» Сталинградского тракторного завода на своих литературных занятиях горячо обсуждали новые главы не только «Тихого Дона», но уже и «Поднятой целины». В то время на тракторный – первенец индустриализации страны – приезжало много известных литераторов: Алексей Толстой, Борис Ромашов и другие.

В беседах с начинающими они высоко отозвались о творческом даровании молодого тогда Михаила Шолохова. В декабре 1936 года завод посетил Александр Серафимович. Мы, литкружковцы, – ныне лауреат Государственной премии поэт Михаил Луконин, поэт Николай Отрада (Турочкин), погибший в финскую войну, и автор этих строк, – встретились с Серафимовичем в гостинице. На небольшом круглом столе писателя были разбросаны листки бумаги с какими-то чертежами и рисунками. Убирая их, Александр Серафимович сказал:

– Это наброски моей будущей шхуны. Собираюсь предстоящим летом совершить путешествие по родному Дону, побываю, конечно, и в Вешенской, у Шолохова.

Зная, какое большое воздействие на творческую судьбу Шолохова оказал Серафимович, кто-то из нас спросил:

– Как вы, Александр Серафимович, оцениваете талант Шолохова?

– Шо-ло-хов! – многозначительно произнес писатель. – Это, образно выражаясь, такой чернозем, из которого так и прет, так и лезет...

Позже, присутствуя на занятиях нашего литкружка и знакомясь с рукописями молодых прозаиков, Серафимович прерывал чтение на каком-нибудь месте, говорил:

– А помните, как об этом у Шолохова сказано? – и, закрывая глаза, читал на память целые выдержки из «Тихого Дона» или «Поднятой целины».

Журавли над разливом

Какой бы ни была весна, ее приход на Дону всегда отчетливо приметен. Днем и ночью воркуют, переговариваются, а потом вдруг бешено взревет взыгравшие потоками прибреж-

ные овраги и балки. Сухо шуршат на реке и раскалываются со стеклянным звоном наползающие одна на другую ноздреватые льдины. До позднего вечера у своих гнездовий над чернеющими осинами и тополями гомонят горластые грачи. Весна торопится и в степи. Жмутся, прячутся от солнца по оврагам и лесополосам остатки сугробов, а южный ветерок уже доносит дурманящие запахи первой травы и подснежников, прошлогоднего полынка – то трогательно-нежные, то горьковато-соленые. А потом, когда по-настоящему пригреет солнце и в полную силу войдет весна, Дон переливается полной водой через берег и идет гулять по лугам и займищам, по лесам и рощам, и кажется тогда: нет ни конца ни края разливу.

В один из таких весенних дней 1939 года в базковском Доме культуры состоялось необычно многолюдное собрание. Со всех хуторов и станиц Базковского района съехались и сошлись тогда казаки, чтобы послушать вернувшегося из Москвы с XVIII съезда партии своего посланца, писателя-земляка.

Шолохов поднялся на сцену и, не взоидя на приготовленную для него трибуну, прямо от стола президиума повел понятную для всех, деловую, горячую, то сурово-гневною, то пересыпанную юмором речь. Он говорил о значении третьего пятилетнего плана, принятого съездом, о задачах сельских тружеников, об опасности Второй мировой войны, с негодованием осуждал предательский сговор английского премьер-министра с Гитлером, политику поощрения фашистских агрессоров.

Слушая оратора, мы как бы забывали, что перед нами – писатель. Говорил коммунист-трибун, умный хозяйственник, политический деятель. Был он весь собран, подчинен главной мысли и умел подчинить ей весь зал. А было тогда Шолохову тридцать четыре года. От него так и веяло здоровьем. В просторном неотапливаемом помещении было очень прохладно, и присутствующие не снимали зимней одежды. А он, в защитной гимнастерке, туго подтянутый солдатским ремнем, будто не чувствовал холода. Невысокий, плечистый, коренастый. О таких в народе говорят: ладно скроен, крепко сшит. Крутой лоб, выющиеся короткие рыжеватые волосы, большие веселые глаза, с горбинкой нос, сочные губы придавали широкому открытому лицу добрый и мужественный характер.

Говорил Шолохов долго, но внимание слушателей не ослабевало. После более чем часовой речи он посмотрел на часы, спросил:

– Может, сделаем перекур?

Писателя окружили станичники; кто угощал его папиросой, кто – мохряком-самосадам. Он пробовал, смеялся и предлагал отведать своего табачку. Запалил гнутую цыганскую трубку, протянул ее рослому чернявому парню:

– На, потяни разок!

Тот глубоко затянулся, одобрительно крякнул и передал трубку другому. И пошла шолоховская трубка из рук в руки. Казаки затягивались полным вздохом, причмокивали – добрый табачок!

За перекуром говорили о приближающемся севе, о раннем весеннем громе – к урожаю, о падеже скота, о предательской политике Чемберлена. Вот к Шолохову протиснулся ладный казачок лет тридцати пяти, в новенькой стеганке и полувоенном картузе, и просто, как давнишнему приятелю, протянул широкою, со следами металла и машинных масел, ладонь. Потом так же просто, серьезно и пытливо, как бы продолжая начатый разговор, спросил:

– Ты, Александрыч, в Москве бываешь, к правительству близко. Скажи, как Сталин считает, война будет?

Шолохов сразу посуровел, сдвинул брови над переносицей. Глуховатым голосом ответил:

– Сталин считает, войну можно не допустить.

– А как ты сам думаешь?

Шолохов долго не выпускал изо рта трубку, придерживая ее рукой. Потом выдохнул густо-голубое облачко, сказал:

– Надо к обороне крепко готовиться...

Кто-то из стоящих на балконе крикнул:

– Смотрите, смотрите!

И все обратились в ту сторону, куда он указывал. Там, высоко над спокойно разлившимся Доном, медленно двигался треугольник журавлей. На какие-то секунды стало тихо, и слух уловил далекое курлыканье птиц.

– Хорошо, когда в синем небе журавли... – почти шепотом произнес Шолохов.

Письмо

В то время я работал в местной базковской газете «Донской коммунар» и по заданию редакции должен был писать подробный отчет о встрече. Я унес с собрания объемистый, исписанный от корки до корки блокнот и яркие неизгладимые впечатления о человеке огромного природного дара и душевной простоты.

К утру следующего дня отчет о собрании с изложением речи Шолохова был готов к печати. Я связался по телефону с Вешенской, и меня соединили с квартирой писателя.

– Слушаю. Шолохов, – отозвался в трубке знакомый голос.

Я представился и спросил:

– Не можете ли вы, Михаил Александрович, познакомиться с текстом вашей речи перед сдачей ее в набор?

– Пожалуйста, – ответил писатель. – Только как вы доберетесь до Вешек? Разлив-то какой!

– На лодке в обход по луке, – сказал я.

– А не боитесь утонуть?

– Что вы, Михаил Александрович, ведь я на Волге вырос.

С трепетным волнением открыл я калитку и вошел в уютный двор, обнесенный голубым забором и залитый весенним солнцем, где, словно игрушечный, стоял деревянный домик с мезонином. У порога меня встретила невысокая, с добрыми глазами, старушка – мать писателя. Она провела в гостиную, сказала:

– Подождите, я сейчас его найду: он или у себя, на «голубятнике», или на базу, – и тут же стала звать: – Миша!

Пока старушка искала во дворе сына, я успел рассмотреть гостиную. Это длинная, хорошо освещенная с двух сторон комната, в центре – стол, накрытый скатертью, графин с водой на подносе, у стен – стулья, на стене – маленькая полочка со стопкой книжек. Из гостиной лестница ведет наверх, на «голубятник», где находился рабочий кабинет писателя.

Я услышал шаги хозяина в коридоре и поднялся навстречу. Михаил Александрович вошел в гостиную, протянул руку, и я ощутил крепкую и широкую его ладонь, которая хорошо знала не только перо, но и топор.

Записанная в изложении речь была большой, на газетную полосу, и Шолохов читал ее долго и внимательно, оставляя на полях листков свои пометки. Пока он читал, много раз звонили по телефону, потом пришла почтальонша и высыпала на стол из большой кожаной сумки гору писем, пакетов, бандеролей, газет, журналов.

Получив подписанный Шолоховым текст речи, я попросил писателя познакомиться с материалами подготовленной к печати литературной страницы. Он охотно согласился, но, увидев в папке одни стихи, замахал руками.

– Я в стихах некомпетентный, будет проза – пожалуйста.

Пользуясь случаем, я напомнил о своем рассказе, который переслал ему недели две назад почтой на консультацию.

– Помню, помню такой рассказ, только вот прочесть не успел. – Шолохов указал на гору писем и бандеролей на столе. – Видите? И так каждый день. Но на днях я обязательно прочту ваш рассказ. Давайте денька через три созвонимся и встретимся.

На Верхнем Дону в ту пору начался весенний сев. Я уехал в колхозы, и мне не удалось в условленный срок встретиться с писателем. Но через неделю из Вешенской пришло письмо – рецензия на мой небольшой рассказ. Назывался он «Молодая старость». Содержание его вкратце таково. В районе проходит традиционный спортивный праздник казаков-конников. Старый казак с белой пушистой бородой втайне надеется «утереть нос молодым». Но во время скачек старость его подводит.

Передавая этот рассказ на суд большого писателя, я жаждал услышать его слово, получить совет. И мое желание сбылось. Вот что написал Шолохов:

«...«Молодая старость» – по сути – не рассказ. Скорее это очерк, по характеру своему близкий к обычному типу газетных очерков... Согласитесь, что для старика недостаточно повторяющегося упоминания о «белой пушистой бороде», точно так же недостаточно для описания его переживаний вычурной и надуманной фразы: «Неужели я уже в плену дряхлой и т. д.?». Все это говорит о бедности Ваших изобразительных средств, о неумении нарисовать внешний и внутренний облик человека, о примитивизме, у которого Вы (выражаясь Вашим стилем) находитесь в плену.

В рассказе-очерке почти целиком отсутствует диалог. Это омертвляет рассказ, лишает его живого звучания слова. Неблагополучно у Вас и с языком; не очень-то Вы скупитесь, и там, где можно двумя фразами показать движение или позу человека, – Вы тратите на изображение десять фраз.

Все это – обычные недостатки всех начинающих, и самым верным способом избавиться от них является внимательная и вдумчивая учеба на лучших образцах – произведениях прежних и нынешних рассказчиков. В «Новом мире» за этот год найдете рассказы Диковского. Присмотритесь, как он строит сюжет и дает описание. Обратите внимание на разговорную речь его героев. Надо бы Вам почитать кое-кого из западных писателей, например Хемингуэя, О.Генри. Все они – превосходные мастера рассказа, и очень невредно поучиться у них.

26.5.39

М. Шолохов».

Самый щукаристый

В мае 1940 года общественность Вешенского района отмечала 35-летие со дня рождения М.А. Шолохова. В просторном зале казачьего драматического театра имени Комсомола, что красовался на крутом берегу у самого Дона (в войну сожжен фашистами), собрались сотни казаков и казачек.

Я тоже пришел поздравить юбиляра от общественности соседнего, Базковского, района, где в хуторе Кружилинском родился писатель. Мы с приятелем стояли в сторонке и ожидали звонка, когда рядом услышали шумные голоса каких-то парней.

– А ты знаешь, кто я, кто я такой? – серьезно доказывал заметно подвыпивший черноусый и смуглолицый молодой казачок. – Не знаешь? Спроси у Михаила Александрыча. Мелехов я, Мишатка Мелехов! У меня и сестренка Полюшка была...

Приятель шепнул мне:

– Это тракторист наш, базковский. Он серьезно считает себя сыном шолоховского Мелехова – здорово жизнь схожа.

Прозвенел второй звонок, и толпа у театра поредела, куда-то внезапно, как и появился, исчез черноусый казачок.

– Пойдем, – сказал мне приятель, – ты тут еще и самого Щукаря увидишь.

И через несколько минут я увидел его. Он сидел за столом президиума – невысокий, щупленький, с редкой седой бородкой, с быстрыми игривыми глазками, в синей рубашке-косоворотке, спускающейся почти до колен из-под черного пиджака. Когда председательствующий объявил: «Слово для приветствия предоставляется старейшему колхознику хутора Волоховского Тимофею Ивановичу Воробьеву», по залу прокатился веселый шепоток: «Щукарь, дед Щукарь...»

Старик вышел из-за стола, стал рядом с трибуной и, подбоченясь одной рукой, такую держал речь:

– Нашему Михаилу Александрычу нынче стукнуло тридцать пять годков, с чем мы его и поздравляем. Я его поздравляю особо, потому что он хотя почти вдвое и моложе меня, а вроде как крестным отцом доводится. Меня теперь в районе все кличут Щукарем, а я ить сроду им не был. Все это Михаил Александрыч... Прочли наши волоховские казаки его книгу «Поднятую целину» и в один голос: «Ты, Тимофей Иваныч, чисто вылитый Щукарь, кубыть с тебя Шолохов списывал». С тех пор «Щукарь» так и прилип ко мне. Даже моя старушка при удобстве кличет меня Щукарем. Признаться, донимаю я ее своей веселостью да шутейным словом...

В перерыве после торжественной части один из столичных гостей спросил у Шолохова:

– Что, этот старик Воробьев – настоящий Щукарь?

Шолохов засмеялся:

– Может, и не совсем настоящий, но самый щукаристый у нас в районе.

«...Публицистом быть обязан»

В послевоенные годы мне довелось пять лет работать в редакции вешенской газеты «Большевицкий Дон», переименованной затем в «Донскую правду». Помещение редакции находилось через дорогу против дома Шолохова, а домик, в котором я жил, примыкал к его усадьбе. Проснешься, бывало, поздней ночью – и видишь, как в темном окне второго этажа долго краснеет жарок папиросы. Не спит писатель. О чем он думает, глядя из окна на давно уснувшую станицу, на темнеющий на том берегу лес, где, круто изгибаясь и отражая звездное небо, сонно течет тихий Дон?

Зимой и летом, осенью и весной, в солнечный день и непогоду идут и едут, плывут и летят к этому дому люди: литераторы, рабочие, колхозники, ученые, пионеры, зарубежные гости, просто туристы. Особенно частыми гостями бывают журналисты и начинающие литераторы. В летние месяцы они наводняют станицу. Среди начинающих немало одержимых и просто графоманов. От них, наверно, и пошел слухок, что Шолохов недолюбливает всякого рода писак, журналистов, избегает встречи с ними. Зашел как-то к нам в редакцию только что приехавший на Верхний Дон из Ростова собкор областной газеты и спрашивает:

– Правда, что Шолохов не балует нашего брата приемами?

– И правда и нет.

– Это как же понимать?

– А вот поживете в Вешках – поймете.

Корреспондент тут же снял телефонную трубку и попросил квартиру писателя. Отозвался сам Шолохов. Корреспондент представился и спросил:

– Можно, Михаил Александрович, зайти к вам на беседу?

– А вы когда к нам прибыли? – спросил писатель.

– Вчера.

– Тогда условимся так: побывайте в наших северных районах, познакомьтесь с жизнью колхозов и совхозов, а потом и встретимся – беседа получится интересной и полезной.

Только месяца через три после этого журналист снова попросил встречи у Шолохова, и писатель принял его, долго беседовал, шутил, угощал папиросами какой-то новой марки, взялся прочитать очерк журналиста и обещал дать ему для газеты новую главу из «Поднятой целины».

Другой журналист, из киевской «Радянської Украшны», прямо с аэродрома пошел в райком партии и попросил первого секретаря посодействовать встретиться с Шолоховым. Тот созвонился с писателем, объяснил, в чем дело, и потом они долго чему-то смеялись. На другой день, беседуя за завтраком с украинским журналистом, Михаил Александрович сказал:

– То, что вы зашли с дороги прямо в районный комитет партии – хорошо, но зачем вам понадобилось организовывать встречу через секретаря райкома?

– Меня еще по дороге напугали, что с вами почти невозможно встретиться.

Теперь посмеялись и журналист и писатель. Беседа затянулась. Журналист спросил, сколько потребуется автору времени для завершения «Поднятой целины» и работы над новым романом «Они сражались за Родину».

– В творчестве, как в виноделии, требуется процесс брожения, – сказал Михаил Александрович. – Прежде чем образ или мысль вызревают, они должны перебродить.

Гость попросил дать для газеты какой-нибудь черновик рукописи.

– Черновики не храню ни для себя, ни для истории, – ответил Шолохов.

На вопрос об отношении Шолохова к публицистике писатель ответил перефразированным некрасовским изречением:

– Поэтом можешь ты не быть, но публицистом быть обязан.

Об этой своей обязанности Шолохов никогда не забывает. Над публицистическими материалами он работает с такой же требовательностью, как и над художественными произведениями. Помню, в мае 1949 года Михаил Александрович много дней подряд не выходил из своего рабочего кабинета и никого из посетителей не принимал. В станице знали, что писатель работает для «Правды». Так готовилась его известная статья «Свет и мрак».

Шолохов – хороший советчик журналистов, он с уважением относится к их нелегкому труду. Весной 1950 года в вешенском Доме культуры проходило предпосевное совещание передовиков сельского хозяйства района, на котором он выступил с речью. Я записал, как мог, его речь и подготовил текст к печати. Перед сдачей в набор попросил Михаила Александровича познакомиться с выступлением. Через некоторое время в редакции зазвонил телефон.

– Вам когда сдавать материал в набор? – спросил Шолохов.

– Сейчас, немедленно.

– Видите ли, – сказал писатель, – ко мне прибыла тут одна делегация, но если надо срочно, я попрошу ее подождать.

Через полчаса Шолохов прислал исправленный, дополненный и заново переписанный от руки текст речи, который до сих пор хранится у меня. Эта речь вошла в восьмой том Собрания сочинений писателя.

В начале пятидесятых годов наша редакция переписывалась с молодым вешенским казаком, фотокорреспондентом газеты советских войск в Германии. Земляк прислал нам как-то из Берлина несколько номеров своей газеты, в одном из которых была напечатана корреспонденция о творческих замыслах Шолохова. Сообщалось, что писатель одновременно с «Поднятой целиной» работает над трехтомной эпопеей «Они сражались за Родину», которая по объему своему превзойдет «Тихий Дон». Говорилось в корреспонденции и о содержании будущей эпопеи. В первом томе будет якобы отражено начало Великой Отечественной войны и вынужденное отступление наших войск, во втором – сражение на Волге, в третьем – наступление Советской Армии и разгром фашистов в логове гитлеровской Германии – Берлине.

Мы решили перепечатать корреспонденцию в своей газете, но прежде чем сдать ее в набор, информировали об этом по телефону Шолохова.

– Любопытно, любопытно, – сказал писатель и попросил принести ему газету.

Прочитал он корреспонденцию и, улыбаясь, покачал головой.

– Вот уж эти вездесущие корреспонденты, – сказал он. – Доля правды тут, конечно, есть. Дело было так. Встретился я недавно в Москве со своим старым фронтовым знакомым, генералом, который служит в Германии, разговорились по душам, ну, я кое-что и поведал ему о своих творческих замыслах, а у него уже это и выудил журналист...

Серая овчарка

Шолохов умеет не только много и плодотворно работать, но и хорошо организовать свой отдых. Охота и рыбалка – вот его страсть. Писатель может сутками бродить с ружьем по заснеженным полям или камышам, часами просиживать с удочками в укромном местечке на берегу Дона или Хопра. Во время охоты он строго собран, сосредоточен, но стоит разрядить ружье, как он сразу весь преображается: в глазах загорается озорная улыбка, а шутки, юмор льются, как из рога изобилия.

Как-то рыбачили на Хопре. Михаил Александрович с вечера облюбовал себе место на берегу и, отправляясь с удочками на утреннюю зорю, предупредил, чтобы к нему никто не подходил и не мешал. Солнце было высоко, все уже сошлись у палатки с рыбацкими трофеями, когда из кустов на поляну вышел Шолохов. На тонкой красной лозине он нес несколько больших сомят. Притопывая то одной, то другой ногой и потрясая связкой рыб, озорно пел:

И лес трещит,
И комар пищит,
И Михайло Александрыч
Трех сомов тащит.

И до чего хороша сваренная на костре уха!

Старший сын Шолохова, Александр, учился вместе со своей женой в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Приехал впервые с женой к родителям в Вешейскую. Писатель решил угостить их свежей донской рыбой. С рыбаками затянул невод. Улов оказался богатым.

– Ой, сколько рыбы! – восхитилась уловом невестка. – И куда мы ее денем?

– А вот наденешь беленький фартучек, – сказал Михаил Александрович, – и – на базар... У казаков такой обычай: снохи на базаре торгуют.

– Я торговать не умею, – всерьез испугалась та.

Михаил Александрович засмеялся.

– Ну, если не умеешь – раздавай бесплатно.

И тут же почти весь улов был роздан соседям.

Шолохов по-сыновьи любит свой край, природу, дорожит ее богатствами, непримирим ко всякого рода браконьерам. Как-то его младший сынишка с товарищами при свете автомобильных фар подстрелили на озимке зайца и привезли домой. Разгневанный писатель отобрал у юных охотников ружья и долго стыдил их за недостойные приемы охоты.

Был и такой случай. Михаил Александрович выстрелил в стаю бегущих по проселочной дороге куропаток. Одна из рванувшихся в воздух птиц ударилась о телефонные провода и упала. Писатель поднял ее. Она была жива, широко раскрытым клювиком жадно хватала воздух. Шолохов зачерпнул ладонью из придорожной лужицы воду и поднес к клювику птицы. После двух-трех глотков у куропатки блеснули черные глазки-бусинки, пружиня шейку, она, пытаясь освободиться, завертела маленькой, словно выточенной головкой. Михаил Александрович подбросил птицу в воздух, и куропатка, фыркнув крыльями, скрылась в рослых, невыкошенных у подлесков травах.

Писатель любит собак. Они – верные его спутники на охоте, прогулке. В короткие часы отдыха он не забывает приласкать своих четвероногих друзей – гончарок и утятниц. Они свободно разгуливают по двору, приветливо бросаясь навстречу каждому, заходят в дом, приманиваются у ног писателя в его рабочем кабинете. Но как-то один из приезжих гостей подарил Шолохову большую серую овчарку. Писатель принял ее без особого восторга, и потом никто не видел его рядом с этой собакой.

Однажды сынишка Миша с ребятами готовил в охотничьей комнате рыболовецкие снасти. Присутствовал и сам писатель. Вдруг дверь открылась – и в комнату вошла овчарка. Михаил Александрович метнул на нее сердитый взгляд.

– А ну, ребята, – сказал он, хмурясь, – прогоните ее во двор, и чтоб она не заходила в дом.

Ребята выпроводили овчарку и стали допытываться у Михаила Александровича, почему он недолюбливает эту собаку. Шолохов показал на своей руке неровный, с гладкой белесой кожей шрам. И вот что узнали ребята. Было это в Великую Отечественную войну. Советские войска вели жаркие бои в Германии, с боем ворвались они в один из немецких городов, где был лагерь для военнопленных. Вместе с солдатами Шолохов проник на территорию лагеря, обнесенного колючей проволокой.

Когда распахнули двери одного из помещений, оттуда выскочила свора свирепых немецких овчарок и набросилась на наших солдат. Тогда-то и остался след зубов на руке Шолохова.

На полевом стане

Прошел обильный весенний дождь, и все работы на полях остановились. В тепло натопленном вагончике трактористов Дударевской МТС остались только старик сторож и паренек-прицепщик. Примостившись на нарах у печурки, прицепщик увлеченно читал вслух томик «Поднятой целины», когда в вагончик зашел уже немолодой мужчина с пышными рыжеватыми усами, в стеганке, рабочих сапогах и шапке-ушанке. Он спросил бригадира. Паренек, приняв незнакомого за нового тракториста, которого ожидали из МТС, сказал:

– Бригадир должен скоро приехать. Ты раздевайся, дядя, у нас тепло, и послушай, что я читаю. Вот здорово написано.

Незнакомец посмотрел на книгу, потом на паренька, спросил:

– А что тебе больше в книжке нравится?

– Все! Особенно про деда Щукаря и колхозного председателя Давыдова. Ты послушай... – И прицепщик с прежним увлечением продолжал читать вслух «Поднятую целину».

Но незнакомец куда-то торопился, он распрощался и вышел из вагончика. А часа через два на полевой стан приехал бригадир.

– Шолохов был тут? – спросил он.

– Какой Шолохов? – недоумевали прицепщик и сторож.

– Какой! – передразнил бригадир паренька. – Один он у нас, Михаил Александрович. Невысокий такой, в стеганке.

– Да ты что! – скорее испугался, чем удивился прицепщик. – А я, дурак, ему его же книжку читал...

О чем шепчет старый дуб...

Неподалеку от Вешенской за сосновым урочищем Зыбучий Бугор на поляне стоит дуб-великан. Основание его кряжистое, в несколько обхватов, а густолиственная, широкая, как купол цирка, крона нависла тяжелой тучей и затенила всю поляну, оберегая от горячего солнца крохотный быстрый ручеек, окаймленный нежной зеленью.

Кажется, под своей тяжестью дуб наполовину ушел в землю, но все равно, ширококрылый, он птицей парит над вершинами других деревьев.

Никто точно не знает, сколько дубу лет. Правда, в конторе Вешенского лесхоза есть фотография этого великана, сделанная в 1951 году, с короткой подписью: «Дуб. 370 лет». Но в народе о возрасте дуба говорят разное. Одни утверждают, что ему полтысячи лет, другие – еще больше: восемьсот.

Днем и ночью, в любую погоду, даже когда соседняя береза не шелохнет листком, дуб шумит в вышине своей кроной, что-то задумчиво шепчет...

Как-то в летнюю пору остался я ночевать в хуторе Черновском, у своего знакомого мельника. Хутор весь в зелени садов и левад, на несколько километров растянулся вдоль мелководной речушки Черновки. На самом конце его в бурных зарослях садов и дикого хмеля спрятался маленький став с такой же маленькой бревенчатой мельницей и белостенным домиком у самой воды. Мы сидели с мельником на старой, поваленной буреломом вербе, беседовали о житье-бытье, когда к нам подошел тонкий, сухой старичок в потертой фуражке с вылинявшим алым околышем, из-под которой торчали белые пушинки волос. Чисто выбритое лицо – в крупных складках, как печеный в костре картофель. На плече он держал суковатую палку с подвешенными на конце запыленными ботинками. Поприветствовав нас низким поклоном, старик присел рядом на конец бревна.

– Откуда это ты, Романыч? – спросил мельник.

– Из Вешек, – ответил старик, вытаскивая из кармана черный, до блеска затертый кисет.

– Али от Шолохова? – то ли всерьез, то ли в шутку опять спросил мельник.

– От него самого.

– Какая нужда носила?

Из дверей мельницы высунулась чья-то припорошенная мукой голова, и мельник, оставив нас, заковылял к мельнице. Романыч осмотрел меня с ног до головы, сказал:

– Нужда не нужда, а у каждого человека свое горе случается, свои думки наплывают. В сорок первом в один день похоронные получил на своих сынков, Николку и Федяшку. Однополчане сказывают, в танке сгорели. В том же году взяли мы с бабкой парнишку-сироту,

вырастили, в армии отслужил, женили, а тут опять горе на наш дом навалилось. Умерла старуха, а вслед за ней – Серега, приемный сынок, преставился. Остался я один со снохой.

– Что, обижает? – спросил я.

– Нет. И зятя принял, тоже ласковый. И пенсией меня не обидели, а горю этим не поможешь. Сижу на бахче (сторожем я в колхозе), по грачам из ружья пуляю, веники сибирьковые вяжу, а думки все о своей жизни...

Старик покосился на меня и тихо, почти шепотом сказал:

– Он, Лександрыч, против каждого людского горя слово имеет.

– Что же это за слово?

Романыч опять испытующе посмотрел на меня, и я заметил, как в его глазах искоркой блеснула первая вечерняя звезда.

– Оно волшебное, – таинственно и многозначительно произнес старик и придвинулся ко мне вплотную. – Дуб-то, он, паря, абы кому не подарит это слово. Ты видел его, дуб-то, что у Зыбучего Бугра? Эге, паря, это не простой дуб. Он бессмертный. Ему столько веков, сколько воды унес в море тихий Дон. Он все слышит, все чувствует, где что делается, – корни его по всей земле расплелись. Он и видит все – голова его под самыми облаками. Много добра и зла видал за свою жизнь, много мудрости набрался, потому и стал бессмертным.

Расскажу тебе о дубе том сказку-быль, а ты – хочешь верь, хочешь не верь, дело твое.

Давно это, паря, было. Гуляли в ту пору по Дону банды беляков, житья от них трудовому люду не было. Не нравилась им молодая Советская власть, задушить ее хотели. Собрался тогда из трудового люда отряд и – навстречу банде. Сошлись на Зыбучем Бугре, шашки скрестили... Да так, что остался от отряда того один-одинешенек молодой боец, парнишка лет пятнадцати. Чудом, стало быть, уцелел. Пошел он к дубу, сел под ним и обхватил голову руками. Слышит, дуб что-то шепчет, спрашивает: «Что ты приуныл, паря, какие у тебя думки в голове?» Парнишка отвечает: «Командира моего зарубили бандиты, весь наш отряд уничтожили. Как теперь я помогу Советской власти, своему бедному люду?» И тогда еще ниже склонился дуб своими ветками к парнишке, зашептал: «Вижу, паря, мать дала тебе хорошее, доброе сердце, а я тебе дам волшебное слово. Бери его и неси людям. Для врага оно будет страшной острой шашки и длинной пики, для друзей – студеным ручьем, игристым донским вином, что бодрит сердце и утоляет жажду...»

С тех пор парнишка и стал приходиться к дубу тому. Я сам видал его там однажды. Иду по тропинке, слышу: шепчет, шепчет дуб, а под ним – он... Не стал я мешать, прошел стороной. Он и теперь приходит. Только уже совсем белый стал, как я. А дуб все шепчет и шепчет...

* * *

Далеко не у каждого литератора бывает такая завидная писательская судьба, как у Шолохова. При его жизни народ слагает о нем легенды, поэты посвящают ему стихи.

...Коль пойдешь ты ночью к Дону синему —
Звезды в нем, купался, дрожат,
Меловые горы, точно в инее,
Важное течение сторожат.
Слушая наполненную шорохом
Эту ночь и говор казаков,
Ты невольно скажешь: «Это Шолохов!
Вот его дыханье жарких слов!»

Да, жаркое дыхание шолоховских слов обогревает сердца миллионов людей, делает их нежнее и мужественнее, обогащает нашу русскую, советскую культуру.

Леонид Кудреватых Драгоценный узелок

Мне не раз говорили японские друзья-литераторы:

– Познакомься с Абэ-сан. Она лично знает Шолохова, переписывается с ним. Она много делала и делает для пропаганды его замечательного творчества в Японии.

Среди японской интеллигенции много друзей – поклонников и пламенных пропагандистов русской, советской литературы. Руководитель отделения русской литературы Токийского университета «Васэда» профессор Тацуо Курода недавно закончил многолетний труд – перевод «Клима Самгина» М. Горького. Он говорил со мной о том, как окрыляет человека вдохновенное творчество этого великого писателя. Каици Охара, еще совсем молодой человек, подарил мне книгу на японском языке – его перевод поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

– Недавно я прочитал «Василия Теркина» А. Твардовского, – говорил мне Охара. – Влюбился в поэму, в творчество этого замечательного поэта.

Накануне нашего отъезда из Японии семья Хидзиката, известных прогрессивных деятелей Японии, подарила нам полное собрание сочинений А. Макаренко, изданное на японском языке.

Беседовал я с десятками людей, подлинных друзей нашей литературы. Но с Абэ-сан долго не удавалось увидеться. Я написал ей открытку с просьбой повидаться и рассказать мне о встречах с М.А. Шолоховым. Она немедленно ответила телефонным звонком, а на следующий день приехала в «Гранд-отель», где мы жили в Токио. Небольшого роста, в черном платье, с располагающей улыбкой на лице, она поздоровалась и села на диван, положив рядом с собой узелок из цветастого японского платка.

– Как себя чувствует Михаил Александрович? – спросила она.

– По-моему, хорошо. Недавно он вернулся из поездки по Скандинавским странам. А вы давно знакомы с Шолоховым?

– Если двадцать два года считать большим сроком, то, значит, давно. Уже более двадцати лет мы не виделись. Ни с ним, ни с его семьей.

– И с семьей его знакомы?

– Мы не только знакомы, а, можно сказать, дружили.

Абэ-сан развязала узелок и достала номер японского литературно-художественного и общественно-политического журнала «Кайдзо» за 1935 год с уже пожелтевшими от времени листами. Она открыла страницы, на которых был напечатан ее очерк с фотографиями о посещении М.А. Шолохова в станице Вешенской. Появление этого очерка она объяснила так:

– Уже в то время в Японии высоко ценили творчество Шолохова. Читатели восторженно встречали переводы его книг. Самые различные люди интересовались всеми деталями творчества и жизни писателя. Я тогда работала в Москве, в японском посольстве, стенографисткой. Мой знакомый, редактор токийского журнала «Кайдзо» Ямамото-сан, письмом попросил меня побывать у Шолохова и взять у него интервью. Михаил Александрович в то время находился у себя дома, в станице Вешенской. Я послала ему открытку, изложив просьбу журнала. Вы поймете, какова была моя радость, когда я получила ответ, а в нем приглашение приехать в Вешенскую. Это была осень тысяча девятьсот тридцать пятого года. Я немедленно поехала на родину Шолохова. Встретили меня с радушием и подкупающей простотой. С первого же часа я стала как бы своим человеком в семье. Михаил Александрович спросил меня:

– Абэ-сан, как вас звать по имени?

– Иосие.

– А по отчеству?

– У нас не зовут по отчеству.

– А по русскому обычаю величают и по имени и по отчеству. Значит, Иосидзовна?

Так и стали звать меня в доме Шолохова Иосие Иосидзовна.

Я была в Вешенской, не помню, двое или трое суток. А когда настал час расставания, попросила Михаила Александровича, по нашей японской традиции, написать что-нибудь на память для меня. Для этого у меня уже был заготовлен специальный картон с золотым ободком и с золотой россыпью на лицевой стороне. На этой картонке Шолохов и написал памятные для меня слова.

Иосие Абэ-сан снова склоняется над узелком и подает мне эту бережно хранимую картонку. Я читаю:

«Как степной житель, я буду рад, если И. Абэ изредка будет вспоминать нашу поездку на охоту, целинную степь и чудесных белых стрепетов на фоне голубого сентябрьского неба.

М. Шолохов

23-IX. 35 г. Вешенская».

Моя собеседница прячет в узелок эту дорогую для нее картонку и подает мне другую:

«Абэ-сан.

Так начинается «Поднятая целина»: «В конце января, овечьи первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады...»

Вероятно, так же, как и в Вашей, милой Вашему сердцу Японии.

М. Шолохов

2. VI.36 г.»

Потом Абэ-сан показывает мне третью картонку, с автографом Шолохова из «Тихого Дона».

– Выходит, вы часто ездили в Вешенскую? – спрашиваю я.

– Нет, к сожалению, всего один раз. Но почти каждый приезд Шолохова в Москву для меня был праздником. Он обязательно звонил мне, и я, забыв все, бежала к ним. Мы гуляли по улицам Москвы вместе со всей семьей Шолохова. Каждая новая встреча с Шолоховым вдохновляла меня на новый очерк для японского журнала. Автографы Шолохова, что я вам показывала, сейчас широко известны японскому читателю: они публиковались много раз.

Абэ-сан достает из своего бездонного узелка книгу – недавнее переиздание «Поднятой целины». Книга открывается портретом М.А. Шолохова, а под ним его автограф: памятный дар Абэ-сан.

– В тысяча девятьсот тридцать седьмом году я вернулась в Японию, – продолжает Абэ-сан. – И с той поры не встречалась ни с Михаилом Александровичем, ни с его семьей. Но скоро, очевидно, увидимся.

– Вы собираетесь в Москву?

– Нет. Михаил Александрович собирается к нам, в Японию. – И Абэ-сан опять склоняется над узелком, извлекает оттуда конверт, а из конверта письмо:

«Дорогая Иосие Иосидзовна!

Как видите, я не забыл по-русски звучащего Вашего отчества.

Благодарю Вас за память обо мне и прошу извинить меня за долгое промедление с ответом. Жизнь под старость так быстро идет, что не все успеваешь осуществить, сделать.

Я очень рад, что Вы живы и здоровы и преуспеваете в области любимого Вами искусства. Все мы в Вешенской по-прежнему помним Вас и очень тепло вспоминаем. Даже не верится, что мы виделись двадцать лет назад, и оттого, что жизнь так стремительно летит, становится грустно.

Наш Саша давно уже закончил Тимирязевскую академию, женился, работает агрономом в Крыму. У него уже есть дочь 8 лет. Светлана, когда-то маленькая, тоже давно замужем, мать 12-летнего мальчика, преподавала в Таллине, в университете, а сейчас недалеко от Вас, на Камчатке. Ее муж – молодой капитан корабля.

Я уже дважды дедушка, и мне пора не только носить усы, но и отращивать бороду. Миша и Маша учатся в Москве в университете, и дома мы вдвоем с Марией Петровной.

К сожалению, я не видел кинокартины «Арфа в Бирме», но не теряю надежды ее увидеть; в будущем году думаю побывать в Японии и тогда надеюсь познакомиться с Вашей любезной помощью и с Вашей страной и с японским искусством.

Я и Мария Петровна шлем Вам сердечный привет и от всей души желаем здоровья и счастья.

С уважением *М. Шолохов*

Ст. Вешенская, 12 мая 1957 г.

Пластинки и письма, переданные г-ном Сонобе в ВОКС, я не получил.
М. Ш.»

– Кинокартина «Арфа в Бирме», – поясняет Абэ-сан, – имела у нас большой успех. Я арфистка, игре на арфе училась в годы пребывания в Москве. У меня там много добрых учителей. Значительная часть картины «Арфа в Бирме» идет под сопровождение арфы. Играю я. Вот почему в письме и упоминается эта кинокартина. Мы все рады возможному приезду Михаила Александровича в Японию. Его у нас знают и любят. Его произведения переиздаются многими издательствами, и достать их в магазинах невозможно: быстро раскупаются.

Иосие Абэ-сан уложила последнее письмо Шолохова в конверт, спрятала конверт в узелок. Но оттуда она извлекла еще одну фотографию – Абэ-сан в семье Шолохова двадцать один год назад. Я попросил разрешения переснять эту фотографию и опубликовать ее. Абэ-сан категорически возражает:

– Это моя личная реликвия. И пока я жива, она останется только при мне.

– А можно получить вашу фотографию? – настаиваю я.

– С собой у меня нет такой фотографии. Но дома есть. Недавно я фотографировалась в большом донском платке, подаренном мне в свое время Михаилом Александровичем.

– Если встретите Михаила Александровича, – говорит на прощание Абэ-сан, – передайте ему мой привет и привет от всех его читателей в Японии.

Абэ-сан медленно идет к двери. Моя переводчица, провожая ее взглядом, говорит:

– Какой хороший человек Абэ-сан и какой у нее в руках драгоценный узелок!

И. Араличев¹ В гостях у Михаила Шолохова

Семь лет не был я в Вешенской, семь лет не видел Дона... Уже в Миллерове, где всякий направляющийся к Михаилу Шолохову должен пересест с поезда на самолет, видишь меты войны: взорванную мельницу, сожженные дома, глядящие на мир слепыми глазницами окон. Но жизнь торжествует здесь. Деловитый гудок восстановленного маслозавода, скопиде машин у элеватора, людный базар, переполненный всякой снедью – итоги урожайного года, – ощущаешь на каждом шагу.

На аэродроме я узнаю, что повезет меня в Вешки (так называют на Дону станицу Вешенскую) Владимир Добриков, тот самый летчик, с которым мы летали к Шолохову до войны.

Добрикова в дни войны изрядно помяло. Где-то под Череповцом был он сбит нападшими на него «хейнкелями», потерял машину. После войны ему с большим трудом удалось добиться возвращения на «шолоховскую» воздушную линию. Самолет у него теперь лучше, чем до войны: пассажир сидит в лимузине, тогда как раньше был обдуваем ветром. Добриков жестом руки указывает вниз, на что-нибудь примечательное: окопы, траншеи, лишённые крыш строения. А когда показывается знакомая излучина Дона, летчик обращает внимание пассажира на песчаный берег реки, что напротив Вешенской: до сих пор тут чернеют полузасыпанные песком скелеты сгоревших автомашин. В тяжелые дни лета 1942 года здесь, на единственной переправе, скопились тысячи машин отходившей армии... Здесь, у станицы Вешенской, фронт остановился. Родная станица Михаила Шолохова на целых полгода стала передним краем нашей обороны. Старинный собор, описанный в «Тихом Доне», высится с огромной пробоиной в южной стене; черная плешь видна там, где стоял театр казачьей молодежи, построенный и открытый когда-то при содействии Шолохова.

Добриков снижает машину и, согласно обычаю, делает круговой вираж над зеленым шолоховским домиком. Этот круг над усадьбой писателя заменяет звонок у парадной двери. Однако во дворе Шолохова пустынно и, главное, не видно ни одной собаки – верный признак того, что Шолохов уехал на охоту и не явился на аэродром на своем «виллисе». Придется идти пешком, а аэродром находится далеко от станицы. Когда-то Добриков садился почти у станицы – у тына какого-нибудь казачьего база, но сейчас, когда окрестности станицы хранят еще следы окопов и блиндажей, аэродром пришлось перенести подальше.

Вот, наконец, станица. Большое, красивое здание педагогического училища высится на краю Вешенской среди казачьих базов. Сотни будущих учителей и учительниц учатся здесь в близком общении со своим знаменитым земляком. Почти на каждом перекрестке станицы видны колонки, чугунные крышки водопроводных колодцев.

В райкоме партии, где я провожу время в ожидании возвращения с охоты Шолохова и его жены, мне рассказывают, что Вешенская, как и вся страна, занята горячей восстановительной работой.

– Михаил Александрович, – говорит секретарь райкома партии товарищ Агеев, – помог составить новую пятилетку района. К концу 1950 года в каждом колхозе будет не менее пяти животноводческих ферм (конеvodческая, крупного рогатого скота, птицеводческая, овцеферма, свиноферма). Девять племенных ферм организуем в районе. Недавно мы заслушали на заседании бюро райкома партии доклад звеньевой колхоза имени Шолохова Ксении Лемеховой. На протяжении многих лет Михаил Александрович наблюдает за работой колхоза и принимает в ней участие. И его, как и всех нас, очень порадовали успехи звеньевой: Ксения Лемехова собрала на наших песках по сто шестнадцать пудов ржи с гектара...

Вешенцы делают все, чтобы их станица была достойна своего знаменитого земляка. Улицу имени М.А. Шолохова решено в этой пятилетке замостить и асфальтировать. Берег Дона будет озеленен; расширяется станичный парк, разбитый на описанном в «Тихом Доне» майдане. Строится образцовая сельская больница на семьдесят пять коек, с лечебными кабинетами, в том числе и рентгеновским. К концу 1950 года будут восстановлены все школы.

Шолохов принимает гостей внизу, в комнате, которая служит ему теперь кабинетом. Он уже больше не работает на своей «голубятне» – в крохотном мезонине, где писались «Тихий Дон» и «Поднятая целина».

Шолохов рассказывает о том, что произошло в его маленькой усадьбе в дни войны. Немецкая авиабомба упала во двор и убила мать Шолохова. В годы войны погиб весь архив Шолохова, вся библиотека. Каждый, кто знает, с какой тщательностью берег писатель рукописи «Тихого Дона», над которыми работал в течение четырнадцати лет, в том числе ту часть их, которая не была опубликована (главным образом, исторические материалы), может понять, какая это потеря не только для Шолохова, но и для нашего литературоведения. Погибли материалы «Поднятой целины». Потерялись любимые книги. Пропала знаменитая шолоховская коллекция изданий его книг во всем мире. Она занимала целую стену в одной из комнат на «голубятне». Здесь были не только все триста изданий книг писателя, вышедших в одном только Советском Союзе тиражом более чем в пятнадцать миллионов экземпляров, но и десятки изданий его сочинений на многих иностранных языках.

До войны Шолохов принимал гостей в мезонине. Две стены комнаты были заставлены обычными шкафами, наполненными книгами. На нижних полках книжных шкафов хранились письма и рукописи. Часто, беседуя с гостем, писатель подходил к шкафам, рылся в архиве, доставал письма, цитировал их.

Теперь этих рукописей нет.

Шолохов, хотя и привык к своей «голубятне», сейчас не может пробыть в ней и часа. Он перебрался вниз. В большой, не очень уютной комнате, приспособленной для кабинета, одна маленькая этажерка с книгами. На верхней полке – послевоенное издание «Поднятой целины» – «Разораната целина», выпущенная недавно в Болгарии издательством Маджарова и Бакарджиева.

К Шолохову всегда приходили земляки не только как к депутату, но и как к земляку. К нему обращались по всякому поводу: за помощью, за советом, а иногда... для того, чтобы дать ему совет, как писать, что делать со своими героями.

Так было во время работы над «Тихим Доном», так обстоит дело и теперь, когда писатель работает над романом «Они сражались за Родину».

Любопытное письмо такого рода получил на днях писатель. «Что это у вас, товарищ Шолохов? – пишет автор письма по поводу опубликованных глав романа «Они сражались за Родину». – Все бои идут больше, и все у вас живыми остаются. В жизни так не бывает! Ведь война была жестокая, и мы многих людей в ней потеряли».

– Я думаю, – говорит Шолохов, – что этот товарищ прав. Мы, русские, а не господа Гарриманы и Черчилли², знаем, что такое война, – каких тяжелых жертв она от нас потребовала. Может быть, кому-нибудь выгодно это забыть, но мы не забудем этого никогда!..

* * *

– Как идет работа над романом «Они сражались за Родину»?

– Меня интересует участь простых людей в минувшей войне. Солдат наш показал себя в дни Отечественной войны героем. О русском солдате, о его доблести, о его суворовских качествах известно миру. Но эта война показала нашего солдата в совершенно ином свете.

Я и хочу раскрыть в романе новые качества советского воина, которые так возвысили его в эту войну...

Трудно мне говорить о своей работе, – продолжает Шолохов. – В былые годы, когда я занимался «Тихим Доном», было легче отвечать. Сейчас речь идет не о прошлом, как в «Тихом Доне», а о совсем еще свежих ранах и свежих событиях... В «Тихом Доне» я был свободен и перед живыми и перед мертвыми, там все было историей, а сейчас передо мной живая жизнь...

– Как расположится роман во времени?

– Даже и этого не могу вам точно сказать. Начало – предвоенные дни, сорок первый год. Послевоенные дни вряд ли задену...

– Как вам пишется?

– Так же, как и во времена «Тихого Дона», – приходится все неоднократно переделывать. Тщательно взвешивать каждую деталь. Материала обилие. Одно вытесняет другое – хочется сделать роман лучше, компактнее. Напишешь несколько глав, потом прикинешь, и видишь – не то... Переделываешь. Что-то выбрасываешь, что-то дополняешь...

– Люди у вас в романе донские?

– У Бориса Горбатова, – отвечает, – есть превосходный рассказ о солдатской душе – «Алексей Куликов, боец»... Его герой ищет всюду своих, пензенских. Но война большая, страна тоже большая – и выходит, что пензенских он находит мало. Так и я со своими донцами – мало их нахожу. Мне, как и горбатовскому Куликову, редко приходится встречать земляков...

– Какие люди действуют в романе?

– Где-то здесь, близко от Дона, родная земля этих людей, но они не донские. Опубликованные главы романа – из середины. Постепенно буду вводить новых людей. Трудно говорить, пока не готова вся книга.

* * *

Шолохова то и дело отвлекают посетители. Они входят в комнату запросто, как сосед к соседу, и нужно признать, что эти посещения отнимают у писателя немало времени. Вот пришла казачка, она долго о чем-то советовалась с хозяином; потом явился слепой старик с поводырем за советом по поводу раздела своего имущества между детьми. У Шолохова нет и никогда не было секретаря, если не считать жены, Марии Петровны, которая помогает ему переписывать рукописи на машинке. Шолохов все делает сам, в ущерб своим литературным занятиям. Он охотно беседует с посетителями-земляками. Когда он общается с людьми из народа, он чувствует себя свободно и просто. Он испытующе смотрит при этом на своего собеседника, словно проникая ему в душу, внимательно слушает. Постороннему наблюдателю кажется, что Шолохов хочет убить сразу «двух зайцев» – помочь человеку и в то же время изучить какой-то житейский факт, который может пригодиться ему для литературной работы...

Продолжая беседу со мной, Шолохов говорит о плеяде молодых писателей – о Пановой, Некрасове, Вершигоре. Он с похвалой отзывается об авторе «В окопах Сталинграда», Некрасове, с интересом ждет его новых произведений.

В комнату вбегает жена писателя.

– Скорее! Скорее! – кричит Мария Петровна. – Бери ружье!..

Шолохов мгновенно забывает о собеседнике и, схватив ружье, выбегает вслед за женой... Когда недоумевающий гость выходит на крыльцо, его оглушает выстрел. Шолохов стреляет в пролетающую над его домом стаю гусей. Подраненный гусь отделяется от стаи и планирует прямо во двор, на плотников, строящих новый дом

Шолохова. Но оказывается, гусь падает в Дон. Шолохов сбегает вниз, к реке. Без шапки, без верхней одежды, Шолохов ладонями вычерпывает воду из лодки и, захватив собаку, уплывает за добычей.

За обедом гость пытается сказать что-то одобрительное по поводу гуся, так необычно убитого писателем с собственного крыльца, но попадает впросак. Оказывается, что мы едим гуся, убитого не Михаилом Александровичем, а... Марией Петровной во время вчерашней охоты. В 1936 году Мария Петровна рассказывала мне, что до замужества она проводила целые дни в степи с ружьем, а позже, уже обремененная материнскими заботами и хозяйством, стала редко ходить на охоту... Сейчас, став уже бабушкой, Мария Петровна с прежним азартом занимается охотой.

Мария Петровна так довольна сегодняшней удачей, что даже предлагает соорудить на крыше нового, строящегося дома площадку, с которой можно было бы стрелять пролетающих гусей.

Шолохов смеется.

– Этакое «ЗГТ» устроить – зенитно-гусиную точку? Нет, когда будет лет восемьдесят, тогда, сидя в кресле на такой площадке, можно охотиться, но сейчас, пока есть силы, надо ходить самому в поле за добычей!..

* * *

Пора улетать из Вешенской. Шолохов отвозит меня и Добрикова на аэродром. Одетый в просторный, подбитый ватой армейский френч, в защитном картузе, он похож на демобилизованного шофера. С кажущейся небрежностью держит он баранку руля и лихо мчит нас по песчаным вешенским кучугурам.

Увидев у почты привязанного к дереву оседланного трофейного мула, он говорит:

– Видите, куда превратности судьбы занесли итальянского мула? На Дон, беднягу, – колхозную почту возить.

Ст. Вешенская. Ноябрь

Полковник А. Выпряжкин На родине Михаила Шолохова

1

Машина пересекла гребень придонского хребта и извилистой дорогой устремилась вниз. Было раннее утро. Прохладный ветерок шуршал по верхушкам тополей, а вдали, между зарослями краснотала, просвечивала синеватая гладь реки.

Мы подъезжали к станице Вешенской.

С детства мне знакомы эти места, я люблю их сыновней казачьей любовью, горжусь тем, что лазоревую степь, прозрачную дымку хуторов, необозримую ширь колхозных полей знает и любит вся моя Родина – сотни, тысячи, миллионы советских людей. Про плодородную донскую землю, про тяжелый и сложный путь, которым казачество шло к революции, про торжество нового, социалистического уклада красочно рассказал в своих талантливых произведениях М.А. Шолохов. Кто из нас с удовольствием не читал «Тихий Дон» и «Поднятую целину», не волновался за судьбу Григория Мелехова и Аксиньи, Давыдова и Майданикова? Эти литературные образы нарисованы рукой большого мастера, они вошли в нашу жизнь.

Мне много раз приходилось беседовать с казаками о творчестве Шолохова. Казаки с большой любовью говорят о произведениях Михаила Александровича, видят в его героях самих себя, в их жизни – свои радости и горести.

Недавно в типографии одной из столичных газет я разговорился с корректором А.А. Архиповой, которая в период гражданской войны жила в станице Каменской. Пожилая женщина убежденно говорила мне, что в 1918–1919 годах в Каменском госпитале она видела раненого Григория Мелехова, о котором впоследствии писал Шолохов. А когда я заметил, что на Дону действительно встречаются фамилии Мелеховых, но что Григория Мелехова, которого в романе показал Шолохов, она видеть не могла, потому что его не было, его талантливо нарисовал выдающийся художник слова, моя собеседница очень огорчилась и все-таки, как мне показалось, осталась непреклонной в том, что она видела живого Мелехова...

М.А. Шолохов ежедневно общается с людьми, которых он изображает в своих произведениях. Двери дома писателя открыты для всех. К нему заходят колхозники и колхозницы, трактористы и комбайнеры, учителя и агрономы. Писатель – инженер человеческих душ, и в нем они видят своего духовного наставника. С самыми заветными думами идут казаки и казачки к Шолохову, идут за советом по самым разнообразным вопросам. Мой знакомый Стерлядников Тимофей Иванович рассказывал, что он ходил к Михаилу Александровичу поговорить о постройке нового жилого дома, о воспитании сына, который чересчур отбилась от рук...

2

Предстоящая встреча с писателем нас очень интересовала. Над чем работает автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины», как он сочетает свою разностороннюю – партийную, государственную, литературную – деятельность? – такие вопросы невольно вставали перед нами.

Восемь часов утра.

– Не рано ли? – обращаюсь я к знакомому казаку.

– Что вы, что вы! – отвечает тот. – Михаил Александрович рано встает. Он теперь уже работает. Да вы позвоните ему по телефону.

И я позвонил. Шолохов действительно был на ногах и пригласил нас к себе. По пути к дому писателя я вспомнил, как десять лет назад проходил по этой улице. На площади высилось тогда красивое трехэтажное здание райисполкома, а рядом с ним радовал глаз театр казачьей колхозной молодежи, созданный по инициативе и при поддержке М.А. Шолохова. Сегодня этих зданий нет: их разбомбили немцы.

Правда, врагу не удалось переправиться через Дон и захватить Вешенскую, но следы кровавых преступлений немецко-фашистских разбойников остались и здесь. Артиллерийским огнем с правобережных высот, бомбардировками с воздуха немцы разрушили многие здания. Одна бомба разорвалась во дворе писателя, повредила дом.

Тогда мы приехали в Вешенскую глубокой осенью и вечером пошли к писателю.

Беседа с ним была короткой, но задушевной и надолго осталась в памяти. Сейчас, через десять лет, мы снова шли по той же улице к дому писателя.

3

Дом Шолохова – в центре станицы. Это – обычная в этой местности легкая деревянная постройка с просторным двором, дощатым забором и деревьями перед окнами. Огибая дом, идем к веранде. Навстречу нам вышла женщина и, пригласив в комнату, сказала:

– Садитесь, Михаил Александрович на минутку вышел. Он сейчас придет.

Оглядываемся вокруг. Просторная светлая комната. В углу – рояль, а в простенках – небольшой деревянный диван и несколько стульев. На рабочем столе писателя – телефон, газеты, рукописи и большая пачка писем.

С веранды в комнату быстро вошел М.А. Шолохов.

Да, война изменила многое. Изменила она и людей. Шолохов родился в 1905 году, – он, как говорят, мужчина в расцвете сил. Но морщины на лице говорят о пережитом, передуманном за суровые военные годы.

В период Великой Отечественной войны полковник Шолохов побывал на многих фронтах и, как все советские люди, отдавал свои силы делу разгрома врага. После войны Михаил Александрович демобилизовался, сменил боевую форму полковника на костюм мирного советского гражданина. Фронтная обстановка закалила и обогатила писателя, сделала его большим знатоком армейской жизни.

Как всегда, Шолохов жизнерадостен и бодр.

– Вот и опять встретились, – пожимая руки и попыхивая трубкой, говорит он. – А какое время пережили! Война и в мой двор врывалась. А вы как? Где воевали?

Мы рассказали о своих путешествиях по дорогам войны, о фронтовых встречах с вешенскими казаками.

Наша беседа, как и тогда, до войны, была простой и короткой. Я передал Михаилу Александровичу письмо из Москвы и попросил рассказать о своей литературной работе.

– Воины Советской Армии, – говорил я, – помнят ваши фронтовые очерки. Мы с интересом читали «Науку ненависти», «Они сражались за Родину». Но нам этого мало, мы – ненасытны и ждем ваших новых слов о минувшей войне.

Писатель сел за рабочий стол, задумался.

– Скоро, пожалуй, не смогу. Много времени отнимает депутатская работа. Вот видите. – Он показал на пачку писем. – Это сегодняшняя почта.

Каждое письмо писатель-депутат внимательно прочитывает, принимает по нему меры, связываясь с районными и областными советскими и партийными организациями.

В 1946 году в Вешенском районе была засуха, что, конечно, сказалось на колхозной жизни. Недоставало зерна, и Шолохову пришлось много сделать, чтобы колхозы быстрее преодолели возникшие трудности. Он ездил в Ростов, в Москву, доставал семенную ссуду, посещал колхозы, помогал землякам лучше подготовиться к осеннему, а затем и к весеннему севу. И слово М.А. Шолохова – слово большевика, депутата, писателя, академика – ободряло, радовало казаков, звало к напряженному творческому труду.

– Поднялись быстро, – говорит Михаил Александрович. – Народ у нас упорный, трудолюбивый. Большую войну пережили, сильного врага разбили, а уж с послевоенными трудностями справимся.

Вешенцы, поборов засуху, собрали хороший урожай, досрочно выполнили план хлебопоставок государству, вдоволь обеспечили себя продуктами. В этом году они упорно борются за получение еще более высокого урожая.

Крепкая связь с колхозниками, всестороннее знание экономики района, постоянная забота о нуждах окружающих колхозов определяют Шолохова как государственного деятеля сталинской эпохи.

Нас, военных, интересовало, как районные организации помогают семьям военнослужащих и, в особенности, семьям погибших воинов. И надо отметить, что в этом деле, – конечно, не без участия М.А. Шолохова, – сделано немало. За полгода семьям военнослужащих выдано 160 тысяч рублей пенсии, 347 тысяч рублей пособия, 1900 метров мануфактуры, много обуви и разных предметов домашнего обихода. В районе проводился месячник помощи семьям военнослужащих, который дал дополнительные средства для нуждающихся семей защитников Родины.

Свою признательность М.А. Шолохову – славному сыну большевистской партии, виднейшему деятелю советской культуры – казачество выражает присвоением имени знатного земляка различным предприятиям и учреждениям.

В станице Вешенской имя М.А. Шолохова носит районная библиотека, в соседней, Еланской станице – школа-десятилетка. Есть в районе и колхоз имени Шолохова.

В 1945 году, после победоносного завершения Великой Отечественной войны, общественность Вешенского района отмечала сорокалетие писателя. Из самых отдаленных хуторов приезжали в станицу колхозные представители, чтобы от всей души поприветствовать дорогого юбиляра. Дети преподнесли писателю букеты пахучих полевых цветов. На собрании выступали люди разных возрастов, крепко жали руку Михаилу Александровичу и заверяли, что не посрамят они казачьей чести, сделают свои колхозы передовыми в области.

Простоту, сердечность М.А. Шолохова высоко ценят вешенцы.

– Золотой человек, – отзываются они о писателе. – Когда бы ни зашел к нему, – выслушает, посоветует, поможет. Уходишь домой – будто с родным братом поговорил. А если у тебя несчастье какое приключится, – глядишь, сам заедет, подбодрит, поможет.

Жизнь любого района богата и многогранна. А у Вешенского района есть одна особенность – он оторван от железной дороги более чем на 150 километров. Это обстоятельство усложняет деятельность районных организаций, требует от них высокой культуры, организованности и самостоятельности. Присматриваясь к районным работникам, мы все более и более убеждались, какое большое влияние оказывает на них трудолюбие М.А. Шолохова, его энергия. Районный работник, глядя на Шолохова, невольно подтягивается, внимательнее относится к посетителям, оперативнее решает вопросы.

Зимой я получил письмо от родителей. Отец сообщил мне, что к нему заезжал вешенский районный военный комиссар, расспрашивал, в чем старики нуждаются, есть ли у них хлеб, дрова. Такое внимание, конечно, растрогало моих родителей. Как я потом узнал, райвоенком время от времени лично объезжает семьи военнослужащих, знакомится с их жизнью,

ставит перед райсоветами и колхозами конкретные задания по оказанию помощи семьям военнослужащих.

Не сказывается ли в этом стиль работы М.А. Шолохова – стиль писателя-большевика, депутата советского народа?

4

Мы уходим от Михаила Александровича в жаркий солнечный день. Серебристой лентой опоясывал Дон станицу, и прибрежный лес тянулся своими ветвями к воде. Знойное марево окутывало задонскую степь, а над аэродромом кружился почтовый самолет, прибывший из г. Миллерова.

М.А. Шолохов вышел с нами во двор и, щурясь, посмотрел в степь.

– Чертовская жара! – с досадой сказал он.

Михаил Александрович пожимал нам руки и желал всяческих успехов в работе.

– Да! – как бы спохватившись, добавил он. – А как вы доберетесь до Елани? Может, вам машину надо?

Мы поблагодарили Михаила Александровича и вышли на улицу. Около редакции районной газеты «Большевистский Дон» к нам подошел директор Вешенского педагогического училища, родственник писателя, майор запаса Владимир Шолохов.

– У Михаила были? – стирая пот со лба, спросил он и, не дождавшись ответа, продолжал: – А теперь пойдете ко мне. Мы тут как на фронте. Строим, создаем, залечиваем раны войны.

Владимир Шолохов часто бывает у Михаила Александровича, вместе с ним ездит по колхозам, на охоту.

– Литераторы – удивительный народ, – весело говорит он. – Едем, предположим, по степи, я смотрю кругом и... ничего не вижу. Степь и степь... А у Михаила особый глаз. Ему и былинка рассказывает про жизнь. Послушаешь его, и в самом деле степь будто оживает, – перед глазами встает она, как скатерть-самобранка, – такая яркая и чудесная...

Вечером мы уезжали из Вешенской. На улицах слышались песни, смех, звонкий говор казачьей молодежи. Кто-то затянул «От края и до края», песню подхватили и другие. Она неслась над тихой стремниной Дона, летела в просторы колхозных полей и замирала у курганов – молчаливых памятников седой старины.

Машина набирала скорость, а вслед за нами летели, не умолкая, звуки песни...

Писатель М.А. Шолохов выехал из Сталинграда

После шестидневного пребывания Михаил Александрович Шолохов выехал из Сталинграда.

За время, проведенное в Сталинграде, М.А. Шолохов осмотрел исторические места боев за город – берег Волги, поселки заводов Металлогорода, где находились части 62-й армии, защищавшей Сталинград, побывал в районе Мокрой Мечетки – на местах сражений отрядов народного ополчения, посетил музей обороны Царицына – Сталинграда имени И.В. Сталина.

В беседе с корреспондентом «Сталинградской правды» М.А. Шолохов рассказал, что его посещение Сталинграда связано с работой над второй книгой романа «Они сражались за Родину».

По замыслу автора роман «Они сражались за Родину» предполагался как трилогия, повествующая о героической борьбе советского народа в Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков.

Первая книга романа охватывает начальный период Отечественной войны и заканчивается описанием событий, предшествовавших Сталинградской битве. Вторую книгу автор посвящает Сталинградской битве.

Касаясь своих впечатлений о городе, Михаил Александрович сказал, что он уже несколько раз бывал в Сталинграде, видел наш город вскоре после окончания битвы, видел первые ростки возрождения и каждый раз с необычайной силой ощущал величие торжествующей жизни. Эта сила жизни торжествовала и в дни Сталинградского сражения и торжествует сейчас, когда на страшных развалинах рождается новый город.

В книге отзывов в музее имени И.В. Сталина Михаил Александрович оставил запись: «Склоняю голову. *М. Шолохов*».

Встреча писателя М. Шолохова с читателями

Переполнен был вчера клуб офицера Военно-политической ордена Ленина Краснознаменной академии имени В.И. Ленина. Сюда, на встречу со своими читателями, приехал любимейший писатель советского народа депутат Верховного Совета СССР М. Шолохов.

На десятки вопросов, связанных с работой второй сессии Верховного Совета СССР, ответил своим друзьям Михаил Александрович Шолохов.

Он рассказал о том, что сейчас заканчивает первую книгу большого романа о Великой Отечественной войне «Они сражались за Родину». После этого он думает вернуться к неоконченной «Поднятой целине», работу над которой прервала война.

До позднего вечера затянулась эта интересная встреча, прошедшая в теплой, сердечной обстановке.

В. Соколов, спецкор «Литературной газеты» На тихом Дону

Могуч и красив Дон в половодье. Нынче весна затянулась, и он трижды выходил из берегов, заливая пойменные луга и затопляя чуть ли не до макушек белые стройные, как невесты, березки. Когда вода спала, в изгибе реки, против станицы Вешенской, неожиданно-негаданно образовался мыс – огромная глыба суглинка и песчаника, переплетенная тысячами корней и корешков, выдвинулась вперед, не отступив перед паводком, не сдвинувшись с тех мест, где родилась и простояла долгие годы. Так ведь и в жизни: характер самобытный и цельный лишь крепнет под напором времени.

По-над Доном, у самого крутояра, где река лениво, будто нехотя, поворачивает и покидает Вешенскую, стоит дом, в котором живет Михаил Александрович Шолохов.

«Депутат Верховного Совета СССР, писатель М. Шолохов, заботясь о нуждах своих избирателей, – сообщила на днях районная газета, – обратился к рабочим Ростовского завода «Красный флот» с просьбой ускорить строительство катера для вешенцев. В ответ на это судостроители выполнили заказ раньше срока. Новый переправочный катер получил название «Быстрый». В знак благодарности строителям катера писатель прислал в подарок для заводской библиотеки четыре тома последнего издания романа «Тихий Дон» с личной надписью: «Коллективу завода «Красный флот» от земляка М. Шолохова».

Умолчала газета лишь об одной курьезной подробности. Когда катер был готов, судостроители на свой страх и риск назвали его «Дед Щукарь». Вешенские руководители запротестовали против такого легкомыслия и телеграфом потребовали более делового и романтического, на их взгляд, наименования: «Быстрый». Ростовчане подчинились, но на кругах, что развешаны вдоль бортов «Быстрого», то ли случайно, то ли намеренно, осталось имя шолоховского героя.

Если человек всей душой, всеми помыслами своими тянется к чему-то или к кому-то, на Дону говорят про такого «прислонился». Шолохов прислонился к сотням разных дел, к тысячам людей, заслужив в ответ неистощимую любовь своих читателей и избирателей. О его простоте и душевности вам охотно расскажут здесь множество историй.

Как-то Шолохов возвращался на машине из Миллерова. Догнали старушку.

– Подожди, Федя, подвезем мамашу.

Посадили, тронулись дальше.

– Куда едешь, мать?

– Да недалеко, к Михаилу Александровичу...

– По делам?

– Сына разыскать надо. С войны не вернулся и документов никаких нет, пенсию не платят. Я уж и в собес ходила и в область писала, отписывают: «Без документов не можем»...

Подъехали к Кашарам.

– Так вот, мать, Шолохов – это я. С документами мы тебе поможем, сейчас в здешнем райисполкоме оформим заявление и все как полагается. Так что тащиться в такую даль не к чему, езжай домой...

Зашли в райисполком, оформили заявление, подождали встречной машины, чтобы не плестись старухе в Миллерово пешком. А вскоре в Вешенскую пришло письмо: «Спасибо, сынок, документы разыскали, и пенсию я уже получаю. Сдержал ты свое депутатское слово...»

Все ли в этой истории было так, как рассказывают, не знаю. Важно другое: на множестве примеров, ставших обычными, повседневными, земляки убедились, что Шолохов поступает именно так, а потому и рассказывают подобные истории с мельчайшими подроб-

ностями, будто каждый сам присутствовал и все видел своими глазами. Рассказывают с душевной (с «доброй», как сказал бы Шолохов) улыбкой и часто с искренним удивлением: дескать, а вы разве сами не знаете, не видели? И как Михаил Александрович ездит на рыбалку и на охоту, и как работает он у себя в саду, как поет тенорком «Выхожу один я на дорогу» или старую казачью:

Под серебряной волной,
На золотом песочке...

И кто бы ни рассказывал – учитель-пенсционер Мрыхин, обучивший когда-то Мишу первым буквам, или старый кузнец Крамсков, мечтавший приспособить смышленного парня себе помощником в кузню, или сторож Ващаев, шолоховский товарищ по охоте, – каждый обязательно прибавит: «Душевный он человек – для него весь народ одинаковый...»

Калитка шолоховского двора открыта всегда и для всех. В большом собственном доме, за высоким зеленым забором, отдавая массу сил и времени творчеству, писатель-депутат живет с земляками единой трудовой жизнью. О видах на урожай, о нуждах районной больницы, о тракторах, которые должны прийти из Сталинграда, да что-то опаздывают к севу, – обо всем этом Шолохову не надо рассказывать, он сам отлично в курсе всех местных дел и забот. И если что-то в округе носит имя Шолохова, – это не просто дань уважения знаменитому человеку.

Улица Шолохова... На каждом ее перекрестке, из конца в конец станицы, стоят теперь колонки с прозрачной вкусной ключевой водой. А не так давно ее жители спускались за водой к Дону и, готовя с такой водой кулеш, рисковали, конечно, обнаружить в нем ту самую «вустрицу», за которую когда-то поделом досталось деду Щукарю. Водопровод – давняя мечта вешенцев, и Шолохов положил немало труда ради исполнения наказа избирателей.

Колхоз имени Шолохова... На последней районной партконференции член пленума райкома посвятил своим «крестникам» немало горьких слов. Речь шла о бездумном подборе кадров, о нежелании воспользоваться советом и опытом стариков, о безынициативности руководителей. Напомнил тогда Шолохов и о незаслуженно забытой статье доходов – разведении индеек. «Говорят, что она капризная птица. Так ведь и жены иногда бывают капризные, но мы же их за это не бросаем...»

На разговорах дело не кончилось. Вскоре после конференции Шолохов с Михаилом Ивановичем Косоножкиным, председателем колхоза, посидел над перспективным планом артели – поспорили, добираясь до истины. Было бы наивным думать, что все эти депутатские, общественные заботы и дела решаются легко и просто, без волнений, без серьезных усилий, без конфликтов. Кое-кто из местных руководителей был бы не прочь широко пользоваться шолоховским авторитетом – начиная, скажем, от «накачек» отстающим бригадирам и кончая неофициальным звонком к министру. Другие, наоборот, склонны оградить себя от «лишнего» глаза: пусть, мол, пишет книги и в наши дела не вмешивается. Но тем и дорог Шолохов землякам, что всякую крупную народную заботу он принимает к сердцу, как свою кровную обязанность, и уж тут без напоминаний доводит дело до конца. За то и величают его здесь уважительно, не по фамилии, а по-домашнему – Михал Александрович.

Как-то в беседе Шолохов сказал: «Свою похоронив, я к любой матери тянусь...» В одном из опубликованных недавно отрывков есть строки, где слились воедино два образа, бесконечно дорогих писателю, – донской степи и матери: «... Дивно закрасовалась под солнцем цветущая, омытая дождями степь! Была она теперь, как молодая, кормящая грудью мать, – необычно красивая, притихшая, немного усталая и вся светящаяся прекрасной, счастливой и чистой улыбкой материнства». А в депутатской почте писателя много волнующих материнских писем и просьб – советуются, просят помочь, жалуются на невнимание к жен-

щинам-труженицам. Не каждая просьба законна и выполнима, но каждая мать получила от писателя откровенный, обстоятельный и, главное, сердечный ответ. «Нет таких, которых бы не принял или не ответил», – рассказывают земляки.

Однажды ростовский писатель Анатолий Калинин нашел, пожалуй, наиболее точные слова для определения главного качества в гражданском и писательском облике Шолохова – «солнечная любовь к людям». Этой любовью проникнуты шолоховские выступления и личные письма, эта любовь, как драгоценный кристалл, играет тысячами красок в его произведениях. Потому так трудно бывает для многих, особенно для земляков, отделить литературных героев от хорошо знакомых односельчан, согретых его вниманием в жизни. Не так давно умер старик, прославившийся с легкой руки газетчиков, как прямой прототип деда Щукаря, и на этом основании занимавший почетное место в президиуме всех колхозных собраний.

И надо побыть в Вешенской, увидеть ее привольно раскинувшиеся по Дону свежесбеленные к юбилею хатки, узнать напряженную жизнь здешних «глубинных» колхозов, рыбхоза, лесхоза и МТС, послушать удалые песни казачек, посмотреть на жаркие волейбольные битвы станичных девчат и на притихшие по вечерам возле плетней парочки, надо, быть может, заглянуть в сочинение ученицы 10-го класса «А» Вешенской средней школы Маши Шолоховой («Какое счастье сидеть утром с книгой в руках где-нибудь на траве в тени, слушающая, как кричит далеко за рекой кукушка да перекликаются в станице петухи!.. Выйдешь к Дону – в его зеркальной поверхности отражается лес, стоящий на противоположном крутом берегу. А как красив восход солнца!..»), – надо хотя бы раз увидеть и узнать все это, чтобы представить себе, откуда так неожиданно и так легко, красиво, трепетной рукой нарисовал Шолохов в новых главах образ комсомолки Варюхи-горюхи, безответно влюбленной в Давыдова. Весь он, Шолохов-художник, как та береговая глыба, пронизан тысячами корней и корешков, накрепко связавших его с родными местами, с глубинами жизни простого народа.

«Среди литераторов есть люди, которые слишком влюблены и углублены в свое мастерство и смотрят на жизнь равнодушно, только как на материал для книг. Действительность для них безразлична, если она не царапает им кожи, не бьет их, не вышибает из привычной удобной позиции... Но – люди этого типа и сродных с ним постепенно уходят и скоро уйдут из жизни.

На смену им являются молодые писатели. Они должны хорошо понять значение и цель своей эпохи. Эта эпоха по глубине и широте исторического процесса, который созрел и развивается в ней, – значительнее, трагичнее будет – не может не быть! – плодотворной более всех эпох пережитых».

Правота этих горьковских слов несомненна, и Шолохов, чью молодость приветствовал и поддерживал Горький, – лучший пример тому.

Станица Вешенская

50-летие Михаила Шолохова

Концертный зал имени П.И. Чайковского. Сюда 24 мая на юбилейный вечер М. Шолохова пришли рабочие, студенты, писатели, артисты, офицеры Советской Армии. В зале – жена Шолохова Мария Петровна, дети и даже маленькая внучка.

Горячими аплодисментами встретили собравшиеся любимого писателя. Вечер открыл А. Сурков.

– Мы собрались сегодня здесь в день пятидесятилетия выдающегося мастера литературы Михаила Шолохова, – сказал А. Сурков, – чтобы выразить ему чувство горячей любви и признательности за чудесные книги, которые читают сотни миллионов людей во всех концах земного шара.

А. Сурков характеризует М. Шолохова как талантливейшего восприемника и продолжателя бессмертных традиций русской классической литературы, видного общественного деятеля.

С взволнованными приветствиями обратились к писателю представители литературных и общественных организаций, студенты, артисты, рабочие.

– Ваши книги никогда не залеживаются на полках нашей заводской библиотеки. Мы их читаем и перечитываем, – сказал, обращаясь к М. Шолохову, фрезеровщик машиностроительного завода В. Аверкин.

Слово приветия дорогому земляку и писателю сказал председатель Вешенского колхоза имени А.А. Андреева И. Пятиков.

На вечере выступили: от правления Союза писателей СССР Л. Леонов, министр культуры СССР Н. Михайлов, академик В. Виноградов, народная артистка СССР Е. Турчанинова, заместитель главного редактора газеты «Правда» П. Сатюков, главный редактор журнала «Октябрь» М. Храпченко, украинский писатель О. Гончар, главный редактор журнала «Огонек» А. Софронов, главный редактор Гослитиздата А. Пузиков и другие.

Поздравляя писателя с высокой правительственной наградой – орденом Ленина, выступавшие от всего сердца желали ему быстрее завершения второй книги «Поднятой целины» и романа «Они сражались за Родину», создания новых прекрасных произведений.

В адрес юбиляра поступили многочисленные поздравительные письма и телеграммы из Корейской Народно-Демократической Республики, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Монгольской Народной Республики, Германской Демократической Республики и других стран.

В заключение выступил Михаил Шолохов.

– Дорогие друзья, – заявил он, – разрешите сказать одно: вы понимаете, что я растроган, взволнован, а отсюда и косноязычен, но постараюсь не очень долго затруднять ваше внимание.

Разрешите мне вас заверить, что весь свой ум, весь жар души, всю страсть далеко не равнодушного к жизни сердца я отдал и отдаю для того, чтобы мои книги волновали бы вас.

Большое спасибо тем, кто приветствовал меня. Разрешите сказать тем, кто не получил слова, всю теплоту которого я чувствую сердцем, – разрешите сказать им мое глубокое спасибо.

В большом концерте были исполнены отрывки из произведений М. Шолохова.

Петер Вереш (Венгрия) ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Если говорить о том, что для нас, венгерских революционеров, рабочих, крестьян и левых писателей, означал Шолохов как писатель, а «Тихий Дон» как книга, то прежде всего надо сказать, что для нас означала революция.

Мы, люди старого поколения, еще можем припомнить и рассказать об этом более молодым. А им узнать полезно, каково жилось до Первой мировой войны.

Подробный исторический обзор занял бы слишком много места. Поэтому я, вместо долгих объяснений, приведу лучше в пример свою родную деревню. Впрочем, эта деревня, как в капле воды, отражала жизнь всей Венгрии. Ведь почти вся земля нашей деревни – 40 000 хольдов – принадлежала одной-единственной графской семье. Лишь 14-я часть пшеницы была нашей. Иными словами, мы должны были убрать вручную урожай с 15–16 хольдов пшеницы, чтобы из 140 центнеров заработать 10 центнеров хлеба. Этих десяти центнеров хватало только маленькой семье.

В это время, в начале XX века, в Венгрии уже существовали социалистические рабочие и крестьянские организации. Из года в год вспыхивали бунты среди сельскохозяйственных рабочих; весть о революции 1905 года в России докатилась и до нас, и я, поденщик-подросток, мечтал о революции.

Лишь позже я усвоил из книг, а еще больше из собственного революционного опыта (впервые в этом убедило меня легкомысленно брошенное осенью 1918 года оружие), какая огромная сила нужна, чтобы переделать историю, чтобы изменить привычный порядок вещей. Ведь столетиями, иногда тысячелетиями, создавались, упрочнялись институты эксплуатации, затвердевали, как скала, дети рождались при существующих системах и считали рабство естественной, привычной формой бытия. И если бунтовали, то обычно лишь против отдельного, далеко зашедшего хищника.

Подобных хищников иногда удавалось устранить, но вместо них приходили другие, и порядок оставался таким же, каким был в течение столетий. И этот привычный порядок проникал во все поры жизни настолько, что народы считали само собой разумеющимся существование королей, царей, князей, распорядившихся жизнью и имуществом, детьми и внуками; существование духовных сановников, распорядившихся душой и мыслями; существование крупных помещиков, в амбары которых народ обязан был высыпать урожай, и, конечно, существование чиновников и жандармов, оберегавших и направлявших весь этот порядок.

И поколениям, сменяющим друг друга, казалось, что вся эта махина если и скрипит иногда, то все же работает, что она создана на веки веков.

А тот, который не в состоянии был покориться духом (ибо тело легче свыкается с рабством), научался прятать сжатые в гневе в кулак руки в карман и скрежетать зубами, когда никто не слышит. А если кто не в силах побороть гнев, – то иди скитаться по лесам и болотам...

Но в чреве времени вынашивалась, созревала великая перемена, необходимость обновления, и зарождалась истина сперва в умах отдельных лучших представителей человеческого рода, а потом в сознании угнетенных классов: старый порядок должен быть разрушен! Иного нет пути! Иначе жить нельзя!

И тогда начиналась борьба. Борьба, чреватая победами и поражениями, как всякая борьба, но прежний порядок был нарушен. Возврата к старому больше не было: приверженцы старого порядка из консерваторов становились реакционерами, приверженцы же обновления начинали понимать, что нужны не реформы, а революция.

И потом наступали великие перемены. Порядок, казавшийся прочным и незыблемым, рушился, и новый мир после хаоса пыли, дыма и настоящего пламени был создан.

Реалистически, убедительно изобразить все это, показать подробно, и вместе с тем не запутываясь в подробностях, всегда во всем видя целое, – самая великая задача, какую когда-либо история ставила перед писателями.

И это удалось Шолохову! Шолохов написал немного, но ему удалось запечатлеть великие события мировой истории: в «Тихом Доне» саму революцию, а в «Поднятой целине» организацию новой жизни, создать образы революционеров и партийных работников.

Для нас «Тихий Дон» явился не только историей Григория Мелехова, не только историей семьи Мелеховых и не только – через призму истории жизни казацкого села – историей жизни русской деревни, но наряду со всем этим историей победившего в революции народа.

Как побеждает и какими людьми побеждает социалистическая революция? – вот какие жизненно важные вопросы задавали мы. И «Тихий Дон» отвечал нам.

В конце концов якобинцы французской революции тоже победили с помощью народа, но после Директории пришел к власти Наполеон, а затем Бурбоны и все то, что нам знакомо по результатам французских буржуазных революций.

Читая «Тихий Дон», мы поняли, что нет места для реставраций: там действительно рождается новый мир, где не могло быть ни соглашения, ни примирения, ни дороги назад, ни третьего пути. Ленин и его солдаты – Бунчуки, Миши Кошевые, Нагульновы и Давыдовы – были совершенно иными людьми, чем революционеры 1789-го и 1848 годов. Они были революционерами-большевиками.

В то время мы часто читали об этом в газетах. Но воплощенными в человеческие образы мы этих революционеров-большевиков узнали из «Тихого Дона», – ведь во время короткой венгерской революции 1919 года перед нами еще не мог развернуться новый тип человека.

Индивидуалист-буржуа, живущий на Западе, да и где угодно, всегда с легкостью понимал Цезаря или Наполеона, больше того, как мы на опыте недавнего прошлого убедились, Муссолини или Гитлера, да и Катилину и Дантона – ведь и эти последние в конечном счете, по мнению такого буржуа, всего лишь хотели стать цезарями, а вот большевиков, их невозможно понять!.. Ибо легко понять индивидуалисту и карьеристу борьбу личности за власть, за историческую карьеру, за «величие»: даже готовность рисковать жизнью ради этой цели понятна; в конце концов, «или пан, или пропал», и к тому же для такой личности без подобного порыва жизнь не имела бы цены; а вот у большевиков все как-то иначе!

Легко было стать героем тому, кто взамен получал историческое величие, славу; легко было это сделать даже тем средневековым рыцарям, которые, по существу, были лишь рабами своих страстей и порывов, но устоять сознательному, думавшему человеку там и тогда, когда рассчитывать на славу, на награду не приходится, ибо тысяча и тысяча подобных ему участвуют в революции, – вот это настоящий героизм, на подобные подвиги способен лишь человек нового типа. С этой точки зрения мы должны отрицать казавшееся вечной истиной изречение шекспировского Гамлета: «...решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледным». А у Бунчуков, наоборот, мысль, как и вера, укрепляет решимость. Нужно победить, и только так можно побеждать! Вера и знание диктуют это. Единственной наградой служит собственное сознание, что сделал все, что мог!

Шолохов совершил огромное дело тем, что показал революционера в движении, поступках, в борьбе и тем самым помог читателям всех народов мира понять, что только такими людьми, такими моральными принципами, такими страстями можно победить в социалистической революции.

Для меня лично – и, думаю, для многих других писателей, описывающих крестьянский быт, – большой поддержкой служила в начале писательского поприща шолоховская манера

изображения крестьян. Она противостояла манере изображения крестьян некими «оригиналами», манере идеализации крестьянского быта, манере натуралистов, развлекавших буржуа.

Я внутренне восстал против таких произведений, написанных о крестьянской жизни, считая, что описывать их надо так, как это делал Толстой и делает Шолохов. Писать о крестьянине нужно не для того, чтобы показать скучающему «эмоционально тонкому», всегда жадному до «сенсаций» так называемому образованному читателю: смотрите, какие чудные эти крестьяне, – а для того, чтобы показать, что и крестьянин – человек, к тому же крестьянство – один из основных трудовых классов всех народов и наций.

Герои Шолохова – не деревенские чудачки, а люди, люди из плоти и крови. Все то, что создавало в людях человеческое общество, изуродованный эксплуатацией в течение столетий, тысячелетий крестьянский мир, – все в этих книгах настоящее, все естественное. Все делают то, что логически вытекает из характера каждого. Дед Щукарь – такой же настоящий крестьянин, как и Санчо Панса Сервантеса: он также поступает на свой лад, каждый раз сообразуясь с обстоятельствами.

В то же время огромную радость доставляла мне, являясь образцом, шолоховская образность. С первых страниц «Тихого Дона» моему духовному взору представлялись такие картины, которые никогда не позабудутся, хотя с тех пор я пережил много тяжелого и прочитал великое множество хороших книг (только хороших, плохие книги я уже давно не в состоянии читать). И все же и по сей день я вижу покрытый травой мелеховский двор в то раннее утро, когда старшая невестка Мелеховых, Дарья, ослепляя белизной босых ног, пробегает через двор к хлеву, чтобы подоить коров. Я вижу даже след ее ног на поблескивающей росой траве, и вместе с Пантелеем Прокофьевичем я слежу, как измятая босыми ногами Дарьи трава через несколько минут выпрямляется...

Вот она – реалистическая литература: единство действительности и поэзии в одной маленькой сцене!

Подобных поэтических и драматических сцен (например, сцена спора прапорщика Бунчука с казаками-офицерами в окопе, когда в руках у Бунчука одна из исторических статей Ленина) сотни и тысячи в этой книге и в другой, написанной позже, – в «Поднятой целине».

Очень хорошо, когда писатель является мыслителем, когда он может дать больше, чем пустое описание, когда в каждом событии, в каждой сцене присутствует высокая идея, и присутствует не в виде публицистических или философских приложений, а вытекает из самой сути изображенных событий. Писатель тогда является хорошим философом, когда ему удастся заставить читателя задуматься.

Шолоховское мировоззрение выражается в драматических сценах и в поэтических картинах: это и есть самое высокое эпическое искусство.

Для нас, венгерских писателей, испытавших влияние социологизма в литературе, это также очень поучительно. Ситуации, сцены, картины – вот что должно быть выразителем идеи.

* * *

Михаилу Шолохову сейчас 50 лет. Для писателя, особенно для романиста, это не много. Как я мог убедиться на съезде писателей в декабре прошлого года, он полон сил, больше того, он полон дискуссионного азарта. Мне представляется, что я выражу общее мнение писателей и читателей, если скажу, что все мы ждем от него новых книг, изображающих важнейшие исторические события нашего времени на таком же высоком художественном уровне, как изображены революция в «Тихом Доне» и начало социалистического преобразования деревни в «Поднятой целине».

Эрвин Штриттматтер, немецкий писатель Мое знакомство с Шолоховым

Мое первое знакомство с Шолоховым состоялось при чтении «Поднятой целины». Я читал ее всю ночь напролет. А через несколько недель уже перечитывал снова. То, что мы называем «сознанием», было тогда во мне молодо, еще только формировалось. Я понял, что такое революция: трудность раздробить окаменелости старого, удовлетворение и творческая радость, когда становятся зримыми контуры нового. Шолохов показал мне противоречия, через которые совершается развитие. Но он не отпугнул меня. Он привлек меня, поставил ближе к нашему делу.

Поэтому-то я жаждал прочесть «Тихий Дон». Тома выходили у нас с промежутками. От книги к книге возрастал мой страстный интерес к роману. В то время я еще не думал, что когда-нибудь буду писать сам. Здесь было уловлено и развернуто то, что захватывает от первой до последней строки, то, за что и я дрался, – сама жизнь. Действие, действие, действие!

До поры до времени человек движется по жизни, с условиями которой он сроднился, не задумываясь о ней. Мир, в который он вжился, кажется ему самым правильным, даже когда он страдает и терпит, потому что он застал в мире страдание и привычку терпеть. Однако приходит день, когда он начинает сомневаться в правильности этого мирового порядка. Приходит день, когда мысль претворяется в слово. Это слово сомнения произносится вслух, а человека, который произнес его, наказывают, наказывают за его собственные мысли. Но вслед за первой мыслью прорываются новые, группируясь, как кристаллы.

Сперва это робкие, несвязные догадки. Потом наступает день – и приходит счастье встречи с учителем, подтверждающим твои мысли, счастье научиться видеть. Так Шолохов развивает образы своих революционеров. Они не просто присутствуют в его книгах. Он ощущает самый процесс их зарождения и произрастания. Он описывает не только ту часть дерева, что возвышается над землей.

Но это лишь маленькая частица того, что в моих глазах составляет его художественную мощь.

Он не торопится, он оставляет себе время, чтобы обрисованный им ход развития предстал нам во всем правдоподобии. Он ставит своих героев во все новые ситуации, в которых накапливается их опыт; он показывает, как растет в них новое, как они отходят от старого.

Он не приукрашивает. Он дает понять, что мы тем раньше придем к человеческой жизни, чем скорее уничтожим зверское, тупое, не поддающееся перевоспитанию. И он дает нам понять, что уничтожение противника, в какой-то мере всегда тяжкое для отдельного человека, почти убивающее его самого, может быть благодеянием для народа в целом.

Он не подчеркивает незначительных фактов, а сосредоточивает внимание на действительно поворотных пунктах истории. Из описания событий у него вырастают захватывающие картины борьбы.

При чтении «Тихого Дона» у читателя возникают сотни «почему». Он не вздыхает с облегчением, закрывая четвертый том. Он начинает спрашивать, пытливо думать: «Почему Григорий был вынужден?..» Он возвращается к прочитанным местам романа и, листая страницы, находит ответ на возникшие у него вопросы. Так книги Шолохова становятся учебниками без того, чтобы он поучал.

Шолохов ничего не упускает из виду, ни о чем не забывает упомянуть и показывает нам живых людей. Он описывает блеск красивых глаз, нетерпение влюбленных, их страсть. Он показывает зависимость этой страсти, как и бывает в жизни, от окружающей среды, изоб-

ражает конфликты любви как отражение конфликтов общественного строя. От глаза художника не скроется ни бородавка на лице, ни косой взгляд прохожего.

Он не забывает о даях и просторах, о следе ноги на траве. Он не проходит мимо запахов в каморках и комнатах, мимо свежих запахов воды и трупного запаха на поле битвы. Он дает пятьдесят и более описаний восхода луны; облака и перемены погоды определяют настроение его героев, отражаются на их действиях.

Он знает, как видит Ленина простой земледелец, вступающий на революционный путь, и какие этапы проходит он на этом пути.

...Его книги волнуют, будят представление о том, кто их пишет. Одним из моих первых вопросов, когда я приехал на съезд писателей в Москву, был: «Увидим ли мы Шолохова?» – «Конечно», – ответили мне.

...Вокруг него много легенд – добрых, а иной раз и злых. Что толку в этих рассказах? Он работает, и, думается мне, упорно работает. Такие книги, как его, не пишутся между двумя заседаниями. Это – художественные творения, великие творения.

Писатель, такой, как Шолохов, который создает такие образы, должен быть вулканическим. В своем московском дневнике я записал: «Шолохов был нам знаком по единственной фотографии. Он был на ней юным, нежным, уж во всяком случае не крестьянского обличья. Таким рисовался он и в нашем представлении. Но на трибуне стоял коренастый человек с ясным лбом, сверкающим боевым взглядом и непокорными волосами...»

Несколькими днями позже я видел его лицом к лицу в прекрасном Московском университете имени Ломоносова на Ленинских горах. Меня представили ему. Он внимательно посмотрел на меня, очень внимательно, и протянул руку. Для меня это мгновение было большим и тревожным.

Он сказал лишь несколько слов ликующим студентам различных стран мира. Мне кажется, я чувствовал, как он был растроган. Есть люди, которые не умеют выставлять свою растроганность напоказ, как красивый галстук. Они предпочитают спрятать ее... Мне кажется, он принадлежит именно к таким.

В Советском Союзе есть много стариков, которые дышат вольным воздухом широких просторов и живут до ста лет. Я желаю ему быть в их числе. К счастью, он лишь на полпути к этому возрасту. Проснувшиеся и просыпающиеся народы всего мира уверенно ждут от него еще много хорошо написанных книг.

Евгений Люфанов¹ У Михаила Шолохова

Над степью синяя декабрьская ночь. Протянувшись узкой полосой, стоит по-над Доном опущенный инеем нарядный лес. Укрывшись поверх льда снегом, спит прославленная река. Спит станица. Только в редких окнах домов светятся огоньки, зажженные рано проснувшимися хозяевами. Среди этих немногих огней издалека видно освещенное окно шолоховского дома, стоящего на высоком донском берегу.

По давней привычке Шолохов просыпается часов в пять утра. Запоздалый зимний рассвет застаёт писателя сидящим за письменным столом.

Перед ним страницы новых глав второй книги «Поднятой целины». В них сложный мир человеческих чувств, меткие характеристики героев, их живая, образная речь, острый юмор. Описания природы словно воочию открывают картины цветения весенней степи, и, как в распахнутое майским утром окно, веет с этих страниц медвяными запахами разнотравья, и кажется, слышишь все голоса пробужденной земли.

Но то в одном, то в другом месте рукописи подчеркнуты слова, на которых остановился глаз писателя. Они кажутся ему недостаточно выразительными: где-то он почувствовал лишнее, где-то – недосказанное; и вот перечеркнута одна, другая страница, скомканы и брошены в корзину листы целой главы. И Шолохов начинает работу над новым вариантом...

Порой, когда работа подвигается особенно туго, он уходит с ружьем в степь, в прибрежные донские леса, а если это летом, – посидит на берегу Дона или Хопра с удочками. Домой он возвращается всегда не только с охотничьей или рыболовецкой добычей, но и с новыми впечатлениями. Общение с природой и наблюдения за ней, встречи с казаками ближних и дальних хуторов, полузабытое, но удивительно меткое слово, сказанное каким-нибудь старожилом, – все это пригодится в работе над книгой.

Но бывает и так, что, собравшись на охоту или рыбалку, он возвращается с полпути, чтобы скорее снова сесть за письменный стол. Найдены более точные слова, которыми следует заменить написанное: двумя-тремя новыми штрихами дорисовывается образ, до этого беспокоивший его своей неопределенностью. И опять изо дня в день, еще задолго до рассвета, светится окно его кабинета.

Если бы собрать все написанное Шолоховым, то был бы виден тот огромный труд, который, «сотней папирос клубя», затрачивает он на создание своих произведений. Но Шолохов, как правило, уничтожает свои черновики.

Вон он идет по станице, с кем-то беседуя, шутит, рассказывает что-то веселое, – казалось бы, рукопись на время забыта. Но глаза нет-нет и прищурятся, вглядываясь во что-то, видимое только ему одному, и он неожиданно говорит:

– Извините, пойду поработаю.

Он не успокаивается даже после того, когда книга давно дошла до многих миллионов читателей. Мы видим тысячи новых исправлений в томах «Тихого Дона» и в «Поднятой целине». Все возрастающее чувство требовательности к себе заставляет писателя не торопиться с изданием рукописи. Только когда десятки раз проверено каждое слово, когда уже не вызывают сомнений образы созданных героев, до мелочей продуманы все события, он решается, наконец, на опубликование глав, но лишь для того, чтобы еще раз проверить их у читателей, прежде чем включить в книгу.

Мы все читали эти главы, напечатанные несколько месяцев назад и на исходе декабрьских дней 1955 года. Читаем их в «Правде» сегодня, в первый день Нового года, и верим в

хорошее предзнаменование, что в 1956 году Шолохов чаще будет радовать нас своим ярким и сочным словом.

Станица Вешенская, где Шолохов постоянно живет, находится в полутора километрах от железной дороги. Но он не чувствует оторванности ни от большой жизни шумной Москвы, ни от самых отдаленных уголков мира. Ежедневно вешенский почтальон приносит ему пачки писем, которые не остаются без ответа. Отрывая время от работы над рукописью, Шолохов со свойственными ему искренностью и участием отвечает на вопросы, волнующие людей.

Ширится на Востоке и Западе круг друзей Советской страны, и Михаил Шолохов – самый большой писатель нашего времени – говорит из своей Вешенской о том, что наступила пора для прогрессивных писателей всего мира сесть за общий стол, чтобы обсудить назревшие проблемы литературы и сообща наметить пути и возможности ее дальнейшего роста и служения человечеству.

И многие зарубежные писатели с радостью откликаются на его призыв.

Шолохов – не большой любитель новогодних «допросов», но, зная их неизбежность, делится своими мыслями.

– Что вы считаете, Михаил Александрович, наиболее интересным из литературных новинок?

– По-настоящему, – говорит он, – радуют книги Н. Чуковского² «Балтийское небо», Л. Обуховой³ «Глубынь-Городок». Год по литурожаю не очень богатый, но кто же из нас не ждет лучшего?

– Каковы ваши планы в новом, 1956 году?

– Вплотную подошел к концу последней книги «Поднятой целины», – говорит Шолохов. – Кое-что из ранее написанного требует переделок. В первой половине этого года книгу сдам в печать. С осени буду работать над окончанием первой книги «Они сражались за Родину».

Мы знаем, что страницы, вышедшие из-под шолоховского пера, будут страницами самой жизни, которые не потускнеют и не сотрутся от времени. И терпеливо будем их ждать, пожелав автору самых больших творческих успехов в наступившем новом году.

Станица Вешенская

В. Коротеев, В. Ефимов На Дону

Нынешней весной половодье на Дону было необычайно могучим. Широкий разлив реки нарушил даже паромную переправу, так что иным станицам и хуторам почту сбрасывали с самолета. Сонная летом речушка Иловля и та словно взбесилась и наделала много бед – затопила станицу, ворвалась в улицы, во дворы.

Уже середина июня, а Дон еще не везде вошел в свои берега. И нигде не сыщешь моста, всюду только паромная переправа. Часто приходится в эти дни слышать на переправах, как обозленные шоферы ругают последними словами дорожные отделы. Да и как не ругать! Целые табуны груженых машин стоят в ожидании парома. Сколько тратится драгоценного времени!

Свирепеть есть от чего не только на переправах. Что ни мост, то обязательно объезд. Мосты чаще всего лишь плохая декорация – один рухнул, другой покривился.

– Мосты у нас – гроб с музыкой, – невесело шутил председатель Михайловского райисполкома Дмитрий Трошенков, когда мы рассказали ему, что творится на переправе через Медведицу возле Михайловки.

Дорога идет вначале по-над Доном, а за Усть-Хоперской она уходит в степь. Мы едем уходящим далеко к горизонту старинным шляхом, который называют здесь Гетманским.

Знойный день, спят рассыпанные по степи сторожевые курганы. Ветерок несет крепкий запах полыни и чабреца. Белеют вдаль придонские горы. По обе стороны дороги стелется безбрежное море хлебов. Там и сям вздымаются небольшие облака пыли, – это трактористы пахут пары. Нынче за пары взялись дружно, хотя и поздно; уроки прошлого года, когда паров было вспахано очень мало, не пропали даром...

Прекрасна нетронутая природа, но еще краше земля, возделанная трудом человека. И наверное, ничто так не оживляет однообразие степи, как вдруг возникающие в мареве знойного июньского дня ослепительно белые хаты под новенькими зелеными кровлями, густые сады и левады, пирамидальные тополи, стоящие над хутором, как часовые.

Но кажется, нет здесь мест краше тех, где Дон принимает в свои объятия тихую Медведицу. На высоком правом берегу белеют кварталы домов города Серафимовича. Внизу, под горой катит воды река. Она кажется неподвижной, застывшей. Светлая гладь воды не шелохнется, игрушечными выглядят на ней лодки рыбаков. Тишина до звона в ушах. А там, в левобережье, – уходящие к горизонту необозримые лесные чащи, изумрудные ковры лугов. Река, ее заливы – раздолье для рыбаков.

Много новизны сегодня на Дону.

Новое – это возвращение в колхоз людей, в свое время ушедших в город. В станице Голубинской, выше Калача, вернулись в колхоз три десятка семей. Немало прибавилось людей в логовских, иловлинских, калачевских, кумылженских колхозах.

Мы встречались с председателями многих артелей и узнавали в них посланцев города – тридцатитысячников.

Новое – это выдача авансов на трудодни раз в месяц или в квартал. Новое – зеленые квадраты кукурузных посевов, молодые сады и свежие изгороди вокруг старых, запущенных, одичалых садов.

Новое – это срубы домов, изготовленных лесхозами по заказу колхозников и уже привезенных на усадьбу. Все больше и больше донские хутора и станицы захватывает стройка. В одном лишь Логовском районе сооружает дома более ста семей колхозников. Проезжаешь хутором или станицей и видишь то целую улицу новеньких домов, то свежие каркасы будущих жилищ.

Новое – это виноградарство, которым все более увлекаются и колхозники, и рабочие, и учителя всюду – от Сталинграда до Калача и от Калача до Серафимовича.

В прошлом году здесь был славный урожай. Пожилой колхозник с хутора Березки, что стоит в зелени садов на левом берегу Дона, против города Серафимовича, говорит о растущем достатке. Только деньгами многие колхозники получили по 15–20 тысяч рублей.

– Все теперь захотели строиться, – сказал он.

Хутора и станицы Дона живут в эти дни ожиданием нового урожая.

По дороге из Серафимовича в Вешенскую нас захватил проливной дождь с грозой. Заиграли бегущие к Дону бесчисленные овраги и ерики. Гетманский шлях заблестел лужами, размяк, ехать стало труднее, не раз приходилось вытаскивать машину из грязи. Путешествие замедлилось. Но зато какое это на диво красочное зрелище – июньская степь после дождя! Лучи солнца осветили неоглядные поля посевов, темные купы разбросанной по равнине дикой яблони и терна. Светлая зелень на макушке степного кургана выглядит такой ласковой и теплой, что курган хочется погладить ладонью.

А потом встала над степью радуга. Один конец ее упал где-то в синей задонской дали, там, где бежит Хопер, другой – в спокойную гладь Дона.

Но можно ли написать о красоте степи ярче, нежели творец «Тихого Дона» и «Поднятой целины»? Как не вспомнить такие строки: «Дивно закрасовалась под солнцем цветущая, омытая дождями степь. Была она теперь, как молодая кормящая грудью мать – необычно красивая, притихшая, немного усталая и вся светящаяся прекрасной, счастливой и чистой улыбкой материнства».

И вот уже видна Вешенская. Чтобы попасть в нее, надо у хутора Базки, там, где Дон образует дугу, переправиться на левый берег. Катер «Быстрый» тянет паром вверх по Дону; через пятнадцать минут он подводит его к вешенскому причалу.

– Вон там дом Шолохова, – показывает нам паромщик. – От пристани рукой подать.

Поднимаемся по взвозу к центру станицы. Жаркий день. Женщины несут на коромыслах воду из колонки. Пожилой казак останавливает одну из них и припадает пересохшими губами к ведру. Мы следуем его примеру и с наслаждением пьем холодную вкусную воду из Отрога, – так называется родник за станицей, откуда проложен водопровод.

Города и села, так же как и люди, имеют свой характер. У Вешенской, просторно расположившейся на песках левого берега Дона, заметна большая склонность к чистоте и аккуратности. В ней много зелени. На каждой улице – свежесмытые дома, новенькие крыши. Далекая от железных дорог, старая казачья станица, израненная войной, сегодня строится. Новые здания райкома, почты, универмага, новые жилые дома. Белый под зеленой крышей дом у крутояра, – здесь живет Михаил Шолохов. В доме во все стороны такие широкие окна, словно хозяин хочет видеть отсюда весь мир. Здесь он дописывает вторую книгу «Поднятой целины». Здесь рождается новый роман Шолохова – «Они сражались за Родину».

Знакомая для многих зеленая калитка шолоховского дома. Открываем ее и входим во двор. По склону к реке – молодой фруктовый сад, огород. Навстречу идет хозяин. До чего же знакомое лицо! Широкий крутой лоб, нос горбинкой, светло-серые внимательные глаза. Одет по-домашнему – безрукавка, чупяки на босу ногу.

Михаил Шолохов протягивает руку:

– Каким ветром?

Он приглашает нас к широкой зеленой скамейке, что стоит в нескольких шагах от двери в дом. Усаживаемся, и сразу же завязывается непринужденный разговор. Передаем приветы от знакомых ему сталинградцев.

Писатель хорошо помнит знакомых ему людей, живо интересуется их судьбой. Вспомнил одного областного работника, отличавшегося этакой холодной «правовойностью». Позже выяснилось, что этот человек скрыл кое-что в своей биографии.

– Может, отсюда-то, – замечает Шолохов, – и идет его «правоверность». «Ортодоксы» чаще всего из таких...

– На днях вернулся из Москвы, – рассказывает он. – Пока ездил, накопилась почта. Наконец, разобрался, ответил на письма. Теперь собираюсь отдохнуть денька два на рыбалке, посазанить, покормить мошку.

– На Дон?

– Нет, на Хопер. Там потише. На Дону развелась тьма рыбаков, а я, грешный, люблю тишину: можно и рыбу ловить, и хорошо думать. Поэтому лучше на рыбалке быть в компании с человеком неболтливым. У меня есть такой знакомец, умеет молчать.

Любовь к тишине, когда можно «хорошо думать», заставляет писателя подниматься рано утром.

– В четыре утра я уже на ногах, – говорит Шолохов, – за письменным столом. В доме тихо, на Дону не слышно ни пароходного гудка, ни стука мотора на паромной переправе.

– А сладкий зоревой сон? – спрашиваем мы. – Помнится, в «Тихом Доне» читали мы о нем.

– То была молодость, – отвечает он, – а теперь зоревой сон сменился старческим беспокойством...

Да, писатель уже не молод, ему пошел шестой десяток. Неумолимое время делает свое дело: заметно поседели волосы и кончики ровно подстриженных усов. Но все это лишь внешние приметы возраста, а сил, чувствуется, у писателя хватит, что называется, на десятерых. Молодо блестят глаза Шолохова, неистощим его юмор.

Спрашиваем, есть ли у него средство от мошки и комаров. На Дону они не дают житья.

– Терпение, – говорит он. – Другого средства я пока не знаю...

Рассказывает, что в этом году хорошо ловится сазан, но вот беда – совсем перевелись в Дону окунь и бирючок (разновидность ерша).

– Исчез наш бирючок, – огорчается Шолохов. – Я особенно жалею о нем. Маленький и колючий, подлец, но хорош в ухе. Уха из него может соперничать со стерляжьей.

Говорит, что в Дону развелось много синьги, – этакая плоская, как лещ, жирная, но страшно костлявая рыба.

Рассказывает Шолохов увлекательно, пересыпая свою речь шуткой, острым, сочным словом. Улыбка светится в глазах, на всем лице. Мрачнеет, когда слышит о неприятном. Колочие слова, иронические реплики.

– Как вам нравится Вешенская? – спрашивает он нас.

Возникает оживленный разговор о судьбе районного центра. По словам Шолохова, проблема районного центра – это не коммунхозовская, а сугубо человеческая проблема. Ведь дело касается устройства жизни миллионов советских людей. Стоит изучить, кто тут живет, откуда приехал, кто здесь осел.

– Если возьметесь за это, – говорит он, – не будьте торопыгами, внимательно всмотритесь в жизнь районного городка или села. Очень злободневная тема... В особенности интересно изучить жизнь таких районных центров, где нет промышленности.

Возьмем, к примеру, Вешенскую, в ней самое крупное предприятие – рыбколхоз. Да лесоопытная станция, кстати сказать, бог весть чем занятая. Вы не узнавали, сколько в Вешенской или Серафимовиче служащих? Это любопытно. Посмотрите, чем заняты иные жители районного центра, как они живут. Меня удивляет, откуда в районных центрах такое множество праздных и полупраздных людей.

Раньше Вешенская и Боковская станицы да хутор Базки находились в составе одного района, и, кажется, не было недостатка в руководстве. А теперь это три райончика, в том числе Базковский, вон тот, на правом берегу Дона, всего в трех километрах от Вешек... Что это за район, в котором двенадцать – пятнадцать хуторов, несколько колхозов? А подсчи-

тайте, сколько в каждом районе служилого люда. Сотни! Если сопоставить его численность с теми, кто занят производительным трудом, так получается по известной поговорке: один с сошкой, а семеро с ложкой.

Если укрупнить сельские районы, представляете, сколько людей освободится для более полезной работы. Сама жизнь, – а она лучший учитель, – подсказывает, что это стоит сделать...

Шолохов называет еще одну проблему, которая волнует его:

– Наша придонская степь невероятно меняется на глазах. Она, словно плетью, исполосована оврагами и буераками; число их с каждым годом быстро растет, сокращаются наиболее плодородные пахотные угодья и выпасы. Овраги портят дороги, заиливают пруды и лиманы. Дело в том, что придонская степь не представляет собой гладкой равнины, она поката. Вешние воды и дожди смывают плодородный покров, а борьбы с эрозией почвы не ведется. С тревогой я думаю, что же будет со степью через 10–20 лет?

Не понимаю, – продолжает писатель, – почему наши ученые и практики не бьют по этому поводу тревогу. Проблема оврагов, по-моему, необычайно важна для придонской, да и заволжской степей.

Видно, что писатель-депутат хорошо знает жизнь сельского района, что депутатские общественные дела приносят ему немало забот, волнуют его. Мы видели на рабочем столе писателя груды только что распечатанных писем. Шолохову пишут отовсюду. К своей депутатской почте Шолохов относится с глубочайшим интересом. И как бы много ни было обращений к нему с просьбой помочь в чем или просто посоветовать по житейскому делу, Шолохов обязательно ответит на каждое письмо. Не потому ли так часто мы слышали о нем на Дону доброе слово людей, знающих его не только как своего любимого писателя, но и как своего депутата.

Писателя волнует все, что касается жизни советского человека. Михаил Шолохов, депутат сельского Совета, близко к сердцу принимает все, что делается в станице, и более всего – нужды молодежи.

– Недавно, – рассказывает он, – получил письмо от четырех девушек из Ленинграда. Поступали в институт, – не сдали экзаменов. Спрашивают, как им быть. Насчет целины и Дальнего Востока можете, мол, нам не писать, это мы сами знаем. Привыкли жить на отцовских и материнских хлебах. В деревню ехать не очень хотят... Мало ли таких случаев? И вот я думаю, что нередко виноваты не столько девушки и парни, сколько их сердобольные родители. Папаша и мамаша иной раз из кожи вон лезут, лишь бы сынка или дочку в городе пристроить как-нибудь. У крестьянина ведь ко всему подход практический, даже потребительский. И к знаниям своих детей тоже. Ведь как рассуждает он? Я сам всю жизнь быкам хвосты крутил. А вот теперь дочка получила образование, почему же она работать должна в колхозе... Для чего же учили мы Нюрку или Петьку? За скотом ходить? Нет, уж пусть лучше сидит дома, а там, может быть, и найдется работа где-либо в учреждении!

Шолохов снова и снова возвращается к мысли о молодежи. В Вешенской для нее есть и кино, и Дом культуры, и лодочная станция, и пляж, и самодеятельность. А возьмите дальние хутора. Почему туда с неохотой едут молодые люди? Дело не в материальном расчете. Их пугает бедность культурной жизни: нет библиотеки, клуба, кино раз в месяц.

Шолохов расспрашивает нас, что мы видели в пути. Говорим, что донские станицы и хутора строятся, хорошеют.

– И в Вешенской, – замечает писатель, – строятся.

Он знает всех, кто строится и как строится.

– Строит хорошо тот, кто хоть немного может тюкать топором. Пора бы сельскому району иметь силу, способную строить добротные и красивые дома.

Завязывается беседа о сельской архитектуре и планировке, о безвкусице. Кое-где в районных центрах возводятся двух- и трехэтажные жилые дома. Неплохо как будто, вид совсем городской. Но что значит двух-трехэтажный дом в селе? Нет парового отопления, стало быть, носить дрова наверх. Нет водопровода, – таскай воду на третий этаж. А погреб, садик, огород?

Трехэтажный дом на селе, даже если оно и районный центр, – благоглупость чиновников с ограниченным провинциальным вкусом. Проекты таких домов порождены равнодушием к людям, привычкой мыслить и делать все по стандарту.

– При нехватке вкуса можно испортить всякую хорошую затею. Возьмите, например, наглядную агитацию. Нужное дело. Но что иной раз получается? Не раз видел в городах и станицах щиты со стародавними лозунгами и призывами чуть ли не на каждом заборе, немало плакатов унылых, однообразных и на дорогах. Зато почти нигде не встретишь указку, куда ведет та или иная дорога. А кое-где не в меру усердные агитаторы исписали и стены домов. – И, смеясь, добавляет: – Боюсь, как бы такая агитдекорация не проникла в места рыбалок и охоты...

Заходит разговор о кинофильме «Тихий Дон». Мы только что прочли в казенной областной газете информацию о предстоящих съемках такого фильма. Шолохов недавно познакомился со сценарием фильма и высказал несколько замечаний.

Он никак не согласен, например, с концовкой сценария. Из трагического конца Григория Мелехова, этого мечущегося искателя правды, который запутался в событиях и разошелся с правдой, сценарист делает счастливый конец.

– Вот вы – отец, – говорит писатель одному из нас, – у вас сын пяти или шести лет. Вы его долго не видели, после разлуки встречаетесь и, наверное, по-мужски крепко обнимаете так, что тому становится немного больно. А в сценарии Григорий Мелехов сажает Мишатку на плечо и идет с ним куда-то в гору. Так сказать, символический конец: Гришка Мелехов поднимается к сияющим вершинам коммунизма. Вместо картины трагедии человека может получиться этакий легкомысленный плакат...

Многих, дорогих автору романа картин в сценарии нет. В романе есть персонажи невымышленные, а сценарист, не учитывая этого, произвольно заменяет одного героя другим. Скоро как будто начнутся натурные съемки, а ни сценарист, ни актеры еще не знают донской станицы и хутора, их людей, обстановки, в которой жили и боролись герои «Тихого Дона». Поневоле создается впечатление, что постановщики фильма увлечены в первую очередь не изучением людей, а внешней стороной казачьего быта – чириками, мундирами и прочим. Не обходится и без курьезов: в казачьем курене, например, оказываются полати, характерные для русской избы.

Шолохов вспоминает рисунки Ореста Верейского к «Тихому Дону». Они выразительны и правдивы благодаря тому, что Верейский пожил на Дону, посмотрел здешних людей и природу внимательными глазами художника.

Уходили от Шолохова, когда над притихшей станицей опустилась ночь. С берега Дона веяло прохладой.

Рассвет мы встречали на палубе парохода «Михаил Шолохов», шедшего вниз по реке. Вокруг открывались чудесные донские пейзажи.

Над Доном поднимался багрово-красный диск солнца, предвещая знойный день. Белевые кручи правобережья казались снеговыми. В безветрии дремали придонские леса, широкие белые отмели манили к себе золотом чистого песка. У крутояров в лодках застыли над удочками сосредоточенные рыбаки: они, казалось, спали. Мерно стучал мотор, и донская волна тихо и ласково вскипала под колесами парохода.

Николай Кочнев ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Из статьи «Мои встречи с Шолоховым»

В 1956 году я начал создавать галерею портретов советских писателей. Мне казалось, что могу снять лучше других, и через некоторое время сделал снимки многих известных писателей, не хватало только фото Шолохова. Узнал номер телефона московской квартиры. Звоню. В ответ слышу: «Позвони в другой раз – я занят делами». Застал его в другой раз. «Уезжаю в Ленинград. Позвони через четыре дня», – сказал Михаил Александрович. Снова звоню через четыре дня. Дома никого нет. Спустя некоторое время узнаю, что Шолохов опять в столице. Дозваниваюсь. Слышу в ответ: «Улетаю в Лондон. Позвони через десять дней». Опять нет Шолохова...

...Сообщили, что Шолохов в Москве. Звоню ему. «Я простудился. Позвони послезавтра», – слышу его голос. Перезваниваю через день. «Я еще не поправился. Позвони послезавтра». Чувствую, что скоро Шолохов уедет из Москвы, и тогда снова возникнет проблема, как его поймать.

Как-то узнаю, что готовится номер «Роман-газеты» с Шолоховым. Обращаюсь к роман-газетчикам... Редактор, ведущая номер Шолохова, говорит, что нашла его фотографию в журнале. Ее они и собираются печатать на обложке... Зачем же повторять уже опубликованное фото, к тому же – из журнала?! Снимок – копия, не оригинал, качество будет неважное. Прошу редактора помочь добыть Шолохова для съемки, пока он не уехал. Не прошло и часа, и: «Шолохов приезжает к нам в «Роман-газету». Подходите к 14.00».

Я приехал раньше. Установил светильники, поставил стул в той же задней комнате, которая и сейчас принадлежит редакции, расположенной на четвертом этаже ИХ Л. Попросил женщин, чтобы как только они увидят Шолохова, поднимающегося на четвертый этаж, взять его с двух сторон под руки и вести в комнату, где я буду его фотографировать.

Так и сделали. Мои помощницы-редакторы взяли Михаила Александровича под руки и разговаривая привели его туда, где ждал я. Мгновенно включил лампы. Я попросил М.А. Шолохова присесть на стул. «Что такое?» – спрашивает он. «Фотосъемка для обложки «Роман-газеты», – отвечаю. – Ведь мы с вами договариваемся уже три года». Деваться некуда. Шолохов присел на стул. Не успел я несколько раз нажать затвор аппарата, как Шолохов вскочил. «Михаил Александрович! Я еще не успел вас снять, присядьте снова...» А народу набралась полная комната. Сотрудники узнали, что приезжает классик. Всем хочется посмотреть на него. Один из сотрудников называет имя критика и говорит, что тот готовит статью о том, как Шолохов работал над «Поднятой целиной». «Что он, под столом у меня сидел? Откуда он знает, как я работал?» – спрашивает Шолохов. Все расхохотались. А я успел дважды нажать затвор «Киева», когда Михаил Александрович повернулся к тому сотруднику.

Портретная съемка продолжалась четыре минуты. Было сделано 13 кадров для портрета.

Вечером 27 января 1960 года я позвонил Шолохову в Староконюшенный переулок. Говорю: «Пробные снимки уже готовы». – «Бери такси, приезжай ко мне. Я тебя жду», – слышу я в ответ.

Минут через 30 я был у него дома. Разложил на столе все 13 вариантов фотографий. Шолохов взял снимок. «Здесь я настоящий казак», – произнес он улыбаясь, держа снимок и разглядывая фото, где он повернул голову в сторону сотрудника, который говорил о готовящейся статье. На этом же пробном снимке он расписался. «Можешь публиковать...»

Трудно мне досталась первая встреча с М.А. Шолоховым и те четыре минуты работы над его портретом. Но самый грандиозный успех выпал на долю именно этого портрета, сделанного в редакции «Роман-газеты» 27 января 1960 года. Когда я вижу новые публикации этой фотографии, всегда становится приятно и радостно на душе. Думаю, не зря добивался встречи с Шолоховым три года, чтобы запечатлеть его.

Капитан милиции В. Жуков В ГОСТЯХ У МИХАИЛА ШОЛОХОВА

Станица Вешенская, где живет и работает М.А. Шолохов, находится в 160 километрах от железной дороги.

По долгу службы мне и подполковнику милиции Голубеву довелось побывать на родине писателя. До станции Миллерово мы ехали поездом, а дальше решили лететь самолетом.

Небольшая комната аэровокзала переполнена. В ожидании самолета мы знакомимся с пассажирами. Большинство из них – жители Вешенского района. Они гордятся своим землем, с удовольствием рассказывают о жизни писателя, о его творчестве.

Наконец, подошла наша очередь садиться на двухместный «По-2». Летим довольно низко. Внизу зеркальной лентой извивается Дон. Минут через сорок самолет приземляется на окраине Вешенской. Выдавший виды грузовик отделения милиции везет нас в центр. Глаз радуют правильная планировка станицы, прямые и чистые улицы, опрятные дома с традиционными ставнями на окнах.

У самого Дона стоит двухэтажный каменный дом, где живет писатель.

На следующее утро Михаил Александрович назначил нам встречу. И вот мы в рабочем кабинете писателя. Это – просторная, скромно обставленная комната. На столе – большая пачка писем, только что доставленная почтальоном. На подоконниках – пакеты разных размеров. В них – произведения молодых писателей, присланные на отзыв. Рассматриваем книги. Среди них видим недавно полученные произведения писателя на китайском языке и языках народов Югославии.

Входит Шолохов. По нашей просьбе он рассказывает нам о работе XX съезда КПСС, о своих творческих замыслах. В свою очередь, мы сообщаем ему об издании журнала «Советская милиция», вручаем последний номер. Внимательно перелистав журнал и несколько задумавшись, Шолохов замечает, что не все еще работники милиции с честью выполняют свой служебный долг.

– Многие милиционеры имеют низкий общеобразовательный уровень, – говорит писатель.

Мы согласились с его справедливыми замечаниями и рассказами о той большой работе, которая проводится по повышению общеобразовательной подготовки сотрудников милиции.

Мы попросили Михаила Александровича написать что-нибудь для журнала.

– В ближайшие месяцы, – сказал он, – я буду занят работой над окончанием «Поднятой целины». А в конце года обязательно напишу что-нибудь и о милиции.

Сопровождавший нас начальник местного отделения майор милиции Воробьев спросил Михаила Александровича о его работе над книгой «Они сражались за Родину».

– Она будет тоже скоро готова, – ответил Шолохов.

Прощаясь с писателем, мы пожелали ему здоровья и новых творческих успехов.

Из беседы с работниками вешенской милиции выяснилось, что многие из них близко знакомы с писателем. Начальник паспортного стола лейтенант милиции Мельников, например, нередко ездит с Михаилом Александровичем в колхозы. Мельников – местный житель, он хорошо знает быт донского казачества.

В органах милиции нет такой библиотеки, где бы не было книг М.А. Шолохова. Мастер художественного слова, тонкий знаток народной жизни, он пользуется большой популярностью. Работники милиции, как и все советские люди, любят замечательного писателя и с нетерпением ждут его новых произведений.

Сергей Герасимов¹ Как создавался фильм «Тихий Дон»

...После «Сельского врача» я четыре года не входил в павильон, занимаясь исключительно Институтом кинематографии. И только после XX съезда партии приступил к своей следующей постановке – экранизации любимого романа М. Шолохова «Тихий Дон». Должен подчеркнуть, что решение это подготавливалось не днями и не месяцами. Достаточно сказать, что в первый раз я предложил экранизацию «Тихого Дона» еще в 1939 году, сразу после «Учителя». Но тогда мне было сказано, что едва ли имеет смысл экранизировать роман, который при всех своих достоинствах выводит на первый план судьбу Григория Мелехова, человека без дороги, по сути, обреченного историей.

На этот раз я получил согласие на экранизацию и вместе со своим коллективом взялся за нее с жадностью. В коротком очерке невозможно сколько-нибудь подробно рассказать историю подготовки и осуществления этой работы. Она продолжалась более двух лет и при всей своей сложности принесла участникам трехсерийного фильма огромное наслаждение. Мы имели дело с первоклассной литературой, где каждый характер, каждая черта его были не только продуманы и высмотрены в самой гуще жизни, но и выстраданы автором, как личная судьба. Вот здесь уж не возникал вопрос о «подогревании» жизненного материала средствами искусственного обострения конфликтов. Гигантский исторический конфликт лежал в недрах самой истории, которую нам предстояло воплотить со страниц этого удивительного романа.

Главнейший вопрос состоял в подборе исполнителей не только главных, но и второстепенных ролей этого необыкновенно населенного сочинения. Как и всегда, немалую помощь оказал мне коллектив, работавший со мной и ранее из года в год, – оператор В. Раппопорт, художник Б. Дуленков, директор Я. Светозаров и ученики мастерской ВГИКа. Работать над сценарием, написание которого Шолохов доверил мне, помогал Ю. Кавтарадзе. А на съемках со мной работали А. Салтыков, Р. и Ю. Григорьевы, Ф. Давлатян и Л. Мирский. Участвовал наш коллектив также и в поисках и подготовке к съемкам множества исполнителей. Была составлена гигантская картотека кандидатур на исполнение самых различных ролей – от царя Николая II до кучера в доме Листницких, но у нас не было еще ни Григория, ни Аксиньи.

Наконец, по решению Шолохова, среди множества кандидатур на роль Аксиньи была отобрана Элина Быстрицкая. А Мелехова все не было и не было.

Само собой разумеется, что прежде всего мы начали поиски на Дону – в Ростове, в станицах. Попадались люди, похожие по темпераменту, но совсем непригодные по внешности, или наоборот. Слитного, цельного образа Григория Мелехова, так скульптурно, точно выписанного Шолоховым, никак не находилось.

И вот, когда мы готовы были уже согласиться на одну в высшей степени приблизительную кандидатуру, случай подсобил нам.

Мы проводили пробную съемку для артиста Игоря Дмитриева, который намечался на роль Евгения Листницкого. Войдя в павильон, я мельком оглядел полутемный блиндаж, где за столом сидели офицеры.

Я обратил внимание на одного из них, еще совсем не сопоставляя его облик с обликом Григория Мелехова. Но очень сильные глаза заставили приглядеться к актеру повнимательнее.

Я ждал, когда он заговорит. И пожалуй, голос-то как раз и решил дело. Это был артист П. Глебов, зашедший на студию мимоходом, с намерением сниматься в эпизоде.

Я попросил ассистентов загримировать его Мелеховым. Это вызвало некоторое недоумение, но так как положение было критическим и мы пробовали самые различные варианты, то никто не стал возражать. В то время пробы актеров на роль Григория проводились по две-три в день.

По-видимому, я и сам не очень-то верил в эксперимент, потому что на другой день совершенно забыл об этой своей просьбе.

И вот утром, придя на студию, я увидел идущего ко мне по коридору Григория Мелехова. Очевидно, в процессе гримировки и одевания артиста ассистенты, костюмеры, гример все больше убеждались в успехе этой затеи. Они теснились позади Глебова, с откровенным любопытством ожидая, какое впечатление произведет на меня этот новый Мелехов. Впечатление было чрезвычайным. Он был похож необыкновенно на того самого Григория Мелехова, который встает со страниц романа для каждого мало-мальски пытливого и заинтересованного читателя. Может быть, здесь сыграли роль иллюстрации, которые постепенно, в различных изданиях сложили облик Мелехова, как если бы это был исторический персонаж.

Процесс создания всякого фильма интересен весь – от начала до конца, но, может быть, самое интересное в нем даже не съемка, а прилаживание актера к роли, поиски совпадений актера-человека с образом. Тут-то и лежит начало художественного успеха. Нам предстояло убедиться в способности Глебова не только найти и обыграть внешнее сходство, но и отыскать в себе все многообразие противоречивых мелеховских черт. Мы закрылись с ним вдвоем в комнате, и Глебов приступил к чтению шолоховского текста.

«Есть! – думал я. – Есть Мелехов! Если в интонации еще не все точно, то главное он понимает. Понимает и добродушие, и иронию, и свирепость, и скорбь...»

Но ликовать было рано – предстояло еще показать нашего нового Григория Мелехова М. Шолохову. И когда пробы были отсняты и мы сели с Шолоховым в просмотровом зале, то после первых же кадров, не желая томить коллектив, Михаил Александрович с необыкновенной легкостью сказал:

– Он. Он живой и есть.

Вот тогда – уже с легкой душой – мы приступили к съемкам.

И опять, как во времена работы «Семеро смелых», или «Комсомольска», или «Молодой гвардии», мы выбрали на места событий – на Северный Донец. Выстроили там, на хуторе Дичинском (где, к слову сказать, в свое время Преображенская и Правов снимали немую версию «Тихого Дона»), дома Мелеховых, Коршуновых, Астаховых, Кошевых, хуторскую церковь. Тут же неподалеку Дуленков поставил усадьбу Листницких со всеми службами. И пошла казачья жизнь!

Молодым казакам предстояло снова сесть на коней, о которых они уже порядком позабыли, надев современные пиджаки и шляпы. Во время подготовки кавалерийских сцен старые казаки корили молодых трактористов и комбайнеров, стыдили их, кивая на актеров и прежде всего на П. Глебова, который к тому времени успел срастись с конем, как истый казачина.

Сейчас, когда все это позади, мы спрашиваем себя: трудная ли это была работа? Да, наверное, нелегкая, если вспомнить, что надо было воссоздать казачью конницу, окопы Первой мировой войны, сцены в Петербурге, на станциях железных дорог, в Закарпатье, в казачьих станицах. И все же легкая! Потому что вся она была интересной для всех ее участников, интересной с начала до конца. Не было ни одной пустой сцены, где режиссеру приходится мучительно думать – как извлечь из пустоты нечто, как высечь из мякины живую искру, что еще так часто случается в кинематографе.

И вот наступила пора, когда мы повезли первые две серии «Тихого Дона» к Шолохову в Вешенскую. Из Ростова полетели на самолете – была весна, распутица. Сели неподалеку от станицы, прямо в чистом поле, за огородами.

А когда добрались до станичной площади, увидели картину необыкновенную. Станица буквально переполнилась людьми всех возрастов. Съезжались целыми семьями, толпились вокруг станичного клуба. Просмотры должны были проходить круглосуточно – столько собралось людей, желающих посмотреть «Тихий Дон». В битком набитом просмотровом зале все новые и новые зрители смотрели фильм, а на улице, прямо на площади, обсуждали.

Каждая новая работа завершалась встречей со зрителями. Но должен сказать, что ничего подобного по обширности встреч, по живости и приметливой остроте зрительских выступлений мы никогда не переживали до этой поры.

Три дня мы жили среди героев своего фильма, спали по два-три часа. О чем только не переговорили, ну и пировали, конечно.

В апреле 1958 года сдали третью серию, и надо было начинать думать о новой работе. По замыслу это была история генерала Паулюса, которую я, между прочим, рассказывал Шолохову и которую он горячо одобрил. Это должна была быть совместная постановка с киноработниками ГДР, но ей не суждено было осуществиться. И я начал работать над фильмом «Люди и звери». Началом этой картины послужило партийное собрание во ВГИКе, посвященное одному из педагогов. Он был в немецком плену, побывал в гитлеровских лагерях и после скитаний по разным странам вернулся на родину. А теперь восстанавливался в партии.

При всей безыскусственности и простоте рассказа он произвел на нас очень сильное впечатление. Тамара Федоровна в ту же ночь последовательно записала весь рассказ и задумалась о его возможной экранизации. И вот через несколько недель она положила мне на стол свое либретто, где история человека, потерявшего родину, переплеталась с историей ленинградской блокады, где ведомые нам судьбы послужили прототипами героев фильма. Желание написать сценарий по этим материалам возникло у меня сейчас же, но я еще не был уверен, что сам буду ставить его.

Однако уже в процессе написания мне стало очевидно, что это и есть моя следующая работа. И когда я закончил сценарий, то уже отчетливо представлял себе, как разойдутся роли, имея в виду учеников нашей мастерской.

И опять предстояли поиски исполнителя главной роли. И опять помог случай...

Как бы то ни были важны для создания кинокартины сценарий и подготовительный период, судьба фильма все же решается на съемках. Правда, каждый режиссер справедливо скажет: если нет хорошего сценария, то даже самый гениальный художник не сделает нечто из ничего. Но известно также, что все лучшие замыслы сценариста и режиссера, все усилия коллектива могут быть сведены к нулю непродуманной, ленивой или бесталанной работой режиссера на съемке.

Съемка подобна сражению, какое проводит полководец по заранее продуманному плану, со всей надлежащей подготовкой. Однако в каждом сражении предусматривается и противник, его противостоящая воля. От режиссера, ведущего съемку, требуются ясность ума, живость воображения, быстрота ориентации и железная воля для того, чтобы объединить все разнообразные творческие силы в одном месте, в единое время, с единой целью. И наконец, необходимо точное знание своей задачи, страстная увлеченность ею, без чего режиссер-полководец не способен увлечь за собой весь коллектив.

Поэтому, приходя в павильон, режиссер – будь он даже многоопытным художником – испытывает всегда известный трепет, то неповторимое счастливое волнение, какое знает каждый, кто приступает непосредственно к самому творчеству, созиданию.

Он как бы вновь, объединяя силы с оператором, мысленно подсчитывает все свои художественные ресурсы. Их у него немало, и сейчас ему надо распорядиться ими с максимальной строгостью, умением, взыскательностью, мобилизовать и мысли и чувства, взве-

силь и продумать каждую возможность и найти ей наилучшее применение. Опытный режиссер никогда не приходит на съемку без какого-то уже сложившегося, продуманного плана. Однако развитая творческая фантазия неизбежно подскажет ему много нового и в поведении актера, и в уточнении обстановки, и в построении кадровой и монтажной композиции. Все это порой невозможно представить себе и учесть вне самого павильона.

Попробую восстановить в памяти съемку одной из сцен фильма «Тихий Дон». Это сцена возвращения из лагерей Степана Астахова. Сцена снималась одной из первых, если не самой первой среди ста пятидесяти или двухсот, составляющих трехсерийный фильм по роману Шолохова.

Как выглядела съемочная площадка?

В одном из павильонов Студии имени М. Горького художником Б. Дуленковым была выстроена декорация куреня Астаховых. Прежде чем создать эту декорацию, художник провел несколько месяцев на Дону, зарисовал множество казачьих куреней и снаружи и внутри, со всем характерным убранством. Дом Астаховых Дуленков постарался восстановить в павильоне киностудии, пользуясь и своими непосредственными зрительными впечатлениями от пребывания на Дону и описанием, данным в романе Шолохова.

Разумеется, что декорация была продумана и выстроена сообразно с замыслами постановщика и оператора и не представляла для нас с В. Раппопортом неожиданности или загадки. Но одно – видеть декорацию в эскизе или плане, или даже в макете, другое – войти в нее, как в реально существующий дом, в котором тебе предстоит провести несколько напряженных трудовых дней, а то и недель.

Какие требования предъявляли мы художнику?

Прежде всего живописная выразительность декорации. Она должна стать слитой с жизнью людей, которые населят, обживут, освоят этот дом, имеющий все четыре стены, лишь со специально оставленными просветами для расстановки осветительных приборов.

Кроме того, умелое расположение декорации в пространстве. Декорацию надо расположить так, чтобы можно было снять общий план, то есть дать зрителю наиболее полное и реалистическое впечатление от облика всего жилища.

Затем режиссер и оператор ищут в декорации многообразия съемочных точек: монтажный строй эпизода должен быть подвижен и максимально выразителен. Требуется также выразительность фактур тех материалов (дерево, стекло и т. п.), из каких создана или какие изображает декорация. Очень важно впечатление достоверности и, так сказать, обжитости стен, будь они бревенчатыми или штукатурными.

Если в декорации дома есть печь, то эта печь должна быть сделана так, чтобы в ней можно было разжечь огонь, не театральный, из бумажных языков, поддуваемых вентилятором, а настоящий.

Режиссер и оператор требуют также (тем более когда речь идет о цветной картине) тщательного соблюдения цветовых (не говоря о фактурных) особенностей в отделке помещения, разнообразных деталях убранства, будь то половики, занавески, скатерти, одеяла и т. д.

Художник всегда сверяет декорации с эскизом, но взыскательность режиссера и оператора обычно идет дальше. И опытный художник, если он согласен с общим решением задачи, стремится как можно глубже понять режиссера и оператора и вместе с ними довести декорацию до ее наиболее реалистического, «живого» вида. Эта работа соединяется с процессом освоения съемочной площадки: и пока художник «доводит» павильон, режиссер и оператор приступают к разработке сцен.

В данном случае нам надо было найти и последовательно выразить следующие условия сцены: Аксинья, страстно и слепо влюбленная в Григория Мелехова, ждет возвращения мужа и предстоящей расправы.

Аксинья – глубокий и цельный характер, которому не свойственно при столкновении с жизнью прятать голову под крыло. Она не ждет чуда, а реально смотрит на свою жестокую участь. И все же в эту страшную минуту она счастлива своей любовью, какой исполнена вся без остатка. Она занята хозяйством: подоила корову и теперь, стоя в прибранной кухне, переливает молоко из подойника в крынки.

Нужно оговориться, что к этому времени натурная сцена возвращения казаков, а с ними Степана Астахова из лагерей еще не была снята. Отмеченная в режиссерском сценарии зеленым кружком, она еще ждала своей очереди и должна была сниматься с наступлением лета. Но все мы, работающие сейчас над павильонной сценой, должны были вообразить далекие песни въезжающих в хутор казаков, приближающийся цокот копыт, собачий лай, скрип ворот, возгласы встречающих. А вот тут, перед нами, в своей кухоньке Аксинья. Она не идет встречать. Весь хутор знает про ее позор, и она, готовая ко всему, ждет расправы у себя дома, и для того чтобы успокоить дрожащие руки, занята своим обычным делом, занята бездумно, механически, мысли ее путаются, дwoятся между Григорием и Степаном.

С этого мы и решили начать сцену. Льется молоко из подойника в крынки спокойной белой струей, камера отъезжает, и мы видим уже не только руки Аксиньи, а всю ее, видим выражение ее лица – странное, замкнутое, с застывшей, окаменевшей улыбкой на устах.

Что выражает эта улыбка? Что нужно было рассказать об этом исполнительнице?

Такую улыбку мне не раз приходилось видеть в подобных обстоятельствах в детские годы, в моей деревенской жизни, и эти впечатления решительно и настойчиво пришли на память.

Улыбка эта означала примерно следующее: режь меня, бей до смерти, а счастье мое все равно во мне. В ней и упрямство, и безнадежность, и как бы усмешка над собой, словно бы разговор с кем-то, сидящим внутри тебя: «Ну что, плохо дело?» – «Плохо». – «Ну и пусть, и пропади все пропадом!»

Вот такая улыбка застыла на Аксиньиных губах и не сошла до тех пор, пока ее не раздробил свирепый кулак Степана. Но до этого еще нужно было прожить целую долгую жизнь.

Таким образом, первый кадр был окончательно определен и выстроен нами по принципу неторопливого, как бы наблюдающего и анализирующего приближения глаза объектива к лицу Аксиньи.

Мы, взглядевшись в нее, поняли ее состояние и вместе с нею услышали тяжелый стук кованых сапог Степана Астахова по ступенькам крыльца. И тут камера, как бы вздрогнув вместе с Аксиньей, как бы впервые оценив эту реальную, приближающуюся жестокую опасность, отпрянула от Аксиньи – и мы вновь увидели ее. Она все еще стояла над своей крынкой, держала подойник в руках, но уже помертвела от физического предощущения удара, боли, быть может, смерти... Мы увидели, как ноги ее подкосились, как она медленно опустилась на лавку.

На этом кончился первый кусок сложной монтажной фразы. Степан Астахов поднимается на крыльцо дома, входит в сени, тоскливо через стекло взглядывает на улицу, где весело и счастливо встречают казаков жены, дети, старики, отцы, матери. Он знает об измене Аксиньи и медлит переступить порог родного дома.

Но вот он, пересилив себя, оборачивается к двери и рывком открывает ее.

Павильон-кухня в доме Астаховых. Степан, склонясь под притолокой, перешагнул порог и, еще держась за скобу, выпрямился во весь свой крупный рост, смотрит на жену. Глаза его покраснели от бессонных ночей, пшеничные усы мелко дрожат.

И следующий кусок: Аксинья, не оборачиваясь, опершись о стол, смотрит куда-то мимо словно незрячими глазами, и все плывет на ее губах странная, затаенная улыбка. «Ну,

Аксинья...» – говорит Степан, не отводя взгляда от жены, и тяжело ступает по скрипучим половицам.

И Аксинья, с трудом разлепляя губы, как во сне, произносит: «Не скроюсь, согрешила я перед тобой, бей, Степан».

Степан приближается, заносит руку словно бы для удара, но еще удерживается, не спешит с расправой. Он только снимает фуражку с головы и, как будто погрузнев, с опущенными плечами идет прочь, в горницу, и по тени видно: снимает там с себя шашку, вешает на гвоздь, подходит к широкой кровати и тяжело рушится на нее. Аксинья остается все в той же позе у стола, словно прислушиваясь к мыслям, беспорядочно мятущимся в голове.

Вся эта монтажная фраза снимается двумя кусками, которые позже нам предстоит разрезать и воссоединить в сложном монтажном порядке.

Первый кусок выстроен так, что центр его действия, смысловая ось, – фигура Степана, его лицо, его глаза. Смысловой осью другого куска является Аксинья – ее фигура, лицо, глаза.

Мы ведем съемку цельными, так называемыми сквозными кусками, чтобы не дробить работу актера, дать возможность ему наиболее полно прожить все смысловые и эмоциональные моменты. Съемка сквозными кусками облегчает и работу оператора, занятого выстраиванием кадра и установкой света.

Первая монтажная фраза, таким образом, закончена. Следующая фраза: Степан Астахов лежит на своей постели, лежит, как свалился, в пыльных сапогах, с тяжким, свинцовым выражением глаз.

Что нам нужно подчеркнуть сейчас?

Хозяин вернулся, а дом – чужой. И вот мы ставим камеру так, чтобы поместить Степана как бы во главе угла, основанием которого является общий вид комнаты с дверью на кухню, где заметна тень Аксиньи. В красном углу комнаты – иконостас, на одной стене – шашка, на другой – парадный мундир Степана, по углам стоят сундуки. Все говорит о житье-бытье хозяина, и во главе угла он сам, отвернувшийся от комнаты, обращенный лицом к киноаппарату так, что голова его со взлохмаченными, слепившимися волосами занимает целую треть экрана.

Как же достичь такого эффекта?

Вот тут вступает в действие новая сила, имеющая чрезвычайное значение в режиссерской и операторской разработке кадра, монтажного куска, монтажной фразы, – оптика.

Всякий фотограф-любитель знает, какую силу представляет оптика в отображении мира средствами фотографии. Фокусное расстояние объектива – это не только техническое условие съемки. От него зависит специфика художественного отображения и, если хотите, то или иное осмысление зрительного образа.

Если сличить кадры, снятые оптикой с фокусным расстоянием 75 или 100 миллиметров, и кадры, снятые объективом с более коротким фокусным расстоянием – 25 или 18 миллиметров, то разница между ними огромная.

В первом случае, даже при достаточном отдалении от объекта, угол зрения получается очень суженный, и в кадре почти нет глубины. Резкость изображения сохранена только в плоскости самого объекта, а все остальное оказывается как бы в тумане, и чем глубже фон, тем более расплывчаты контуры.

Напротив, короткофокусные объективы способны при чрезвычайно широком угле зрения воспроизводить с максимальной резкостью всю глубину объекта наблюдения. Киноаппарат в этом случае приобретает зрительную способность молодого здорового глаза.

Другое дело, что широкий угол дает некоторое искажение перспективы. Однако если горизонт и расстояние от объекта выбраны правильно, искажение это может быть почти незаметно.

В иных случаях для усиления эффекта режиссер и оператор даже сознательно прибегают к искажению, как бы обострению перспективы, и достигают таким образом большей экспрессии, большей выразительности в композиции кадра.

В нашей съемке такое обострение имело место, и, повторяю, доминирующим элементом кадра оставалась голова Степана, вместилище всех его тяжелых дум.

Но вот он вздохнул устало и проговорил охрипшим голосом: «Не стряпалась ишо?»

Голос Степана долетел к Аксинье как будто сквозь пелену сна. Прежде чем понять смысл вопроса, она услышала этот голос, ударивший ее, словно гирей по темени. Какова же должна была быть ее реакция?

И опять в памяти возникла где-то когда-то виденная, полузабытая картина, и показалось единственно правильным подсказать актрисе такое действие: прежде чем понять, что спросил Степан, она услышала голос, восприняла его как удар в голову, схватилась за голову, потом закрыла руками рот, боясь, что вырвется произвольный вопль, и только уж затем овладела собою и произнесла негромко, все с той же вновь возникшей затаенной улыбкой: «Нет ишо».

Я привожу этот пример для того, чтобы попытаться проанализировать тот сложный ход мысли, какой неизбежно возникает в процессе режиссуры того или иного драматического куска.

Тут мы имеем дело с многочисленными элементами творчества, где важнейшую роль играет правильное самочувствие актера, глубокое и последовательное понимание им режиссерской задачи и одновременно с этим способность кинематографа запечатлеть актерское действие максимально, подробно и выразительно.

Дальше монтажная фраза развивалась следующим образом. Аксинья, выведенная из оцепенения голосом Степана, бросается к шкафу за хлебом, задевает ногою за подойник, стоящий на полу, пугается металлического звука, подчеркнутого напряженной тишиной сцены, суетится у шкафа. Она достает хлеб, на секунду припадает пылающей головой к холодному стеклу дверцы, кладет хлеб на стол, и все время руки ее, выражая душевное смятение, мечутся бестолково и суетливо.

Но вот тяжело заскрипела в соседней комнате кровать. Степан перемахнул ноги на пол, встал и, скрипя половицами, вошел в кухню.

И мы видим, как Аксинья вновь застыла в той же рабской и упрямой позе у стола, опять ждет удара, и голова клонится, жмурятся веки: сейчас, сейчас ударит!

Теперь мы смотрим на Степана. Он не спешит с расправой; стоит у стола, крестится, тяжело опускается на табурет. Перед ним миска с молоком, ложка, краюха хлеба на столе, нож. Аксинья хватается за хлеб, хочет отрезать кусок для мужа. Степан, не глядя на нее, грубо вырывает краюху, затем отрезает хлеба сам, начинает есть. Ест не спеша, хозяйственно чавкая. Ходят скулы, шевелятся пшеничные усы.

Аксинья, ощутив все неудобство и тяжесть своей позы, разрешает себе опуститься на скамью, но тут Степан ударом свинцового взгляда запрещает ей садиться. Она вновь выпрямляется и стоит в прежней позе, опершись руками о стол, голова ее клонится ниже и ниже, а улыбка все не сходит с губ.

Степан похлебал молока, облизал ложку, аккуратно положил на стол, обтер пальцы.

Мы продолжаем смотреть на него и даже приближаемся к нему, сосредоточивая все свое внимание на свинцовых глазах. Степан делает движение подняться, и камера чуть отступает, чтобы охватить размах могучих, железных плеч и показать, как поднимается его сжатая в кулак рука. Камера еще отступает, и в кадр входит Аксинья, полумертвая от ожидания удара казнящей руки. Теперь в кадре два лица.

Степан говорит: «Ну, расскажи, миляга, как мужа ждала, как мужнюю честь берегла».

Усы его дрожат, глаза натекают бешеными, скорбными слезами. Левой рукой он схватывает Аксинью за ворот кофты, а правой, сжатой в кулак, словно молотом, бьет ее в висок.

От этого удара Аксинья отлетает через раскрытую дверь в сени, рушится под лавку, ударяясь всем телом о стену, так что со стены с грохотом сыплются развешанные на гвоздях тазы, корыто, деревянные решета. Как же нужно было все это снять, чтобы сохранить всю выразительность и достоверность этой сцены и в то же время избежать увечья актрисы?

Тут на помощь режиссеру приходит монтажное кинематографическое действие.

Момент удара снимался следующим образом. После того как Степан, взяв Аксинью за ворот, занес руку для удара, мы прервали съемку.

Следующий кусок снимался с точки зрения Аксиньи, и Степан наносил свой страшный удар в воздух, так что кулак приходился совсем рядом с объективом аппарата. Далее съемка шла с точки зрения Степана. Аксинья отлетела от удара, падая за рамку кадра, где ее подхватили на руки специально поставленные там люди. Однако движение Аксиньи нужно было имитировать со всей достоверностью. Поэтому актрису очень сильно толкнули в плечо, и если бы ее не подхватили в момент падения, то наверняка такое падение стоило бы ей серьезного увечья.

Следующий кусок – актриса уже лежала под лавкой, как бы заброшенная туда могучей силой удара; а мы, продолжая имитировать момент ее падения, ударом в стену сбросили на пол все развешанные на стене предметы.

Если бы теперь посмотреть на экране все эти разрозненные куски в том порядке, как они были сняты, они оставили бы хаотическое впечатление – каждый кусок в отдельности представлял бессмысленное и маловыразительное действие.

Когда же все эти куски выстроятся в продуманную и связную монтажную фразу с точным расчетом всего действия по секундам, с так называемой сквозной энергией действия, эта фраза выразит все содержание действия, весь его темперамент, его прямую физическую силу.

Этот прием может объяснить принцип монтажного действия, к которому кинематографу приходится прибегать в решении динамических сцен, будь то сражение, погоня, драка.

И таких решений, разумеется, было немало в фильме «Тихий Дон», где добрая половина действия связана с войной, с атаками конницы и иными динамическими массовыми сценами.

Как видно из приведенного мною эпизода, способы такого монтажного дробления для последующего воссоединения на монтажном столе требуют кропотливой разработки в режиссерском сценарии и создания на съемке специальных производственных условий, которые по возможности должны исключить какой-либо риск для исполнителей. Хотя все же следует оговориться, что в процессе съемки жизнь вносит иногда свои неожиданные коррективы. Понесет лошадь, напуганная пиротехническим взрывом, увлеченный исполнитель не заметит приближающейся к нему автомашины, кто-то споткнулся и упал, а на него во весь опор летит конница, – таких случаев, к сожалению, немало.

Определенный риск, опасность часто сопутствуют работе киноактера. Именно поэтому актеры кинематографа еще в процессе обучения приобретают навыки в разнообразных физических дисциплинах. Они очень много занимаются акробатикой, легкой атлетикой, боксом, фехтованием и специально обучаются верховой езде, плаванию.

Если в театре, даже наиболее современном, взыскательно относящемся к технике движения актера, в динамических сценах применяются различные условные приемы, то в кинематографе такая условность совершенно исключена.

С этим нам пришлось столкнуться, например, в сцене драки между Степаном и братьями Мелеховыми.

При всех монтажных возможностях сцены необходимо было достичь реальной энергии самих ударов, что далось не сразу. Актеры стеснялись, стремились сделать удары невесомыми, и это продолжалось до тех пор, пока мы в самой резкой, решительной форме не потребовали настоящих, сильных ударов. И только тогда, когда партнеры почувствовали реальный вес кулака, драка приобрела нужный градус злости, ожесточения и смогла стать предметом монтажной съемки.

При решении больших драматических сцен у кинематографа есть еще одно неповторимое преимущество. Это – монтажная детализация действия, способная усилить и обогатить само действие, обострить его силу, придать ему ритмическую точность и красоту.

В сложной монтажной фразе зритель может не заметить ту или иную обогащающую действие выразительную деталь. Но если подробно проследить кусок за куском, скажем, развитие казачьей атаки в фильме «Тихий Дон» или вступление в захваченный австрийский городок, можно будет рассмотреть такие на первый взгляд случайные элементы действия, как мчащаяся навстречу коннице земля (снятая оператором ручной портативной камерой с автомобиля), разрывы падающих снарядов (снятые в разное время, в разных местах, но смонтированные затем в едином нарастающем потоке), и снятый крупным планом бегущий от конницы австриец, и нависшие пики, и вздымающиеся пыль копыта, и подстреленный конь, вместе со всадником рухнувший наземь, и ощеренные рты атакующих казаков, и мелькающие мимо разбитые окна домов, и мечущаяся теперь посреди мостовой фигура смертельно перепуганного, вконец растерявшегося австрийца...

Л. Лубан

Оживающие страницы

На съемках фильма «Тихий Дон»

Много неожиданностей встречает приезжего в Каменске-Шахтинском. Зайдя вечером на почту, он может увидеть высокого бравого сотника в полной форме, с георгиевскими крестами, заказывающего телефонный разговор с Москвой, а у окошечка «до востребования» – увешанного пулеметными лентами матроса в бескозырке, с ружьем за плечами. Рано утром в чайной он застанет совсем молодого человека в шинели царского генерала, мирно беседующего за яичницей и сметаной с оборванным красноармейцем в буденновке и княжистым бордачом в папахе с красным верхом.

А если приезжий спустится к берегу Донца, то попадет в необычный для нашего времени хутор, в котором нет ни электропроводки, ни радиотрансляционных линий, ни колхозных строений, т. е. всего того, что теперь стало для нас обычным и привычным. Но дома, дворы, рыбалка, весь этот хутор, раскиданный по-над Донцом, как и многие из этих странных людей, почему-то кажутся очень знакомыми.

В бывшей станице Каменской ожили знакомые миллионам людей во всем мире герои романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». В конце октября прошлого года сюда надолго прибыл большой коллектив мастеров искусства для того, чтобы перевести на язык кино бессмертные страницы классического произведения советской литературы. С утра до поздней ночи в отстроенном хуторе Татарском в домах и дворах Мелеховых, Астаховых, Кошевого ведутся натурные съемки нового фильма: когда выпадает снег – зимние, когда он неожиданно тает – осенние, а когда наступит весна – начнутся съемки летние и весенние. Съежек много – ведь коллектив одновременно ведет работу по всем трем сериям картины.

Работы такого масштаба и таких темпов, пожалуй, не знает история советского кино. Постановочный коллектив Московской студии художественных фильмов имени А.М. Горького, осуществляющий эту работу, строит ее так, чтобы к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции зритель увидел на экране две первые, а к концу года – и последнюю серию новой картины.

Автор сценария и постановщик фильма – один из крупнейших мастеров советской кинематографии, народный артист СССР С.А. Герасимов. Путь его к «Тихому Дону» не случаен. Советский зритель помнит замечательную эпопею «Молодая гвардия», в которой С. Герасимов показал себя как художник широких эпических полотен, следующий жизненной правде, умеющий создавать типические характеры, яркие, впечатляющие образы.

В небольшом домике заснеженного парка в Каменской, где помещается «штаб-квартира» постановочного коллектива, С.А. Герасимов рассказывает нам о работе над фильмом.

– Мы стремимся, – говорит Сергей Аполлинариевич, – чтобы картина была не инсценировкой романа Шолохова, а ожившими страницами его книги. В сценарии я пытался сохранить все богатство содержания, аромат книги, не обеднить замечательные образы, созданные писателем. Почти весь текст фильма – шолоховский, взят из книги. Мы стараемся сохранить в фильме чудесные пейзажи, яркие описания обстановки, подробности повседневного быта героев «Тихого Дона».

С самого начала работы мы тесно связаны с М.А. Шолоховым. Он внимательно ознакомился со сценарием, планом постановки, принимал участие в выборе исполнителей на ведущие роли, в утверждении эскизов декораций. Все замечания и пожелания писателя учтены в нашей работе.

Этот фильм расскажет о величайшей в истории человечества революции и ее отзвуке на тихом Дону. Он должен показать величественную поступь истории, живое море челове-

ческих страстей, могучее дыхание времени, рождение нового мира, где не было места ни соглашениям, ни примирениям, ни дороги назад, ни третьего пути. Фильм воскресит своеобразные человеческие судьбы, спаянные с простой и мудрой жизнью земли, политой потом и кровью. В фильме, как и в книге, должны сочетаться, как сочетаются в действительности, трагизм, светлая поэзия живой природы, неумирающий юмор и задушевная песня.

В картине более тридцати ведущих ролей и около ста ролей второго плана. В ней будут сняты тысячи людей в огромных массовых сценах. В батальных картинах участвуют крупные войсковые соединения пехоты, кавалерии, артиллерия, моряки Черноморского флота.

Почти все актеры, играющие в этом фильме, выступают в кино впервые. Среди них «старейшей» киноактрисой является, пожалуй, Э. Быстрицкая, которую широкий зритель знает как исполнительницу центральной роли в фильме «Неоконченная повесть». Аксинья – вторая крупная ее роль в кино. Московские актеры П. Глебов (Григорий Мелехов), Н. Смирнов (Петр Мелехов), П. Чернов (Бунчук), Д. Ильиченко (Пантелей Прокофьевич), ленинградец И. Дмитриев (Евгений Листницкий), ярославец Г. Карякин (Кошевой), уральцы А. Благовестов (Степан Астахов), М. Васильев (Христоня) снимаются в кино впервые. Наталью играет оканчивающая институт кинематографии студентка З. Кириенко, деда Сашку – киевский артист Д. Канки, Калмыкова – артист Московского театра киноактера М. Глузский, Штокмана – артист Ростовского театра имени М. Горького В. Шатуновский.

С исполнителями проводится большая подготовительная учебная работа. Многие актеры в манеже учились ездить по-казачьи на лошади, владеть шашкой. Все костюмы, бутылки, предметы обстановки, обихода, детали быта полностью соответствуют времени и месту действия фильма.

Снимает картину один из выдающихся мастеров операторского искусства В. Раппопорт, звукооператор – Дм. Флигольц, художник фильма – Борис Дуленков. Музыка к картине пишет композитор Юрий Свиридов.

В исторические дни сорокалетия Октября миллионы советских зрителей встретят на экранах любимых героев замечательной книги большого советского писателя.

г. Каменск

Петр Глебов, народный артист РСФСР¹ Григорий

Величайшее счастье актера – встреча с ролью, которую в нашем профессиональном обиходе мы называем «роль моей жизни». Можно ведь быть художником, исповедовать самые оригинальные творческие идеи, да так и не встретиться с литературным материалом, который позволит эти идеи воплотить в живом характере.

Мне повезло: я встретился с ролью моей жизни – шолоховским Григорием Мелеховым. Встретился в ту пору, когда, как говорят, «жизнь пошла на второй перевал», то есть исполнилось 40 лет. Меня пригласили пробоваться на крохотный, проходной эпизод белогвардейского офицера из окружения молодого Листницкого, которого играл ленинградский актер Игорь Дмитриев. Я с душой отнесся и к этой маленькой, незаметной работе, потому что это был «Тихий Дон», Шолохов и потому что это был высоко чтимый мною режиссер – Сергей Аполлинариевич Герасимов. Потом говорили, что произошло одно из кинематографических чудес: во мне увидели Григория Мелехова – ни мало ни много.

А чуда не было. Было другое. Герасимов, как это чаще всего у него случается, увидел не типаж, не бесспорную внешность, совпадающую с литературным портретом персонажа, а внутренние качества человека-актера, которые и позволили ему вначале заподозрить, а позже и утвердиться в том, что я смогу быть Мелеховым. Быть, а не сыграть – в том весь «фокус»: шолоховских героев имитировать нельзя. Через два часа после моей кинопробы на эпизодическую роль в «Тихом Доне» Сергей Аполлинариевич мягко, с особым, герасимовским, педагогическим тактом исповедовал меня. И я как на духу рассказал ему о детских годах, проведенных в деревне, о том, как скакали мы мальчишками на конях <...>, как косили росистые клевера, ходили за плугом, любили немногословную и убедительную крестьянскую речь, деревенские песни, ароматы и звуки природы... Герасимов слушал – глаза его теплели, а у меня в душе забрезжила надежда.

И начался долгий творческий экзамен. Не все было гладко. Мое лицо несколько не напоминало «турку» – Григория. Не было и намек на его горбатый нос. Трудно, даже мне самому трудно было представить себя двадцатилетним казаком из хутора Татарского: за моими плечами были годы студийной учебы у Константина Сергеевича Станиславского, работы в театре его имени, добровольный уход на фронт в 1941 году и все, очень взрослые, испытания войны.

Герасимов пригласил гримера Алексея Смирнова, талантливое мастера внешнего преобразования актеров, и сказал ему:

– Алеша, все от тебя зависит... Выдержит наклепленный нос испытание кинокамерой? Будет этот актер выглядеть на двадцать Гришкиных лет? Словом, станет ли Глебов Мелеховым – во многом зависит от твоего искусства, Алеша...

Я знал, уезжая на гастроли с театром, что Герасимов пробует на роль Мелехова и других актеров. Но со мной режиссер вел себя так, что едва заронившаяся надежда росла, крепла, помогла мне и в гастролях думать над ролью, вглядываться в глубины шолоховской сокровищницы.

И вот – вызов в киногруппу... Еду, уже внутренне сотрясаясь от волнения. Сажусь на грим к Смирнову и вижу... Даже сейчас, спустя много лет, вспоминать жутковато... Вижу фотографию одного из самых почитаемых мною актеров – Сергея Бондарчука – в гриме Григория, моего Гришки, без которого, казалось, мне уже и не жить! Завертелись мысли, навязчивые, как осы, и никакого отношения к образу Григория не имеющие. Встал из-за

столика загримированный актер. Мрачно пошел к Герасимову и честно признался, что выбит из творческой колеи.

И вот она – мудрость большого художника и педагога: Герасимов попросил меня в этюдном порядке порепетировать одни из самых темпераментных эпизодов в роли Григория. Белый генерал Фицхелауров старорежимно распекает Мелехова за казачий его анархизм, за недостаток дисциплины у казаков, и Гришка хватается за шашку, а затем, с трудом совладав с собою, предупреждает: «Как бы мои казачки вас не потрепали...»

– Кто будет Фицхелауровым? – спросил я.

Герасимов ответил:

– Вероятно, Рубен Николаевич Симонов. А сейчас – я...

Кто же из нас не знает, какой отличный партнер, артист Герасимов! Мы, как говорится, «связались», схватились глаза в глаза. Мой собственный, актерский, камень, который хотелось своротить с души, стал камнем Григория. Я закончил сцену, трахнув кулаком по столу. Вылетел в коридор, шумно хлопнув дверью. Вернулся и увидел удовлетворенное лицо Герасимова:

– Ну, брат, темперамента мелеховского у тебя хватает, даже с лишком!..

Тут же он вызвал киногруппу, пригласил на репетицию Элину Быстрицкую, исполнительницу роли Аксины, и попросил нас с ней публично экспромтом почитать первую сцену встречи юноши Григория со своей будущей единственной любовью. Я понимал: это экзамен на двадцатилетнего Мелехова, самый ответственный. И если я ухитрился выдержать его с честью, заслуга в том и Элины, и Сергея Аполлинариевича, и удивительных людей из киногруппы – герасимовских единомышленников, которые сумели превратиться из зрителей в заинтересованных соучастников творческого процесса.

Вы спросите, как же «прижился» на моем лице мелеховский нос, созданный пластическим искусством Алексея Смирнова? Впервые в гриме Григория Герасимов увидел меня на лестнице киностудии, остановился, взгляделся и тут же позвал кинооператора Раппопорта: «Гляди-ка. Не Мелехов ли?» Раппопорт почти вплотную рассматривал меня, но, по собственному его признанию, так и не определил, где кончается мое лицо и начинается пластическая подделка. Портрет, созданный А. Смирновым, был признан.

Дальше началась удивительная жизнь в хуторе Диченском, близ станицы Каменской, в восемнадцати километрах от железной дороги, в местах исконно казачьих. Я жил на квартире у старой донской казачки тети Веры, растворился среди местного люда, приобрел повадки типичного донского казака, гутарил распевно, мягко закатывая слова, вжился в донскую песню, самозабвенно ловил рыбу с местными «асами» рыболовецкого дела. Жизненный багаж – деревенское детство, верховая езда, командирский опыт на фронте, умение носить военную форму – помог быстро и легко овладеть премудростями казачьей жизни, веками воспитанной в традициях военного лагеря.

Помню: идут двое и с трудом ведут на распушках горячего, непокорного жеребца. Я залюбовался им. Спросил:

– Куда ведете такого красавца?

– Вам, Петр Петрович, вам купили. Будете на нем сниматься.

Я сел в седло и ощутил себя в стремях увереннее, чем в детстве, на необряженной лошади. Не тут-то было! Жеребец решил оправдать свою кличку Диктатор и показать мне, что старшим в нашем товариществе будет он. Диктатор понес меня в степь, норовя сбросить. Спор был долгим. «Последнее слово» осталось за мной, и полтора года длилась большая наша дружба с великолепным элитным дончаком. С ним мы ходили в атаки, преодолевали препятствия. И все это – без дублеров. «Никаких дублеров не должно быть у Григория», – предупредил Герасимов с самого начала.

Как он оберегал Шолохова, этот удивительный мастер кино! Многие сцены снимались без монтажных «ножниц», только средствами внутрикадрового монтажа, четко выстроенной мизансценой, как в театре.

– Уважим Шолохова и актеров, – просил он оператора. – Не станем мешать органическому процессу. Не будем дробить сцену.

Радостно было сниматься в «Тихом Доне». Режиссер создавал такую атмосферу, что, приходя на съемочную площадку, я тотчас же ощущал не условности кино, но истинную жизнь. Она бурлила вокруг, просилась на пленку. Сама шолоховская земля, казалось, вскармливала наши творческие замыслы. Земляки великого писателя, донские казаки, самоотверженно служили будущей киноэпопее о тихом Доне. Надо было плакать – станичники рыдали безутешно, и это нельзя было назвать киномассовкой – это была подлинная народная сцена. Казак, одетый революционным матросом, которого мой Мелехов должен был зарубить шашкой, просил меня:

– Ударь как следует! Стерплю. Надо, чтоб все было по правде!

Мне сменили настоящую шашку на деревянную ее копию, и я ударил. Казак долго растирал ушибленную руку и улыбался счастливо.

Пригласили на эпизод «Свадьба» сорок станичников. Они пришли в павильон, на киностудию, и завладели им полностью. «Я был здесь зрителем, а не режиссером», – признавался Герасимов. А я увидел, как герои Шолохова живут на его земле, как воспринимаются вовсе не литературными персонажами. Как же тут солгать актеру!

Я прожил с моим героем всю его сложную, невиданно трагическую жизнь. Жизнь человека, нутром своим ненавидящего насилие, войну, а на деле убивавшего столько, сколько хватило бы на десять жизней профессионального военного. Я пережил с ним ужас и горечь при виде утенка, случайно зарезанного косой, и бросил косить, ушел в сторону. И первого зарубленного австрийского солдата оплакал я вместе со своим Гришкой. И хотелось, чтобы меня, убийцу братьев по крови – русских матросов, – «предали земле» вместе с Григорием. С отвращением я бросил винтовку, утопил ее, возвращаясь домой, в хутор Татарский. И никогда не забыть чувства, которое я испытал в сцене прощания Григория с могилой Аксиньи.

Предельная тишина была организована Герасимовым на съемочной площадке. Приготовили все так, чтобы не помешать актеру. Мне дали вволю наглядеться на могилу, погладить сырую землю холмика, подровнять его. И как-то само собой вышло, я собрал в ладонь белые камешки и с любовью выложил их крестиком на могиле. Тут и пришло самое драгоценное: простые физические действия, простые, но верно найденные, вызвали веру в обстоятельства, открыли душевный клапан во мне, актере, а клапан этот оказался мелеховским. Потекли скупые, тяжелые слезы Григория. Тихо-тихо сказал Герасимов: «Мотор!» Едва слышно зашуршала в аппарате пленка, и увековечилась на ней моя актерская звездная минута – неповторимая, недостижимая более...

А потом я видел слезы Михаила Александровича Шолохова. Он смотрел третью серию фильма. Дали свет. И Шолохов трогательно схитрил – сказал, вытирая слезы:

– Ох, Сережа, спасибо: лошадок любишь...

Незабываемы дни премьеры «Тихого Дона» у Шолохова, в Вешенской. Картину крутили круглые сутки – зрительный зал не вмещал толпы желающих, прибывших и из соседних станиц и хуторов. Телеги, бедарки, пешие ходоки – все запрудило двор вешенского Дома культуры.

Вглядываясь в возбужденные лица земляков, Михаил Александрович сказал:

– Мне дорог этот фильм за то, что он идет в дышловой упряжке с моим романом...

И ныне, в дни 70-летия выдающегося писателя, я низко кланяюсь ему за великое счастье моей встречи с таким многообъемлющим народным характером, каким создал он своего

Григория Мелехова. За то, что Григорий оказался моим, главной ролью в моей творческой судьбе. За то, что Шолохов вместе с двумя другими большими художниками, Станиславским и Герасимовым, вошел в мою жизнь, завершив великое триединство, воспитавшее во мне гражданина и художника.

С. Бондарчук¹

«Судьба человеческая – судьба народная»

Режиссер Сергей Бондарчук поставил три фильма – «Судьбу человека», четырехсерийную «Войну и мир» и «Ватерлоо», идущий на экране два с половиной часа. Каждый из них становился событием в искусстве, собирал десятки миллионов зрителей, приобретал широкую международную известность.

Теперь С. Бондарчук приступает к постановке своей четвертой картины – экранизации романа Михаила Шолохова «Они сражались за родину». Уже готов написанный режиссером сценарий двухсерийного широкоформатного фильма, выбраны места будущих съемок.

– Я не считаю себя автором сценария, – подчеркивает С. Бондарчук, – это моя ЭКРАНИЗАЦИЯ. И в титрах будет сказано «Михаил Шолохов. «Они сражались за родину». Ведь это Шолохов создал разнообразные, неповторимые человеческие характеры – вчерашнего агронома Николая Стрельцова, бывшего шахтера Петра Лопахина, колхозного комбайнера Ивана Звягинцева. В трудное для родины время они стали автоматчиком, бронебойщиком и стрелком. А я попытаюсь воссоздать на экране эти характеры, найти стиль постановки, отвечающий шолоховской прозе, исполнителей, которые сумеют пластически выразить образы шолоховского романа.

– Вы второй раз беретесь за шолоховскую прозу, и из четырех ваших фильмов два – экранизации его произведений. Чем привлекает вас творчество этого писателя?

– Михаил Александрович Шолохов относится к тем художникам слова, книги которых читаешь и перечитываешь всю жизнь, потому что каждый раз открываешь в них нечто новое, созвучное твоему сегодняшнему душевному настрою. Его истинно народный талант развивает лучшие традиции русской литературы, идущие от Пушкина, Гоголя, Льва Толстого. Помню, как меня буквально потряс появившийся на страницах «Правды» шолоховский рассказ «Судьба человека». Еще не было ни сценария, ни даже разговоров о фильме, а я уже знал, что отдам все силы души, все творческое волнение, чтобы воплотить на экране это глубоко человеческое повествование о людях, прошедших жестокие испытания и не утративших веру в человека, в свет нашей жизни.

В моей режиссерской и актерской судьбе встреча с Шолоховым сыграла решающую роль. Фильм «Судьба человека» был не просто режиссерским дебютом, а настоящей школой художественного познания народной жизни. И в «Судьбе человека», и в «Науке ненависти», и в романе «Они сражались за родину» Шолохов с удивительной глубиной и силой показал героический подвиг человека на войне. Сейчас, вплотную приступив к осуществлению своей многолетней мечты – экранизации романа «Они сражались за родину», – я вновь и вновь перечитываю опаленные войной страницы этой книги, стараясь постичь духовную красоту героев, проникнуть в их психологию.

Задачи воплощения кинематографом этого произведения – сложности невероятной. В прозе Шолохова такая изобразительная драматическая сила, какой владели Рембрандт, Гойя и Суриков. Такое неистребимое жизнелюбие и юмор, равных которым, как мне кажется, не было и нет в нашей литературе. В первые дни войны, когда появились газетные статьи и очерки Шолохова, Евгений Петров написал о нем: «Это редчайший художник! Подметит деталь, как никто другой, скажет одно слово – и возникнет целая картина».

Рассказывая о народном подвиге, о мужестве и теплоте человеческих отношений, мужской солдатской дружбе, Шолохов проникает в самую суть народного характера, народной психологии, в существо нашего оптимизма, вскрывает нравственные истоки нашей победы. Каждое слово его книги пронизано верой в человека, в неиссякаемые силы народа. Шоло-

хов писал, что в этом романе ему «хочется показать наших людей, наш народ, источники его героизма». И поставленную перед собой задачу он выполнил. Книга Шолохова прежде всего правдива. Без ложного пафоса и ходульного героизма она рассказывает о величии духа советских людей и их воле к победе, о тяжелых буднях и возвышенном порыве, о быте войны и ее героике. Найти достойное воплощение на экране для масштабных событий романа – может ли быть более сложная и почетная задача для кинематографиста?

– Автор не закончил работу над романом, впереди его продолжение. Не создает ли это трудности для экранизации?

– Еще в войну, когда Шолохов был военным корреспондентом «Правды», начали печататься главы из романа «Они сражались за родину». Тогда и обрели жизнь солдаты 38-го стрелкового полка – сто семнадцать человек с двумя офицерами и завернутым в чехол знаменем, которое несет сержант Любченко. Их ведет контуженый командир 2-го батальона капитан Сумсков, принявший на себя командование полком после смерти майора. А когда окончился бой на небольшой высоте у хутора, где было приказано закрепиться и задержать противника, осталось в живых всего двадцать семь человек, и старшина Поприщенко повел их на левобережье Дона. Жестокие сражения этой горсточки бойцов с атакующими фашистами – вот и весь простой сюжет первой части романа. Но удивительно богаты мыслями эти немногие главы, написанные сдержанно, скупой и вместе с тем со всей яркостью и сочностью шолоховского языка. Удивительны образы действующих лиц – каждый со своим характером, речью, складом ума. Не спутаешь сибиряка бронбойщика Борзых, повара Лисиченко, родившегося на Украине, курянина Павла Некрасова...

Когда в 1959 году издательство «Молодая гвардия» собрало опубликованные главы романа в одну книгу, они предстали в отчетливо завершенном виде. И читаются как законченное произведение с внутренним сюжетом, стремительно и резко развивающимся действием, полнокровными характерами и судьбами, за каждой из которых – судьба народа. Михаил Александрович продолжает писать новые части и главы романа, но эта книга уже живет. Ее инсценируют театры – имени Моссовета, Русский театр в Ташкенте и другие.

Книга рассказывает о горьких днях отступления, о том горниле, в котором закалялись и выковывались души людей. «Война – это вроде подъема на крутую гору, – говорит Стрельцов, – победа – там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них – на заднем плане, главное – добраться до вершины во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова поднимаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекают, а подъем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут!» Шолохов раскрывает душу советского человека в тягчайших испытаниях, но показывает людей, не сломленных этими испытаниями. Мы видим их в трудностях почти нечеловеческих, но понимаем, что эти двадцать семь человек – ядро того будущего полка, что выстоит у Сталинграда, отбросит врага от Курска, освободит Варшаву и войдет в Берлин.

– Со времени окончания войны прошло почти тридцать лет. Выросли новые поколения, не видевшие войны своими глазами. Чувствовали ли вы в связи с этим необходимость определенного отбора литературного материала?

– Книга создавалась по горячим следам событий, и военная пора на многое наложила свой отпечаток. Сегодня нужна поправка на время, но отнюдь не из конъюнктурных соображений; потребность эта вызвана общим развитием жизни, новым осмыслением прошлого. С этим согласился и Михаил Александрович. Экранизируя книгу, мы отбираем события, факты, определенные сюжетные линии. И в этом отборе проявляется наше отношение к жизни. Главное в том, чтобы сохранить дух книги, о котором я уже говорил, – дух органического единства советского человека со своим народом, с особой силой проявившийся в годину военных испытаний, в дни, когда решалась судьба страны.

– Вы говорите о масштабности образов и событий романа, о его эпическом характере. Вероятно, это тоже привлекло вас, ибо соответствует вашему художественному стилю.

– Под словом «масштабные» я имею в виду не количество серий и не число полков в кадре, а прежде всего значительность содержания. А значительное, то есть важное для жизни людей, содержание, красота формы, искренность – необходимые компоненты для создания истинно художественного произведения. Есть люди, высокомерно и снисходительно относящиеся к масштабному кино. Любую большую картину они почему-то относят к коммерческому кинематографу, – только потому, что она привлекает людей. Но ведь именно в этом наша сила, ибо если фильм привлеч в кинозалы миллионы людей, то это наша победа. Мы, кинематографисты, нередко кичимся массовостью своего искусства. Но никак не хотим всерьез задуматься о том, что массовое – значит, более других связанное с массовым сознанием. Кино – это зритель. Несчастен режиссер, на чей фильм никто не идет. Кинематографист не может быть эстетствующим, не может ориентироваться на малую аудиторию. А большие, масштабные произведения, связанные с учетом новейшей техники кино, обладают огромным воздействием на зрителя. Мне кажется, главное достоинство нашего искусства именно и заключается в процессе соучастия зрителя (пусть в воображении) в кинематографическом действии. Художник заражает, захватывает зрителей силой своего искусства, энергией своего художественного взгляда и чувства. Ради этого и существует искусство. Лев Толстой считал, что «главное условие драматического произведения – иллюзия, вследствие которой читатель или зритель живет чувствами действующих лиц». Если мне удастся добиться этого в экранизации романа, я буду счастлив.

– Какие средства – режиссерские, операторские, актерские – вы считаете самыми важными для решения художественных задач, стоящих перед вами в фильме?

– Идею крупного произведения киноискусства невозможно раскрыть силами одних актеров, средствами одной лишь режиссуры, мастерством операторов или художников. Ее невозможно раскрыть через одного, даже великолепного актера или через отдельную, даже очень важную сцену. Только совокупность всех этих компонентов и усилий позволяет раскрыть авторский замысел. У Гоголя есть такие строчки: «Нет выше того потрясения, которое производит на человека совершенно согласованное согласие всех частей между собою, которое доселе мог слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силах сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, нежели налюбимейшая опера». Здесь речь идет о театре, но «согласованное согласие» всех компонентов, конечно, должно присутствовать в каждом произведении искусства. А режиссер фильма, как дирижер в большом оркестре, должен, если можно так выразиться, привести все инструменты к согласию, подчинить их одной художественной воле. И этот ансамбль он начинает создавать с первых дней работы над фильмом.

– Что связывает ваш новый фильм с тремя предыдущими?

– Тема, которая волнует меня постоянно. Известно великое пушкинское изречение: «Судьба человеческая – судьба народная». И через «Судьбу человека», и через «Войну и мир», и через «Ватерлоо», и через будущий фильм «Они сражались за родину» проходит эта тема. Меня окрестили батальным режиссером, но это не совсем верно. Во всех моих фильмах кроме баталий есть человеческие характеры, камерные и лирические сцены, и главное – что, несмотря на баталии, все они носят антивоенный характер.

Свен Сторк **Михаил Шолохов в Швеции**

Советский писатель Михаил Шолохов и его супруга, совершающие туристскую поездку по Скандинавским странам, уже несколько дней гостят в Швеции.

Имя Шолохова хорошо известно в Швеции. Здесь неоднократно издавались его замечательные романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Их общий тираж превысил 50 000 экземпляров – цифра очень внушительная для Швеции.

Тепло встретили в Швеции замечательного советского писателя. 27 мая в порту, куда прибыл пароход из Хельсинки, М. Шолохова встречали представители прессы и различных организаций, в том числе Союза писателей Швеции, общества «Швеция – СССР» и Русского института при Стокгольмской высшей школе. Секретарь Союза писателей Гуннар Бергман, в сердечных выражениях приветствуя Шолохова, назвал его великим современным русским классиком.

Позднее днем, выступая на пресс-конференции, М. Шолохов выразил большую радость по поводу того, что после 22-летнего перерыва ему вновь довелось посетить Швецию. Он высказал также пожелание, чтобы контакты между шведскими и советскими писателями и издательствами умножались, и заметил, что Швеции и Советскому Союзу следует расширить обмен литературой, переводить и издавать друг друга больше, чем это делалось до сих пор.

Шведская печать и радио уделяют большое внимание приезду советского писателя. 28 мая М. Шолохов выступил по шведскому радио. Он напомнил радиослушателям о том вкладе, который внесли в мировую литературу шведские писатели Август Стриндберг и Сельма Лагерлеф¹, и подчеркнул, что эта традиция – служить своим творчеством не только шведской, но и мировой культуре – в наши дни продолжена такими выдающимися представителями современной шведской литературы, как Ивар Лу-Юханссон, Харри Мартинсон, Вильгельм Муберг, Муа Мартинсон и Артур Лундквист.

Затем представитель Русского института при Стокгольмской высшей школе, доцент Нильс Оке Нильссон рассказал радиослушателям о жизни и творчестве знаменитого советского писателя. Он назвал Шолохова крупнейшим представителем современной русской прозы и одним из величайших эпических писателей мировой литературы.

Первые дни своего пребывания в Швеции М. Шолохов провел в Стокгольме, где он встретился со многими шведскими литераторами. На завтраке, данном в честь советского писателя издательством «Тиден», директор издательства Альфонс Гидлунд рассказал, что в ближайшее время «Тиден» выпустит новое иллюстрированное издание «Тихого Дона» и что «Донские рассказы» Шолохова также включены в план издания. Он выразил надежду, что вторая часть «Поднятой целины» вскоре будет полностью опубликована по-русски, и тогда шведские читатели также смогут с ней ознакомиться.

На приеме, устроенном в честь М. Шолохова председателем общества «Швеция – Советский Союз» Эрландом фон Хофстеном, присутствовавшие, среди которых были молодые шведские писатели, задали почетному гостю ряд вопросов, на которые он подробно ответил. Вопросы касались творчества самого Шолохова, путей развития советской литературы и условий жизни писателей в Советском Союзе.

По приглашению правления Союза писателей Швеции М. Шолохов 30 мая присутствовал на официальном открытии нового здания Союза шведских писателей в Стокгольме в районе Лилла Хорнсберг. Это здание, сохранившее в своей архитектуре традиции XVIII века, ныне реставрировано и предназначено для шведских писателей и переводчиков.

На приеме после торжественного открытия председатель Союза писателей Стеллан Арвидссон приветствовал М. Шолохова, а Шолохов в свою очередь передал шведским писателям привет от их советских коллег.

После поездки по стране М. Шолохов направился в Норвегию и Данию.

Стокгольм

Беседа М. Шолохова с Д. Стейнбеком

Стокгольм, 2 июля (ТАСС). Более месяца по Скандинавским странам совершал туристическую поездку М.А. Шолохов. Он ознакомился с достопримечательностями Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. Находясь в Хельсинки, Стокгольме, Осло и Копенгагене, М.А. Шолохов имел встречи и беседы со скандинавскими писателями.

Вчера М. Шолохов в Стокгольме встретился с известным американским писателем Джоном Стейнбеком, проводящим в Швеции свой отпуск. В дружеской беседе писатели обсуждали вопросы литературы и творческого общения между писателями разных стран.

Возвращение М.А. Шолохова из заграничной поездки

Вчера из туристской поездки вернулись на Родину Михаил Александрович Шолохов и его жена Мария Петровна.

К приходу поезда на Ленинградском вокзале собрались родные, друзья, писатели, представители печати.

В беседе с корреспондентами «Правды» и «Литературной газеты» М.А. Шолохов сказал:

– Я побывал в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. Страны Скандинавии я посетил вторично, спустя 22 года после первой поездки. Встречался с писателями самых разных взглядов и направлений, представителями прессы, разных организаций.

Было немало дружеских бесед. Пришлось отвечать на множество вопросов иностранных друзей, которые проявляют большой интерес к нашей стране, культуре и литературе. Было немало разговоров и с иностранными издателями. Я советовал им выпускать книги не только известных советских писателей, но и молодых талантливых литераторов, издавать книги, рассказывающие о нашей современной жизни.

Крепко запомнились душевные разговоры с писателями Скандинавских стран по творческим вопросам. Очень доволен своей поездкой.

В Стокгольме встретился и имел продолжительную беседу с известным американским писателем, путешествующим по Скандинавии, Джоном Стейнбеком.

Мне с ходу, с дороги, трудно ответить на многочисленные вопросы. Я суммирую результаты своих впечатлений и поделюсь ими в печати.

В. Крупин В гостях у М.А. Шолохова

Степь, опаленная немилосердными лучами летнего солнца, обветренная суховеями, замерла в забытьи. Ни одна былинка, даже стоящий поодаль куст перекасти-поля, не шелокнется в этот полуденный час. От песчаного берега Дона лениво отходит паром. Обычно тихая и молчаливая, донская волна что-то сердито бормочет, ударяя в борт. На пароме – немногословный разговор.

– Говорят, приехал.

– Да. Пол-Европы исколесил.

– Надо будет проведать.

Речь идет о М.А. Шолохове, недавно вернувшемся домой, в Вешенскую, из поездки по Скандинавии.

За время отсутствия Михаила Александровича в его доме скопились груды почты. На письменном столе, на этажерках, подоконниках – новые издания «Тихого Дона» и «Поднятой целины», вышедшие в Дании, Норвегии и Швеции. В этой почте – и первая книга начинающего писателя из Сибири с трогательной надписью: «На память родному учителю», и просьба иностранного издателя порекомендовать для перевода и выпуска книгу одного из молодых советских писателей («Ваша рекомендация – это все»).

– И когда все это успеть прочитать? – разводит руками Шолохов.

В разговоре писатель вообще скуп, но когда речь заходит о его впечатлениях от недавней поездки, он немного оживает. Больше всего вспоминает Норвегию:

– Этот приветливый и милый народ, эти скалы, застывшие в своей дикой прелести, этот крик чаек над перевалом, эти водопады, низвергающиеся, неисчерпаемые... Наверное, нет в мире места, где можно так отдохнуть, как там!

Тепло и любовно рассказывает Михаил Александрович о встрече с молодым норвежским писателем:

– Пришел он ко мне за советом. «Хочу написать книгу о коллективизации в норвежской деревне». Удивился я, конечно. Оказывается, ему интересно представить, как бы выглядели колхозы в Норвегии. К тому же этой темы никто не касался, да и вообще, дескать, мало интересных тем для писателя. Ну, одну тему я ему подсказал. Из того, что сам там видел. Были мы в гостях у одного хуторянина. Только что похоронил старуху. Большое горе, но горше всего ему то, что к старости, под закат жизни, остался один. Дочери вышли замуж, откололись от дома. И все, что он сделал за многие годы на 12 гектарах суровой земли, – все это теперь ни к чему. Для кого же он сколачивал все это хозяйство? Зачем жил? Такова тема. Пошутил я, что сам за нее возьмусь, если не нравится. Не знаю, станет ли мой молодой норвежский друг писать об этом, но главное он, кажется, понял: темы брать надо из жизни.

Я поинтересовался, собирается ли Михаил Александрович поделиться своими впечатлениями о поездке в печати.

– Путевые заметки? Не уверен. Скорее всего, использую то, что увидел, для литературного труда.

Охотно Михаил Александрович говорит и спорит о нашей литературе, сетует, что некоторые молодые литераторы или неуверенно держат в руке перо, или что этим пером водят не те помыслы, которые отличают настоящего писателя.

– А что больше всего нужно писателю? – неожиданно задает он вопрос и сам же на него отвечает: – Быть ближе, роднее тем людям, о ком и для кого пишешь.

Эту мысль он повторял не один раз, по разным поводам. По его совету («познакомьтесь с героями «Тихого Дона», посмотрите, снимайте милые моему сердцу места») два дня я

ездил по окрестным хуторам и станицам. И когда потом он стал расспрашивать, как живет знатная певунья Анна Степановна Толстова, все ли еще сторожит колхозный хлеб и когда собирается на волков 80-летний дед Зиновий, и еще о многих, мне стало ясно, в чем заключается неповторимая сила Шолохова: он – родной этим людям с большими, мозолистыми от работы руками, с трудными человеческими судьбами, с высоким и гордым будущим.

– Люди все удивительно одинаковы и в то же время совершенно не похожи друг на друга, – сказал он, когда услышал от меня, видимо, надоевший ему вопрос: а кто же все-таки был прототипом Григория Мелехова? – Не надо искать прототипа, а тем более спрашивать, не служил ли он в восемнадцатом году у белых. Среди казаков есть такие, что побывали и у белых, и у красных, и у зеленых. Поговорите лучше с каким-нибудь белозубым трактористом и не ошибетесь. И вообще, надо быть попроще, – добавил он, покосившись на мое одеяние. – Без модных курточек. Думаешь, поведал бы мне Андрей Соколов свою судьбу, если бы не измазанные в масле руки, не ватные штаны и гимнастерка? Надо быть таким, как все. Вот в чем суть. И не специально «для общения с массами», а всегда.

Я не спрашивал Михаила Александровича, над чем он сейчас работает и какие у него планы на ближайшее будущее. Но из той обстановки встреч, мыслей, воспоминаний, реплик и множества мелочей, его окружающих, у меня сложилась уверенность, что он весь живет образами большой эпопеи о войне. Это было видно по тому, как он обронил: «Скорей бы уже с «Поднятой целиной» разделаться», и по неожиданной оценке своего последнего рассказа: «Это – подступ. Подступ к большому разговору о большой войне».

А разговоров о войне было много. Особенно когда на стерляжью уху подошел Спиридон Никифорович Выпрыжкин, участник трех войн, неутомимый рассказчик, шутник и рыболов.

Спиридон Никифорович рассказывал историю за историей, обстоятельно, образно. Это были истории, пережитые им самим, в них было много юмора и грусти, правды и выдумки. Шолохов, внимательно слушая, неожиданно наклонился ко мне и горячим, нежным шепотом проговорил:

– Ты посмотри, какие у него руки! На руки посмотри!

Я посмотрел на большие натруженные руки Спиридона, на его живое, умное лицо и перевел взгляд на Шолохова. И увидел, что он не столько слушает эти, очевидно, уже десятки раз слышанные им были, сколько любит рассказчиком. Выпрыжкин рассказывал о том, как в гражданскую войну он один ходил в атаку на вражеские окопы, а залегшие в окопах солдаты от души потешались над незадачливой казачишкой и его дурным конем, о том, как он доставлял донесение во время боев в Венгрии под носом у врага в 1945 году, о том, как однажды продал на базаре телку для уплаты сельхозналога да загулял с приятелями и как его встретила хозяйка. «Пошла на меня драгоценная в атаку. Ухватом, что твой казак шашкой орудует, хотя ее этому делу, как нас, не учили. Выпил я подходяще, должно быть, и окончилась вся баталия моим поражением. Подсадила меня супруга ухватом прямо на печь».

Я подумал о том, что, наверное, в романе зазвучит этот или другой рассказ дяди Спиридона, что, может быть, сам Выпрыжкин станет прообразом будущего любимца наших читателей...

Шолохов часто встречается с такими людьми, бывшими солдатами. Часто вспоминает фронтовых друзей, особенно Евгения Петрова и

Александра Фадеева, с которым он в трудную пору 1941 года был на Западном фронте. Вспоминает, как в первый раз пошел в атаку.

– Пошел не потому только, что без этого не напишешь о той страшной, но охватывающей тебя силе, которая ведет человека на смерть, но и потому, что пошли солдаты, пошли все; а ты ведь тоже солдат и ведет тебя на пули, на врага та сила, которая называется «товарищество».

Рассказал он, как был ранен под тем самым проклятым местом, название которого и выговаривать не хочется. Рана в последнее время стала побаливать.

– Ноет проклятая, покою от нее нет.

Он рассказывает о своей ране и вдруг с неожиданной тоской и болью говорит о ранах, которые нанесены всему народу:

– Сколько их, русских, полегло!..

Мы молчим. Михаил Александрович кашляет глухо и надтреснуто и, с трудом подбирая полузабытые слова, читает стихотворение Исаковского «Враги сожгли родную хату». Читает, переживая каждое слово, не глядя на собеседников. Читает до последней строки, потом резко отворачивается...

Он живет будущей книгой, как живым существом, говорит о ее героях, как о живых людях («А Лопахина жалко убивать, он же мой, родной»).

...Поздняя ночь. Старые солдаты расходятся по домам, а неугомонный хозяин еще и еще раз припоминает, как здорово и смешно умеет рассказывать Спиридон свои немудреные истории, какие у него удивительно красивые и выразительные руки.

В шолоховских глазах то лукавым блеском играет смешинка, то она прячется, и глаза наполняются грустью, то появляется в них суровый, холодный, стальной блеск – в зависимости от того, о чем идет речь.

– Больше всего нужно для писателя, – ему самому нужно, – передать движение души человека. Я хотел рассказать об этом очаровании человека в Григории Мелехове, но мне до конца не удалось. Может быть, удастся в романе о тех, кто сражался за Родину.

Мы еще долго говорим о судьбах казачества, о неяркой, но незабываемо прекрасной природе этих мест, о человеке – труженике и солдате, и вот в середине беседы у Михаила Александровича вырывается вдруг страстное признание:

– И так я все это люблю! Ведь это – мое, мое и твое!

Мы умолкаем надолго, каждый думая о своем. На большом выпуклом лбу писателя напряженно пульсирует набухшая жилка. Не знаю, какие картины встают перед его взором, какие голоса слышит он сейчас, о чем хочет он поведать людям. Но мне в тот миг думается, что это будет именно та книга, которую все мы так от него ждем.

Станица Вешенская

Гюннер Герсов, датский писатель Литература и сосуществование

*Настало время вершиться
чуду на земле:
Надежда побеждает.*

Нурдаль Григ

Девять тысяч ученых с обоих концов нашей расколотой надвое планеты недавно присоединились к призыву в адрес Организации Объединенных Наций немедленно прекратить все испытания ядерного оружия.

Между наукой и искусством всегда существовало взаимное плодотворное воздействие. Искусство вдохновляло исследование, а достижения науки легли в основу многих произведений.

Между тем то новое, что стало реальностью нашего времени, не помогало плодотворному взаимному воздействию науки и искусства, напротив, оно загнало многих писателей и художников западного мира в мышиную нору страха и метафизики. Это бегство от очевидной действительности и обоснованного научного взгляда на мир вызвано, однако, не только теми новыми факторами, перед которыми ставят людей результаты атомной науки и политических систем Востока и Запада; правильнее будет сказать, что мы здесь имеем дело с форсированием процесса, начавшегося здесь до нашей эпохи.

Разумеется, то, что может быть причислено к буржуазной литературе, так же дифференцировано, как и все прочее в жизни и искусстве. Речь идет не о всеобщем единодушном возвращении к страху, мистике и апокалиптической истерии, а о том, что эти тенденции в современной буржуазной литературе стали господствующими.

Ни один из медиумов задающей тон буржуазной литературы не может отрицать: все, что живет и будет жить в поэтическом творчестве северных стран, опирается на сцементированный традицией фундамент эпического реализма и бдительной социальной морали. В песнях, лирике и отвлеченных рассуждениях авторы еще охотно погружались в тепличную атмосферу метафизики. Но в прозе и драме народные писатели сохраняли голову холодной, а сердце горячим. От Холберга до Ибсена и Стриндберга, от Блюхера до Биви и Нексе жизненная сила и ясность берут свои истоки из народа.

Однако подобным утверждением легче всего вызвать недовольство буржуазии. Она желает видеть в литературе лишь свой собственный портрет. Хороша только та книга, которая поддерживает предрассудки, признанные охраняющими устои общества. Но если важнейшим общественным противоречиям, столкновениям контрастов заказан путь в книги, то о чем же писать литератору и чем жить литературе? На это отвечают пошлые книжки и нищие духом писатели. По современной буржуазной литературе можно, как по барометру, следить за растущим давлением пессимизма, страха и боязни жизни, следить, как это давление накладывает свою печать на частную жизнь. Ныне, в пятидесятые годы, после военного поражения гитлеризма в его собственном гнезде и окончательного перехода половины мира к созидательному социализму, духовная жизнь в странах «заката» точно оцепенела в унифицированной позе под наведенным в упор дулом страха.

Я обращаюсь за свежим примером к пачке новых книг и журналов, изданных в северных странах, и выбираю то издание, которое сильнее других пахнет типографской краской. Это финский «Парнассо», редактируемый неким доктором философии и издаваемый концерном, контролирующим два крупнейших книгоиздательства Финляндии.

Первая статья озаглавлена «Искусство и мораль» и представляет собой софистически сформулированную защиту запрета норвежских и финляндских властей распространять роман норвежца Агнара Мюкле «Песнь о красном рубине». Не упомянув ни меня, ни предмета, редактор журнала приходит к заключению, что мораль принадлежит сегодняшнему дню, а потому должна быть сегодня же и оберегаема, искусство же принадлежит вечности, а значит – может подождать до лучших времен.

Из двух помещенных в журнале новелл первая – старая история немецкого писателя Германа Хессе «Урок магии». Она иронизирует не над демократическим философом, который уклоняется от защиты демократических прав, ибо оглядывается на начальство, а над «рационалистом», превращающимся в адепта магии и мистики.

Другая новелла «Пятна смерти», принадлежащая перу шведской христианской писательницы Уллы Исакссон, – мрачная история о странствующем глухом священнике, который обнаруживает, что жена предает его, излагая проповеди мужа в обратном смысле. Комментарий к этой новелле, написанный финской переводчицей, магистром литературы, и озаглавленный «Зерцало одиночества», гласит:

«Эта беспомощность, потребность в сближении и отсутствие предпосылок для этого побуждает к отчаянным попыткам добиться контакта и найти выражение своим чувствам. Однако чаще всего никто не слушает, и слова коченеют в прочных цепях невысказанного, которые своей жесткой хваткой сковывают глубочайшую трагедию существования, «человеческую мистерию», над которой неизменно бьются шведские новеллисты».

Содержание цитированного здесь номера этого литературного журнала представляет собой монотонное повторение всех предыдущих номеров. Унифицированная буржуазия, к которой обращен журнал, требует исключения всего, могущего напомнить, что задачи литературы не всегда сводятся к задачам исповедальни. Однако у этой унификации есть все же одно положительное качество: вдумчивый читатель понимает, что подобные литературные журналы отражают не лицо страны и народа, а искаженную гримасой физиономию буржуазии.

В прочих северных странах соответственные публикации чуточку более разборчивы и разнообразны. Но в основном положение одинаково, и чуткие лирики неизменно находят выразительные слова, чтобы сказать об этом:

Все дни однообразно пусты
И мы, живущие, пусты.
Ты тоже за стеною страха?

Так, словно священник, утративший веру в бога, говорит датчанин Оле Сарвиг. К той же теме неизменно возвращается, например, социально зоркий, но тем не менее растерянный Эрик Кнюдсен:

О, глухие шкиперы и слепые штурманы!
Живые братья у мачт и у руля.
Я зову вас, но рот мой полон воды.

Круг за кругом по одному и тому же манежу, подгоняемые одним и тем же хлыстом... Сердце побуждает поэтов стремиться прочь из этого заколдованного круга. Но искупительные слова остаются в заточении за решеткой индивидуализма, связь с собратом рвется, и опять возобновляются самокопание и причитания перед огоньком домашнего камелька своего частного чистилища. Они бессильны перед лицом предупреждения, сделанного первым певцом страха Пером Лагерквистом еще во время Первой мировой войны:

Путь, по которому идешь ты в одиночку,
Тебя уводит от тебя же самого.

Прошлым летом всемирно известный советский писатель Михаил Шолохов посетил в числе других северных стран также Данию. Мне, как представителю группы писателей-беллетристов Датского союза писателей, выпала радостная обязанность организовать некоторые встречи в честь Шолохова. Одним из первых был визит к Карен Бликсен, в ее доме в старинной усадьбе на берегу Эресюнда. Карен Бликсен сейчас самая почитаемая из датских писателей и единственная, пользующаяся такой известностью, что ее очередная книга может выйти одновременно на одиннадцати языках.

Михаил Шолохов и Карен Бликсен явно отлично чувствовали себя вместе. Взволнованная, сидела она, не сводя своих широко открытых глаз с Шолохова; он, с лукавой мальчишеской улыбкой и озорно поднятыми бровями, демонстрируя свои широкие руки, сидел в окружении хрупкой ампирной мебели; оба – живое свидетельство того, что искусство и человечность способны объединить людей во взаимном понимании, несмотря на все различия. Карен Бликсен не только сразу же подтвердила это впечатление своим сердечным отношением к гостю, но и еще больше подчеркнула его при прощании глубоко искренними словами:

«Искусство объединит народы!»

Широкий кругозор повидавшего мир человека и благородная человечность отличают Карен Бликсен от большинства буржуазных литераторов, которые боготворят ее. Конечно, многим из них пришлось мыкать судьбу домоседов, которая в наших малых северных странах легко приводит к ограниченности и самодовольству. В то время, когда им надлежало бы поехать и посмотреть белый свет, границы были закрыты войной и оккупацией. Во время нацистского террора говорилось, что теперь мы должны вернуться к «своему народному своеобразию». И это воспринималось настолько буквально, что в один прекрасный день мы допятились до глубокой древности. Тем самым на место действительности всплыло прошлое, а установление связи с народом заключалось в собирании древней утвари и обитании в домах, крытых соломой.

Национальная освободительная борьба со всеобщими забастовками и актами саботажа против нацистских оккупационных властей оказала лишь незначительное влияние на буржуазную литературу. Зато в годы после освобождения мы стали свидетелями буржуазной реакции, маскировавшейся исковерканным греческим словом «еретики». Выбор такого названия кучкой молодых писателей, преимущественно лириков, поставивших себе целью вставить палку в колесо «культы разума» 30-х годов и реализма, свидетельствует в одинаковой мере о чувстве бессилия у молодых реакционеров и о прочной позиции реализма.

К несчастью для датской литературы, этим «еретикам» с помощью денежного мешка удалось захватить в свои руки крупнейшее и единственное издательство, которое еще оценивало, поддерживало и издавало датских писателей, в равной мере исходя из литературных, коммерческих и национальных соображений. Бессилие, поддержанное неизменной раболепной свитой славословов денежной мощью, временно приняло облик животворной силы. Но такие добродетели, как универсальный кругозор и благородная человечность, не покупаются за деньги, а какой-либо другой животворной силы, помимо силы денег, еретики «за стеной страха» пока не нашли, и результат окажется, пожалуй, таким, что его можно будет выразить словами самого директора издательства, лирика и верховного еретика, Оле Вивеля:

Изгнанник ты, и лишь в любви
Владеешь тем, что вне тебя.

Но это «вне тебя», которое заставляет буржуазную литературу метаться взад и вперед по бездумным путям между древностью и метафизикой, – новая действительность мира, от которой никуда не уйдешь.

Теперь уже невозможно отмахнуться от того, что социализм стал в руках народов орудием, с помощью которого перестраивается и развивается половина вселенной. Невозможно отмахнуться и от того, что капитализм, сам основывавшийся на так называемой свободной конкуренции, приобрел в лице социализма такого конкурента, который причиняет ему очень много беспокойства.

Но между капиталистическими странами Запада и социалистическими странами Востока нет ничего такого, что не могло бы быть разрешено человеком. И если мы отдадим страху преимущество перед надеждой, как тому хотели бы нас научить далекие от действительности писатели и публицисты, то мы, во-первых, обнищаем из-за нескончаемых вооружений, а во-вторых, все равно будем жить в сплошном ужасе перед раком крови, сумасшествием и самопроизвольными взрывами.

Поэтому пора людям литературы, которых называют инженерами душ, снова взять на себя и выполнять свои обязанности бодрствующей совести человечества. Неверие в силу собственного влияния, над которым особенно любят сокрушаться лирики еретической школы, как раз является следствием того, что не используются собственные возможности. Уход от злободневной действительности и смакование своих личных переживаний привели, наперекор прямому призванию литературы, к нарушению плодотворного ее взаимодействия как с жизнью и наукой, так и с читателем. Духовная и материальная нищета литераторов – одно из естественных следствий стремления вознестись над своими читателями. А ведь книги и писатели живут тем, что их читает и любит масса.

Пусть социалистические литераторы сами решают, какие ценности может почерпнуть для себя социалистический мир в нашей современной литературе. Что мы могли бы взять из их литературы, решить легче, поскольку на этот счет существуют лишь два мнения. Есть, однако, нечто, чем обе стороны при всех обстоятельствах могут поделиться: знание проблем, с которыми борется каждая из них. Именно это знание являет собой первое условие взаимного понимания, без которого немислимо мирное сосуществование.

Копенгаген

Встречи М. Шолохова в Праге

На днях вернулся из Чехословакии Михаил Александрович Шолохов. После краткого пребывания в Карловых Варах он на несколько дней остановился в Праге.

Вместе с писателем Франтишеком Кубкой М.А. Шолохов осмотрел исторические памятники города и Музей чешской литературы.

В первый же день приезда в Прагу он нанес визит Зденеку Неедлы и подарил ему чешское издание романа «Тихий Дон» с надписью: «Дорогому товарищу Зденеку Романовичу Неедлы, так много сделавшему по укреплению дружбы между чехословацким и русским народами, с чувством любви и уважения». На другой день М.А. Шолохов побывал в кооперативном хозяйстве «Пжеров», расположенном в сорока милях от Праги. Здесь состоялась дружеская беседа писателя с членами кооператива.

В столице Чехословакии были устроены встреча М.А. Шолохова с чехословацкими писателями, читательская конференция. Он выступил по телевидению и дал интервью корреспондентам нескольких газет, в том числе корреспонденту газеты «Руде право».

На встречах с писателями и читателями, с работниками редакции «Руде право», а также выступая перед зрителями телевидения, М.А. Шолохов ответил на ряд вопросов о советской литературе, рассказал, как он мыслит осуществление своего предложения о встрече писателей всего мира за «круглым столом».

Франтишек Кубка (Чехословакия) Шестнадцать часов

1

В восемь часов утра 3 апреля 1958 года я явился на виллу Конева. Так называют этот дом потому, что в мае 1945 года тут жил маршал, войска которого освободили Прагу.

Семью Шолоховых я застал за широким столом (я пришел во время завтрака). Вот так, наверное, сидят они вместе по праздничным дням в своей Вешенской: в центре – Михаил Александрович, напротив – Мария Петровна, его жена, справа и слева от них сыновья с женами, дочери с мужьями.

– Путешествуем всем гамузом, – объясняет Шолохов. – Познакомьтесь: это Федор Пономарев, мой шофер. Теперь мой черед возить его на поезде, пусть хоть немного поглядит на мир не поверх баранки.

Я пожал всем руки. Меня пригласили за стол. Сначала разговор зашел о Вешенской, потом – о Карловых Варах, где Шолоховы побывали несколько дней назад. Сын Михаила Александровича надеялся сделать в Праге интересные фотоснимки. Сам Михаил Александрович говорил мало. Спросил только, какова наша программа на сегодня. Я сказал, что собираюсь показать ему памятник Освобождения и мавзолей на Виткове, Староместскую площадь, Град и Страговский музей национальной письменности. Не слишком ли много на один день?

– Для этого мы сюда и приехали, – ответил он.

И продолжал спокойно пить чай. Лицо у него огрубело от ветра и солнца. Казацкая голова, нос с горбинкой, глаза цвета донской волны, рот маленький и над верхней губой – щеточка рыжеватых усов. Фигура кавалериста, хрупкая с виду, но сильная. Когда он поднялся из-за стола, оказалось, что ростом он невелик. Ноги тоже как у настоящего кавалериста, хоть и не было на них сейчас сапог. Движения размеренные. Заложив руки за спину, он медленно прохаживается по столовой. Подходит к окну и смотрит на утренние облака.

– Ветер восточный. Будет превосходный день, – замечает он со знанием дела. Потом по-военному командует своему семейству: – Гей, по коням! – и добавляет с улыбкой: – Женщины, поторапливайтесь!

Вместо того чтобы вскочить на коней, мы рассаживаемся в трех автомобилях. Шолоховы, отец и сын, осматривают «татру». Их интересует и расположенный сзади мотор, и аэродинамический контур машины.

Я еду в одной машине с Михаилом Александровичем. Мы непрерывно дымим папиросами, Шолохов молча глядит в широкую спину шофера.

Рассказываю ему, что, по всей вероятности, впервые казаки появились на пражской земле еще во времена битвы у Белой горы¹. Их послал на помощь императору польский король. Между прочим, в чешских хрониках упоминается их ужасающая польская брань.

– Наверняка это были наши запорожцы! – смеется Шолохов.

– А ругань их, наверное, заимствована из трех языков: русского, украинского и польского... Жаль, что не написана до сих пор с новых, современных позиций полная история казачества. Это была бы удивительная эпопея.

Мы едем по Праге, проезжаем над Влтавой, но говорим про Дон. На Кларове Шолохов снова замечает:

– Да, жаль, что не написана еще хорошая история казачества.

Объезжаем холмы Виткова. Обращаю внимание гостя на пролетарский характер жижковских кварталов. Показываю сбегающие вниз, под уклон грустные, закопченные улочки бывшей окраины. Шолохов смотрит и молчит. Очевидно, разговор об урбанизме его не привлекает. Лишь роняет: «Бауманский район Москвы». И снова молчание.

У памятника выходим из машин. Сын и зять фотографируют здание во всех ракурсах. Входим в мавзолей, стоим перед металлическими воротами, за которыми покоится Клемент Готвальд², проходим через зал, где погребены выдающиеся чешские деятели. Шолохов идет на цыпочках. Лоб его наморщен, он явно удручен грустной, похоронной атмосферой мавзолея.

Быстро и не скрывая радостного облегчения, снова выходит на солнце. Засматривается на пражскую панораму с Ладви, Градчанами и Петршином на горизонте. Потом смотрит вниз, на рельсы, на дымы вокзала, качает головой и показывает Марии Петровне на заводы Высочан.

– Да, крестonosцам нелегко было атаковать, – замечает он. – Удачное место выбрал Жижка³. Опытный был атаман.

Шолохов осматривает конную статую Жижки. Отступает на несколько шагов, снова подходит, прищуривает глаз и просит Мишу сфотографировать коня снизу.

– Занятный конь. Чешская порода...

– Доудлебская, – поясняя я, не слишком уверенный в точности сказанного.

– Казачьи кони стройнее. Но это неплохая конная статуя. Лучше всего смотреть на нее издали или сбоку.

Молчание. Через минуту он говорит:

– У вас прекрасное, великое прошлое. Великая и прекрасная столица.

2

На Староместской площади глаза всех первым делом устремляются к курантам. Старинные здания на площади так нравятся Шолоховым, что они просят отослать машины вперед: дальше решаем идти пешком. Мой рассказ о казни чешских панов Шолохов слушал рассеянно. Казаки всегда недолго любили шляхту. Долго рассматривал двубашенный Тынский храм. Мимо статуи Гуса⁴ прошел, не выказав к ней никакого интереса. Пока мы с Михаилом Александровичем были на площади, остальные успели уйти от нас на Малую Карлову улицу. Мы пошли дальше вдвоем, заговорив о староместской и малостранской архитектуре. Перед некоторыми порталами и возле Клементинума Шолохов задерживался.

Но как степной конь чувствует воду, так он почуял за Клементинумом реку. Поспешил к Влтаве и, очарованный, остановился между мостовой башней и площадью Крестonosцев, глядя на другой берег, на его каменное обрамление.

У парапета нас уже поджидала Мария Петровна со всем семейством. И молодежь застыла, околдованная красотой. Я не стал рассказывать о войнах и революциях, разыгравшихся в этих местах. Это были малые войны и революции. Шолохов пережил и описал иные войны и иные революции. Так пусть же сегодня спокойно любит красоту, и только ею.

– Пойдем через мост? – спросил он.

Наверное, он любит ходить по мостам.

На мосту Шолохова фотографировали. Раз, другой, десятый... С Градчанами за спиной, под святыми проповедниками Кириллом и Мефодием⁵, возле креста и на фоне мельниц. Наконец он сказал: «Хватит!» – и подошел к перилам. Увидел на деревянных ледоломах пару чаек и селезня, засмеялся, подозвал всю семью. Лицо покраснело, глаза заискрились. Задражали мелкие морщинки на висках.

– Миша, раздобудь где-нибудь хлеба! – попросил он сына.

У него в кармане оказалась булочка.

– Дай сюда!

И Шолохов стал кормить селезня и чаек. Минуты не прошло, как чайки слетелись целой стаей. Они с криками летали вокруг Шолохова; трепеща крыльями, пронеслись под мостом. Больше всех радовался Михаил Александрович. Он крошил булку отдельно чайкам, отдельно селезню, чтобы никого не обидеть. Охотник и рыболов беседовал с ручными птицами.

– Ваши чайки меньше наших, донских. Но зато влтавский селезень – настоящий красавец... Ой, какой молодчина, упитанный, крутобокий! Вы посмотрите: посидит, встанет, а в воду ему что-то не хочется. Лентяй. Да, река в городе – великое дело. Она сохраняет связь с деревенской природой.

Невозможно было увести Шолохова от воды. Ни одного из каменных святых, выстроившихся целой аллеей, он не удостоил вниманием. Селезень был ему милее! Барокко есть барокко, но селезень – он ведь живой и какой великолепной окраски, а чайки – это уже сама вольная вода, тихий Дон!

На Малоостранской улице, рядом с башней, Шолохов увидел цветочный магазин.

– Не забудь про семена из Праги, – напомнил он Мише. И объяснил мне: – Везде, где я бываю, я достаю семена местных цветов и потом сажаю их у себя в Вешенской. У нас уже есть английские, шведские, норвежские цветы... Теперь будут и чешские...

3

Миша пообещал, что обязательно достанет семян.

На Малоостранской площади нас дожидались машины, и мы поехали по улице Неруды⁶ к Граду. По пути Шолохов неожиданно завел речь о строительной идее Праги. О Граде, Подградье, о реке, разрезающей город пополам, о холмах. Прежде чем приехать в Прагу, он изучил план города. И теперь сравнивал Прагу с Киевом и, если не ошибаюсь, с Эдинбургом. Но ни разу я не услышал от него: романский, готический, ренессансный, барочный... Словно стили его вообще не интересовали. Словно он видел город лишь в его целостности.

– Атмосфера Праги объединяет все стили, – заметил я.

– Вероятно... И в этот сплав чудесно впишется город будущего, где-нибудь вон на тех холмах.

Шолохову не захотелось осматривать залы Града.

– Это есть и у нас в Кремле и в Ленинграде. Осмотрим лучше собор!

Особенно занимали его раскопки, ведущиеся под храмом. Он восхищенно заулыбался, увидев статуэтку святого Иржи, побеждающего дракона:

– Смотри, Мария, вот так чудо! Вот так конек!

Мы вошли в храм, и Михаил Александрович сразу же устремился в его древнюю часть. Он безошибочно распознал, что тут шестисотлетней давности, а чему нет и сотни лет. Что создано великими каменщиками, а что – малозначительными архитекторами...

В тот день была открыта Сватовацлавская часовня. Шолохов захотел услышать обстоятельный, со всеми подробностями рассказ о трагедии рода Пршемыслов, шекспировской, феодально-жестокой. Заинтересовала его судьба драгоценностей чешской короны.

Гигантского роста причетник в синей сутане стал рассказывать нам, как во время оккупации Рейнхард Гейдрих⁷ вместе с женой и детьми вошел в сокровищницу, взял в руки жезл, державу и свато-вацлавский меч и начал примерять себе и сыновьям корону.

– Кто святотатственно прикоснется к чешской короне, тому не миновать злой смерти!
Так случилось и с самим Гейдрихом и с его сыновьями, – закончил рассказ причетник.

Я перевел. Шолохов ответил:

– Народ никогда не перестает сочинять легенды. Это новое предание, и притом справедливое...

Он подал гиганту причетнику руку. Рядом с ним Шолохов казался совсем маленьким.

Но причетник, опытный чичероне, сразу смекнул, что перед ним большой человек, и попросил гостя назвать свое имя.

Я сказал:

– Это Михаил Шолохов с семьей.

– Шолохов? Жаль, что нет у меня с собой «Тихого Дона»! Я бы дал ему подписать. Мы все дома читаем эту книгу.

Михаил Александрович радостно улыбнулся:

– В следующий раз обязательно подпишу!

Он снова пожал великану в синей сутане руку. Причетник огромным ключом запер двери часовни.

Шолохов сказал:

– Удивительная земля, где служители культа читают Шолохова!

4

Оставался еще Музей письменности.

Там нас встретила и сопровождала Ярослава Вацлавкова. Было уже далеко за полдень. И опять Шолохова больше всего занимала старина: археологические находки, кладка стен в подвалах. Долго простоял он возле гуситских экспонатов и попросил перевести надписи. Понравился ему и зал Божены Немцовой в бывшей трапезной. Он с интересом разглядывал портреты нашей красавицы, потом вздохнул:

– Какое благородство!

Из окна загляделся на Прагу:

– А вот еще одна и опять новая красота!

И уже в машине заметил:

– Побольше водите сюда детей. Пусть сначала не все поймут, это ничего! Ведь что-нибудь обязательно засядет в сердце. Глядишь, может, и разбудит в них новых Неруд и Божен Немцовых⁸. Поэты рождаются по-разному. Я, например, родился из гражданской войны на Дону.

Это были первые слова, сказанные им в тот день о себе и своем творчестве.

5

Во время обеда он говорил о природе степей, о казаках, о рыбной ловле и охоте:

– Не могу жить без природы. Она каждый миг иная. Все в ней неповторимо. Вечно новые облака, вода, травы, деревья... И люди без конца меняются. Целые человеческие коллективы и те не остаются неизменными, приобретают все новое обличье, растут или погибают. Как фиалки, как тюльпаны в степи. Как стаи перелетных птиц.

Он не проповедовал, не поучал, а просто говорил, как говорит за столом хороший хозяин. Все внимательно слушали.

Казалось, во время разговора он отдыхает. Речь его лилась тихо, как Дон. Он не старался приукрасить ее или приукрасить самого себя. Ни на секунду не приходило ему в голову навязывать нам собственное мнение о своей персоне, как это делают многие писатели.

– Люблю ездить по свету, и потому особенно, что это дает мне возможность предвкушать радость возвращения домой, в свое казачье гнездо, где я всех знаю и где все знают меня. Знают еще с комсомольских лет. У меня там больше знакомых, чем в Союзе писателей или в Академии наук. Человек должен жить с людьми, видеть и слышать их, говорить и думать вместе с ними... Но лучше всего мне думается, когда я на охоте. Особенно у воды...

6

К Шолохову пришли работники издательства «Свет Совету». Попросили, чтобы он сообщил, когда они смогут получить рукопись второго тома «Поднятой целины» для перевода на чешский язык.

– Вы очень торопитесь? – спросил он с лукавой улыбкой. – Тогда через год. Ну, скажем, до июня будущего года. Я медлительный работник. «Тихий Дон» я писал пятнадцать лет. А надо было еще дольше. Потому-то я и не создал много книг.

Он заговорил об иллюстрациях к «Тихому Дону», выполненных Орестом Верейским. Верейский иллюстрировал русское издание, его рисунки были взяты и для чешского.

– Лучше всего было бы, если бы кто-нибудь из ваших художников приехал к нам, в Вешенскую, или вообще на Дон. Иллюстрации Верейского я люблю! Они точно выражают все, что я говорю в книге. Но только кони! Верейский не сумел передать своеобразной красоты донских коней. У его коней слишком массивные ноги. А у казацкого коня с Дона ноги как у ангела. Стройные и с такими маленькими копытами, что он может уместиться буквально на пяточке!

7

В этот вечер Шолохов беседовал с чешскими писателями в их пражском клубе. Переводчиком был Сергей Махонин. Беседу стенографировали. Большая ее часть была потом воспроизведена в «Литерарних новинах».

Вторгнусь как составитель в рассказ повествователя. На вопрос, что думает о соцреализме, Шолохов сказал:

– Теория не является моей областью. Я попросту являюсь писателем. Расскажу вам поэтому одну историйку о том, как я встретился перед самой его смертью с моим приятелем Александром Фадеевым. Я задал ему тогда этот же вопрос. Я спросил его, что он ответил бы, если бы его спросили, что такое соцреализм. Он ответил: «Если бы меня спросили об этом, я должен был бы ответить по совести: а черт знает, что это такое!» Возможно, что это шутя Фадеев упростил проблему. Если вам отвечать от собственного имени, то я сказал бы, что, по моему мнению, соцреализм есть то, что поддерживает советскую власть и что написано простым понятным художественным языком. Это не теоретический вывод, а авторский опыт. И на то есть у нас теоретики, чтобы поддержали бы это строение и повбивали бы в него свои теоретические гвозди...

На вопрос, признает ли он свои произведения соцреализмом, Шолохов ответил:

– Слыша этот вопрос, припоминаю, что марксистские теоретики поочередно называли мои произведения сначала произведениями кулацкого писателя, потом я был для них писателем контрреволюционным, а в последнее время снова говорят, что я всю жизнь был соцреалистом.

Могу подтвердить, что мои первые книги были приняты вполне понятно. Я получил много советов – мне предлагали, например, чтобы героем я сделал уж если не полноценного коммуниста, то, во всяком случае, советского человека и т. д. Я тем не менее думаю, что если писатель принял решение говорить правду любой ценой, то решение это не поколеблется под влиянием никакого рода советов. Думаю, что критика романа Дудинцева не повлияла на писателей в направлении отбить им желание показывать действительность такой, какой они видят ее во всей ее сложности.

Характерно, что Дудинцев не принял приглашения на автозавод в Горьком, где, вероятно, не получил бы триумфа, зато охотно принял участие в дискуссии со студентами, которые с энтузиазмом поддержали его позицию. Вообще, хочу подчеркнуть, что советской литературе не грозит, чтобы писатели со страху перед догмами отступили от желания и решимости писать правду о жизни (Литерарных новости. 1958. № 16).

Я не хочу здесь повторять напечатанного. Расскажу лишь о том, что мне запомнилось особенно хорошо.

Прежде всего Шолохов спросил, что нового написали чешские товарищи. Это было необычное начало. Ведь все ждут от гостя, чтобы он рассказал о себе, о своих вещах!

Но гость начал развивать свою идею «круглого стола». В журнале «Иностранная литература» он выступил с предложением, чтобы писатели разных стран и национальностей собирались для творческих дискуссий о том, как своими произведениями помочь человечеству, стоящему перед угрозой новой войны. Об этом предложении он говорил и в беседе с писателями Скандинавии. Идея была писателями-скандинавами поддержана, но очень скоро выяснилось, что многие из них боятся «политики».

– Конечно, – говорил Шолохов, – мы, советские писатели, рады дискутировать с кем угодно в интересах доброго дела. Думаю, что так же охотно откликнутся на это предложение и писатели народно-демократических стран. Можно было бы начать и регионально. А потом уже и в мировых масштабах. Горький заботился, чтобы мы, советские писатели, прежде всего старались сами узнать друг друга, – продолжал он, – чувствовали бы ответственность один за другого, радовались успеху товарища и огорчались неудачам. На Западе я наблюдал среди писателей взаимное равнодушие. Авторы собираются в пен-клубах или других местах, в основном чтобы обсудить издательские вопросы. Это порождается системой бестселлеров и тому подобными вещами. Надеюсь, чехословацкие писатели идут по горьковскому пути. Так расскажите, что нового пишете?

Он упрямо возвращался к поставленному в начале беседы вопросу.

Но в этот момент его спросили, как он понимает социалистический реализм.

– Если бы я отвечал только от своего имени, то сказал бы, что социалистический реализм, по моему разумению, есть то, что за власть Советов и что написано простым, понятным народу художественным языком. Это отнюдь не теоретическое объяснение, а лишь авторский опыт...

Так, насколько мне помнится, говорил он в тот вечер.

Запомнил я и его ответ на вопрос, должны ли писатели обязательно жить в столице или, наоборот, в деревне. Он сказал:

– Пишите в столице, пишите в деревне или на даче, только пишите!

Шолохов был в хорошем настроении. Глаза его весело перебегали с одного лица на другое, пытливо всматривались в каждого из тесно сидящих за длинным столом писателей. Он явно хотел вызвать нас на дискуссию и щекотал наши наиболее слабые, уязвимые места казацкими шпорами. Но он плохо знал нас. Он гнул свое, а мы свое. Сплошные вопросы. Например, о тематике.

Допрашиваемый свернул с поля теории на поле практики. Он рассказывал нам истории. Мне запомнилась одна, норвежская:

– Встретился я в Норвегии с молодым писателем, человеком прогрессивным, симпатизирующим Советскому Союзу. Он преподает в деревенской школе. Спрашиваю его, вот как сейчас вас, что он пишет. Говорит, пишет фантастический роман о том, как будет выглядеть норвежская деревня, когда в Норвегии будут колхозы. Туго у него идет дело. Хотел бы от меня, более опытного писателя, получить совет. Я видел, в чем тут загвоздка. Молодой учитель живет в маленькой норвежской деревушке, условия жизни там совсем иные, чем в Советском Союзе, иной способ хозяйствования, гораздо меньшая густота населения и совсем иные экономические проблемы. Там происходит процесс поглощения мелких единоличных хозяйств крупными.

В тот же день, когда молодой норвежский писатель задал мне свой вопрос, утром я разговаривал с одним старым крестьянином. Было воскресенье, и кряжистый старик норвежец пришел ко мне в своем праздничном костюме. Он был чем-то очень взволнован. Мы разговорились – он тоже был моим читателем, – и я спросил, что с ним случилось, какое у него горе. Он ответил, что несколько дней назад похоронил жену и остался один как перст. Сыновья с ним не живут: один служит почтальоном, другой – рабочий в городе. Дочери повыходили замуж на сторону, некому теперь помочь ему в хозяйстве. Но свой участок земли он не может оставить. Я спросил старика, как он собирается жить. «Как-то ведь жить надо, – ответил он. – Поздно уже наниматься поденщиком и уходить с насиженного места». Но как противостоять трагической судьбе, он не знал.

Я рассказал молодому писателю о своей встрече с одиноким стариком. Зачем выдумывать будущие колхозы и не знать, как с ними справиться, когда перед вашими глазами такая богатая тема?

Писатель должен уметь видеть жизнь вокруг себя. Вот что я хотел сказать своим норвежским примером о поисках темы.

Это, очевидно, все, что я запомнил из беседы с Шолоховым. Помнится еще: вначале он говорил о Стейнбеке, о его безразличии к идее международной писательской встречи за «круглым столом».

Уже в самом конце он ожесточился против «недоделанных книг». Писатель не имеет права выпускать книгу из рук, пока она не готова начисто.

А потом весьма энергично потребовал, чтобы мы наконец сказали ему, что пишем. Мы вставали один за другим и рассказывали, над чем работаем.

Он слушал с величайшим интересом. Все-таки настоял на своем! Потом обещал, что непременно снова приедет в великую, прекрасную Прагу, еще более великую и прекрасную, чем он себе представлял. Приедет и пешком отправится бродить по чешским и словацким деревням. А главное, заглянет в наши леса.

8

Незадолго до полуночи я снова, теперь уже в последний раз, встретился с Михаилом Александровичем. Он позвал нескольких участников вечерней беседы к себе, на виллу Конева. За столом с нами остались только Мария Петровна и Миша.

Разговор долго не клеился. Ничего особенно примечательного из этой последней встречи я не запомнил. Очевидно, я слишком устал за день. И все же мне кажется, что именно там, за столом, а не в писательском клубе Шолохов говорил об Алексее Толстом:

– Люди уж так устроены, что, стараясь похвалить одного, обязательно хулят другого. Хваля Шолохова, они непременно тут же ругают Алексея Толстого. А я вам скажу, что Алексею Толстому все давалось значительно труднее, чем мне, и все же он стал одним из крупнейших советских писателей. Это был истинный дворянин, граф, всем своим воспитанием, всеми своими корнями. Он бежал из революционной России, эмигрировал. И все-таки уже в

эмиграции начал писать «Хождение по мукам». Он вернулся и отдал все свои силы на службу революции. Это знали советские люди.

Его выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета. Собрание избирателей проходило в заволжском округе, где Алексей Николаевич жил в молодости. Старый колхозник представил кандидата избирателям примерно такой речью: «Взгляните на него. Вот сидит он, ваш будущий депутат. Граф. С головы до пят граф! Потомок крупных помещиков, чьими крепостными были ваши отцы и деды. Моего отца, крепостного крестьянина, его отец, граф, проиграл в карты другому помещику. Когда у них кончались деньги, они всегда играли на «души», на нас! И, видите, я предлагаю, от всего сердца предлагаю избрать Алексея Николаевича Толстого, русского писателя, того самого, которого вы видите здесь перед собой, вашим и своим депутатом в Верховный Совет, потому что он написал замечательные книги о революции, написал их про нас и для нас!»

Так говорил об Алексее Толстом старый колхозник. Это вполне выражает и мой взгляд на Толстого, – закончил свой рассказ Михаил Александрович Шолохов.

Он велел подать вино.

Я расстался с радушным хозяином, когда веселье было в полном разгаре. Мой отец говорил обычно: «Умей уйти в подходящий момент». И я ушел.

Михаил Шолохов пробыл в Праге еще два дня. Он ездил в сельскохозяйственный кооператив в Пршерове, под Прагой, посетил Зденека Неедлы, выступал по телевидению и давал интервью для газет. Сопровождали его другие люди.

Но у меня в памяти осталось нестираемое воспоминание о шестнадцати часах, проведенных с самым большим писателем нашего времени и сильным, правдивым человеком.

За это я благодарен судьбе.

Федор Шахмагонов¹ «Бремя «Тихого Дона»

<Главы из книги>

Произошло это десять лет спустя, в 1951 году, более сорока лет тому назад, но свежа в памяти каждая мелочь, как будто бы вечером вспоминается то, что произошло утром.

В начале 1951 года я заведовал отделом литературы и искусства «Комсомольской правды».

Однажды мне позвонил известный советский писатель Федор Панферов², живой «классик» того времени, автор нашумевшего романа о коллективизации «Бруски», главный редактор журнала «Октябрь».

– Не удивляйся, – сказал он, – что я тебе в «Комсомолку» рекомендую интереснейшую статью писателя Михаила Бубеннова. От сердца отрываю, но для журнала маловата объемом, а газетный лист украсит. Проблему он ставит острую. Вот ты открываешь книгу, читаешь – прекрасная книга. Тебе хочется узнать: кто же автор, а автор скрылся под псевдонимом. А если книга плохая? Псевдоним скрывает имя бракодела. Вот Михаил Бубеннов и задается вопросом: «Нужны ли литературные псевдонимы?» В нашей интернациональной стране псевдоним – позорный пережиток. Посмотри статью, а я переговорю с главным редактором...

Михаил Бубеннов вошел в литературу в послевоенное время своим романом о войне «Белая береза». За первую книгу ему была присуждена Сталинская премия первой степени. Константин Паустовский такие случаи называл подъемом лифта сразу на высший этаж. Первая премия означала, что писатель попадал в личную сталинскую номенклатуру. Шумную и даже скандальную известность Михаил Бубеннов получил после своей резкой критической статьи о романе Валентина Катаева «За власть советов», опубликованной в «Правде».

Я не собираюсь защищать или хулить эту статью, признаюсь, и романа «За власть советов» я не читал. Повесть Катаева «Белеет парус одинокий» включалась в школьный список для обязательного чтения. Странно выглядело появление в «Правде» разгромной статьи в разгар неумеренных восхвалений романа и выдвижения его на Сталинскую премию.

Не знаю, с какого времени появились в советской литературе писатели, неприкасаемые для какой-либо критики. В статьях, в литературоведческих работах рассуждать можно было об их творчестве только в восторженных тонах, указание даже на мелкие огрехи считалось святотатством и могло вызвать даже обвинение в антисоветской деятельности. А если критик касался «неприкасаемого» еврейской национальности, то сразу же возникало обвинение в антисемитизме. Самое печальное, а быть может, смешное состояло в том, что произведения «неприкасаемых» в своем подавляющем большинстве отнюдь не были совершенством. «Неприкасаемость» порождала падение критерия требовательности и вела к вырождению литературы.

Шло время, одни имена сменялись другими, литературные произведения, объявленные классикой, умирали при жизни их авторов, появлялись новые «неприкасаемые», вызывая гниение литературного процесса.

Иногда вдруг свершалось ниспровержение какого-либо «неприкасаемого». Обычно это исходило не из среды литераторов, а от властных партийных структур.

Валентин Катаев давно и прочно входил в сонм «неприкасаемых», его позиция в литературе была несомненно прочнее, чем у Бубеннова, едва лишь выскочившего в лауреаты.

Появление статьи Бубеннова в «Правде» имело свою закулисную историю, известную узкому кругу лиц, причастных к кухне, где вываривались в идеологической щелочи литературные события. Писал он ее для журнала «Октябрь». Федор Панферов статью отклонил.

– Испугался! – объяснял Бубеннов.

Отклонили и другие журналы.

Бубеннов обратился с жалобой, что Катаева оберегают от критики, в ЦК партии. Письмо попало, как то и было положено, к секретарю по идеологии Михаилу Андреевичу Суслову. Бубеннову позвонил кто-то из его помощников и сказал, что Суслов не одобряет содержания статьи.

Бубеннов ответил дерзостью по тем временам необыкновенной. Надерзив, смутился, это его подвигло тут же послать письмо Сталину. Несомненно, он находился под воздействием эйфории от внезапно обрушившейся на него славы с романом.

Для сегодняшнего читателя, особенно для тех, кто вступил в сознательную жизнь в «перестроечное» время, звучит странно: письмо Сталину по поводу публикации критической литературной статьи. И действительно: Сталину ли, главе государства, «вождю мирового пролетариата», заниматься литературной полемикой? Такова эпоха. К Сталину обращались и не с такими мелочами. Другое дело, очень редко обращение к нему доходило и по серьезным проблемам получало отклик. А если следовало его вмешательство, то каждое слово его указания вписывалось в основы политики партии.

Каковы были шансы, что Сталину доложат о письме Бубеннова? Сработал, однако, механизм, необъяснимый для смертных. Не прошло и суток, на квартире Бубеннова, в довольно поздний час, раздался телефонный звонок. Сталин лично позвонил Бубеннову, одобрил содержание статьи и посоветовал опубликовать ее в «Правде».

Вот и гадай, что открыло статье «зеленую улицу»? Не было ли это отражением борьбы за влияние каких-то лиц в аппарате ЦК? Похоже и на то, что Сталин поправлял Сулова, ориентируя его на какую-то еще не очень-то ясную линию в идеологии.

Опять же, сегодняшнему читателю, а еще и молодому человеку на девятом году «перестройки», после низвержения власти ЦК КПСС, в обстановке, когда газетная критика ни во что не ставится, трудно представить, что означала критическая статья о литературном произведении.

Одним ударом Валентин Катаев лишился возможности получить Сталинскую премию за свой военный роман, выводился из «неприкасаемых», останавливались все переиздания романа, повесть «Белеет парус одинокий» исчезла с полок школьных библиотек.

Надо полагать, что об обращении Бубеннова к Сталину и о реакции Сталина знал узкий круг лиц. Писательская общественность раскололась на два лагеря: одни поздравляли Бубеннова, другие одолевали анонимными звонками по телефону с угрозами. Поползло по Дому литераторов обвинение Бубеннова в антисемитизме, наиболее солидные сторонники Катаева взяли его под прицел, выжидая момента нанести ответный удар.

Позже такой момент был найден, подобран со снайперской точностью, и я полагаю, что и свалил Бубеннова. Но это много позже.

Я не думаю, что Бубеннов изначально был настроен агрессивно к сотоварищам по еврейской национальности. На Катаева он поднялся как на конкурента. Обидно было, что его «Белая береза», хотя и получила первую Сталинскую премию, столь бурных восхвалений в печати не дождалась, как роман Катаева.

После статьи о романе Катаева он не мог не обратить внимания, что атакует его еврейское крыло Союза писателей. Всякое действие рождает противодействие.

Потом, много лет спустя после этой истории, я узнал, кто присоветовал Бубеннову поднять вопрос о псевдонимах. Лукавый был совет.

Федор Панферов значительно глубже знал этот вопрос и знал, что вопрос этот болезненный и, поднятый в том свете, как его поднял Бубеннов, жестокий вопрос.

Псевдонимы не появляются ради забавы, ради кокетства – крайне редко. Редки были русские фамилии у лиц еврейской национальности, если и были, то явились из царского прошлого, когда еврейская фамилия могла помешать ее обладателю и учиться, и заниматься делом даже и в финансовой области. Эти русские фамилии у лиц еврейской национальности к псевдонимам не относятся, хотя их могли получить в наследство и литераторы.

В двадцатые и тридцатые годы в советской стране еврейская фамилия, напротив, была фактором, благоприятствующим для продвижения в любые сферы деятельности.

В те далекие годы, я называю далекими и годы пятидесятые, мало кто знал о зигзагах сталинской национальной политики, а еще меньше знали о зигзагах его внешней политики. С конца 1934 года в глубочайшей тайне Сталин начал зондировать возможность соглашения с Гитлером о переделе или о разделе мира, искал пути сближения с ним. Германию посетили несколько его секретных миссий. Гитлеру в ту пору было выгоднее играть на антибольшевистских настроениях крупных капиталистических стран, выменивая на объявление крестового похода против коммунизма разного рода существенные политические уступки. Зондаж продолжался, Гитлер его не прерывал и под разными предложениями затягивал, оставляя возможность соглашения со Сталиным про запас. Одной из причин, якобы затрудняющих такое соглашение, гитлеровская сторона выдвинула еврейский вопрос. Гитлеровская сторона указывала, что Германия не может положиться на союзника, в правительстве которого преобладают евреи, евреи же занимают и ключевые посты на всех решающих направлениях в политике.

Еврейский вопрос в середине тридцатых годов вызвал озабоченность Сталина. Ему казалось, что каждый еврей в душе скрытый троцкист. Его личная борьба с Троцким уже переносилась им на борьбу с лицами еврейской национальности.

Хотел ли Сталин устроить еврейский геноцид перед войной или не считал это возможным, мы уже никогда не узнаем. Однако, когда наметилось реальное сближение с Гитлером, он решил вопрос чисто по-сталински: евреям, выступающим публично в печати, повелел изменить еврейские фамилии на русские или, иначе говоря, скрыться под псевдонимами. В «Правде», в аппарате ЦК с табличек на кабинетах исчезли еврейские фамилии, взамен появились русские.

В своей статье, или, точнее сказать, заметке, Бубеннов совершенно не коснулся этой проблемы. Я полагаю, что он и не знал ничего о директивном взятии псевдонимов.

Не подумал он и о том, что царившая неустойчивость в еврейском вопросе после войны не способствовала возвращению прежних фамилий, а, напротив, плодила новые псевдонимы.

На поверхности лежал неотразимый аргумент, правда, чисто демагогического характера: в стране, где во главу национальной политики поставлены принципы интернационализма, псевдонимы неприемлемы.

В разные времена могут быть различные точки зрения на проблему в зависимости от информированности и подготовленности понять проблему.

Сегодня, скажем, с сегодняшним владением проблемой, будь на то необходимость моего решения, я не опубликовал бы статью Бубеннова. Псевдонимы без особых к тому причин, конечно, не нужны, но стоило бы признать, что в конце сороковых и в начале пятидесятых годов в стране имели место основательные причины лицам еврейской национальности, работающим в области литературы, брать псевдонимы. Под пристальным взглядом ЦК и КГБ под псевдонимом скрыться было невозможно, но не надо забывать, что кампания против космополитизма, развернутая в 1947 году, не могла не вызвать недоверия в массах к еврейским фамилиям, а у евреев – поселить ощущение неустойчивости своего положения.

Много позже я узнал, что появление статьи Бубеннова на страницах газеты не было лишь волеизъявлением Федора Панферова или главного редактора «Комсомольской правды» Дмитрия Петровича Горюнова. Вопрос решался в очень высоких инстанциях, а все было подано как невинное удивление писателя: зачем нужны литературные псевдонимы? Не прошло и года, как начался страшный процесс над врачами-евреями, в инстанциях ходили слухи о поголовном переселении всех лиц еврейской национальности из Москвы.

В эту накаленную обстановку и врезался Бубеннов со своей заметкой.

Опять же, перенесемся в те далекие времена. Сегодня такая публикация или прошла бы незамеченной, или вызвала бы полемику, на том все и закончилось бы. В те времена статьи в «Правде» носили силу закона, а выступление любой центральной газеты носило директивный характер, если оно не дезавуировалось каким-либо указанием сверху.

Статья оказалась хвойным сушняком, брошенным в костер. В Союзе писателей, у кинематографистов, в театральном мире, вообще в мире искусства и в среде интеллигенции вспыхнул яростным пламенем вяло тлевший до этого времени костерок. Сразу же были забыты все призывы к консолидации, к идейно-организационному единству. Раскол по национальной принадлежности русских и русскоязычных литераторов, тщательно приглушаемый заклинаниями партийных и литературных вождей, полностью обнажился.

Бубеннов уязвил своих недоброжелателей, но значение его выступления переросло замысел автора.

Нашлись силы, не посчитавшиеся с авторитетом «Комсомольской правды», центрального печатного органа комсомола, верного помощника партии.

Константин Симонов, в те времена писатель, облеченный властью в литературе, секретарь Союза писателей СССР, главный редактор «Литературной газеты» (всех его титулов не перечесть), опубликовал заметку, в которой отхлестал Бубеннова и с вызовом подписал вместо Константин – Кирилл.

В те годы к такого рода полемическим выступлениям относились очень ревниво. Излишне ревниво, никто не хотел принимать в расчет, что не в полемике решается судьба литературы, а талантом и возможностями свободного его выражения, а вот свободы-то все годы большевистского режима и не было.

Бубеннов и сочувствующие ему рвались в бой. Далеко не все, а скорее почти все, рвавшиеся в бой, не понимали скрытый смысл заметки Бубеннова. Действовали скорее по принципу «наших бьют». Русское крыло Союза писателей поднималось на еврейское крыло. В редакцию посыпались писательские письма, резкие и злые, читательские письма более сдержанные, больше с вопросом: что за предмет для ожесточенного спора? Некоторые даже присылали ответы К. Симонову. Выбрать было из чего, но из ЦК раздался звонок заведующего сектором центральной печати Владимира Семеновича Лебедева. Он «посоветовал» главному редактору «Комсомольской правды» в полемику с «Литературной газетой» не вступать. Такой совет не мог иначе расцениваться, как директива ЦК. Но и последнее слово за Симоновым как оставить?

Бубеннов написал ответ с кричащим названием: «Крепки ли пуговицы на Вашем мундире, К. Симонов?» Это сочинение пошло по писательскому кругу, собирая подписи.

«Комсомольская правда» не собиралась публиковать этот ответ. Мне и заведующему отделом критики Виктору Тельпугову главный редактор поручил составить сдержанный ответ в несколько слов. Ответ родился: без особой на то нужды нет причин менять имя и фамилию, данные отцом и матерью.

Горюнов колебался, давать ли эту заметку, запрет действовал.

А тут раздался звонок Бубеннова главному редактору. Бубеннов сообщил, что ответ Симонову даст Михаил Шолохов, и просил приехать к нему наутро на встречу с Шолоховым.

В журналистских кругах было известно, что Михаил Шолохов крайне неохотно выступает в печати, да еще в полемике.

У Горюнова не было уверенности, что Шолохов явится на квартиру к Бубеннову, да к тому же еще и ввяжется в полемику. Не желая оказаться в смешном положении, он поручил мне поприсутствовать на готовящейся встрече. Я тоже не очень надеялся на такую встречу.

Утром, в половине десятого, на квартире Бубеннова собрались самые деятельные его защитники: Семен Бабаевский, Анатолий Софронов, Аркадий Первенцев, Елизар Мальцев (позже он переметнулся в другой стан, к оппонентам Бубеннова, порвав с русским крылом Союза писателей).

Интересная встреча. Я еще только приобщался к литературной среде, начал работать над первым своим романом «Тихие Затоны», на собравшихся должен был как будто смотреть снизу вверх. А вот не получалось снизу вверх, и не от уверенности в своих творческих силах, а от знания литературы и от внутреннего неприятия творчества этих «классиков», насквозь лживого и конъюнктурного. Воспитан я был на русской и мировой классике, а не на советских поделках, правда, тогда еще не мог представить себе, сколь прочны оковы партийной цензуры, сколь они мало дают места для творчества.

Быть может, мое далекое от почтительности отношение к этим именам позволяло мне увидеть то, что почтительность к ним скрывает от глаз.

Положим, исключая Бабаевского, с каждым из них я был знаком ранее по работе и в редакции «Известий», и в «Комсомолке», а с Елизаром Мальцевым мы занимались в Литературном институте Союза писателей (поучился я и в этом специфическом институте), ходили на семинары по прозе к Леониду Леонову и Константину Федину. Отличался он заискивающим характером перед сильными мира сего, ныне же я его увидел и самого в «классиках». За серенький роман «От всего сердца» о процветании колхозной деревни он получил Сталинскую премию. Из романа сделал оперу, ее поставили в Большом театре. Опера с треском провалилась, Елизар стал посмешищем в литературных кругах.

Я все еще новобранец, а он уже генерал, и рядом с ним генералы от литературы. Как тут не вспомнить бродивший тогда в писательских кругах анекдот. У подъезда Московского Дома литераторов стоят два вальжных полковника Фадеев и Симонов и беседуют, перекрыв вход в подъезд. Подходит поручик. Надо бы ему пройти, да вход полковники загораживают. Пришлось ему обратиться с просьбой чуть посторониться.

– А ты кто таков? – спрашивает у него полковник Симонов.

– Поручик Лермонтов...

И тогда моему пониманию было доступно, что эти «генералы» всего лишь калифы на час. Где сегодня, на какой полке искать трехтомник Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды», романы Елизара Мальцева, стихи Анатолия Софронова, книги Аркадия Первенцева? Забыта и «Белая береза» Бубеннова. Время безжалостно, но и справедливо сняло с них лауреатский лоск, но в те дни они осознавали себя вершителями великой русской литературы. Осознавали ли? Приглядевшись, можно было заметить, что их что-то грызет изнутри, чего-то им не хватает, хотя все миллионеры, быть может, сомневались и сами не понимали природу своего взлета? Отсюда выработанные позы, долженствующие подчеркнуть их значение, выпятить его постановкой голоса; пустословие сочеталось с барственным тоном. Такое ощущение, что все они ходят, приподнявшись на цыпочки.

Попроше держался хозяин дома, поглотило все его мысли и чувства уязвленное самолюбие, и казалось ему, что вот еще одно усилие, еще рывок, и пуговицы с мундира Симонова, вырванные с мясом, рассыплются по полу. Улыбчив и сдержан более других Анатолий Софронов, ему, пожалуй, единственному из всей компании было присуще чувство юмора, и он умел взглянуть на себя со стороны. Что ни говори, сказывалось интеллигентное происхождение. Да и на цыпочки не надобно привставать при его росте. А Елизару Мальцеву

как не привставать, это при малом-то росте. Аркадий Первенцев играет привычную роль партийного мудреца. Семен Бабаевский в жестах и в словах «живой классик», – не говорит, а изрекает.

Перед кем игра? Не передо мной же, слишком для них незначительная фигура, друг перед другом играли в значительность.

Звонок в дверь. Хозяин поспешил в прихожую. Мягкие шаги, негромкое покашливание, в кабинет вошел Михаил Александрович Шолохов. В кабинете словно посветлело. Ни малейшей игры, естественен, простота кажущаяся, удивительное, почти незаметное, чувство достоинства. Речь проста, без патетики, прозвучало и его любимое словечко «дескать». Генералы полиняли, и оказались они перед маршалом вовсе не генералами, а всего лишь солдатами.

С Шолоховым его старый друг, писатель Ефим Пермитин (о нем несколько позже).

Шолохов поздоровался с каждым за руку, извлек из галифе пачку «Беломора», закурил и, улыбнувшись, спросил:

– Ну и как? Ввязались в драку, а как ее закончить, не подумали?

Кто-то заметил, что Симонов превратил «Литературную газету» в собственный орган.

– Очень жаль! – отпарировал Шолохов. – Вас очень жаль. Такие богатыри отдали свою газету. Почему ваши пороховницы оказались без пороха? Где ваше «товарищество»?

Игра слов из «Тараса Бульбы», как потом я узнал, была любимой присказкой Шолохова.

– Наше товарищество в сборе! – в тон ему ответил Анатолий Софронов. – С Костей Симоновым мы разобрались бы, да у него защитники, с ними нам не разобраться без тебя, Михаил!

– Это как понять? – спросил Шолохов.

Софронов указал на меня:

– Вот «Комсомольская правда»... Федор, объясни.

Я пояснил, что из ЦК пришло указание прекратить полемику и Симонову не отвечать.

– От кого указание?

– От Лебедева...

– Лебедев еще не ЦК. С Суловым говорили?

– От него и указание! – уточнил Софронов.

– И Сулов еще не ЦК.

В разговор вступил Бубеннов:

– Вот, я написал ответ: «Крепки ли пуговицы на Вашем мундире, К. Симонов?» Прочсть?

– Не надо! – остановил его Шолохов. – Могу сразу ответить: пришиты крепко! Вам известно, кто пришивал?

– Сионисты пришивали! – выскочил Мальцев.

– Ой ли! – усмехнулся Шолохов. – Есть на его мундире пуговицы, пришитые и вами. Кто его избирал в руководство Союзом? Что же никто из вас не встал на бруствер?

– Сионисты его в гении произвели, а как дойдет до русских, так топчут! – не унимался Мальцев.

– А вы не давайте себя топтать.

Шолохов подошел к Первенцеву:

– Разве тебя, Аркадий, стопчешь? Это какого же коня надо оседлать, чтобы стоптать тебя? Не тот виноват – кто бьет, а тот – кого бьют! Костя Симонов игрок! Джек Лондон прекрасно расписал, как гнали наперегонки собачьи упряжки, чтобы первыми застолбить золотоносные жилы. Так и Костя Симонов – тему застолбит, а у нас смотрят на тему, а не на то, как она раскрыта. Я не знаю, что вы хотели выиграть, заговорив о псевдонимах, а вот

что он хочет выиграть, видно, не заглядывая в его карты. Ищет популярности у шумливой литературной публики. А тебя, Бубеннов, эта публика отныне бить будет нещадно.

– Уже окрестили антисемитом! – заметил Бубеннов.

– Чтобы руки тебе не отбили, – продолжал Шолохов, – надобно Костю Симонова поставить на место. Это уже моя забота... Я сейчас от вас в ЦК, вечером встретимся.

– Прошу ко мне! – поспешил с приглашением Бубеннов.

– В штаб ВРК! – восторженно воскликнул Елизар Мальцев.

– Революции, братцы, я вам не обещаю. Псевдонимы – это конечно же пустяки. Шолом-Алейхему псевдоним был не нужен, ему не надобно прятать бесталанность за русской фамилией, но и Косте Симонову не по плечу хозяйничать в русской литературе, сам еще в начинающих ходит, хотя и звенят медали у него на груди. Машина есть у кого-нибудь до Старой площади подвезти или вызывать?

Машины у каждого. У подъезда стоят. Шолохов предпочел машину «Комсомольской правды». Пояснил:

– Не люблю я писателей за рулем. Предпочитаю профессионалов.

С нами поспешил выйти Семен Бабаевский. Неспроста торопился, при всех постеснялся спросить:

– Михаил Александрович, что скажешь о моем «Кавалере...»?

Шолохов остановился, взглянул почему-то на меня, усмехнулся и обернулся к Бабаевскому:

– Не понимаю, Семен, как это получается: за первую книгу первая премия, за вторую – вторая, за третью – третья... Было бы понятно, если степени возвышались, а не понижались!

– Это все они, псевдонимщики! – ответил Бабаевский.

– Они что же, за тебя роман писали?

Мы сели в машину, а Бабаевский застыл на месте, как городничий в заключительной сцене «Ревизора».

В редакции смутились обещанием Шолохова дать ответ Симонову. Такое выступление в интересах газеты, а как быть с запретом продолжать полемику? Да и в какую форму выльется ответ?

Ответственный секретарь редакции Александр Плющ переспросил:

– Шолохов? Какой Шолохов? Не Шолохов ли Синявский?

Горюнов поморщился:

– О Шолохове-Синявском нет речи...

И все же до последнего часа Горюнов не верил, что состоится выступление Михаила Шолохова. К Бубеннову не поехал, послал меня, а своим полномочным представителем – Владимира Семенова, заместителя главного редактора.

В сборе оказались все те же лица. Стол накрыт для ужина, но за стол не селись, ждали Шолохова. Приехал он с небольшим опозданием.

У всех на уме один вопрос: будет ли писать ответ, но спросить никто не решился. Шолохов, ничего не объясняя, сразу прошел в кабинет и попросил несколько листков бумаги.

Я же мог наблюдать, до каких градусов может накалиться литературная борьба. К сожалению, не за литературу, а за кусок сладкого пирога, в который превратил Союз писателей литературу. За что они боролись, собравшиеся в тот вечер на квартире Бубеннова? За что боролась группировка Симонова? Все, и те и другие, состоящие в полной зависимости от идеологов аппарата ЦК КПСС.

Что они защищали? Чистоту и значительность советской литературы, мертворожденное дитя тоталитарного режима? Вся нелепость коллизии состояла в том, что и те и другие равно были далеки от возможности соблюсти чистоту и высокие достоинства русской литературы и из-за идеологических шор, и по слабости своих способностей. И те и другие

были только участниками дележа сладкого пирога, который выставляли «на шарап» хозяева страны и глядели на соревнующихся, кто из них усерднее служит за подачку.

Там, наверху, на партийном Олимпе, заваривалось варево по рецептам, о которых мало кто знал, а здесь, внизу, отзвуком – полемика о псевдонимах. Сомнительно, чтобы К. Симонов был сионистом, он просто оценил выгоду работы в системе еврейской национальной сплоченности и воспользовался этим национальным свойством для своего возвышения. Он мог быть беспощаден к русским писателям, а по персту указующему становился столь же беспощадным к писателям еврейской национальности. Не он ли после смерти Сталина, который стоял на пороге организации крупнейшего еврейского погрома, призывал всех во всем следовать сталинским заветам? А ведь был талантлив и оставил след в русской поэзии, разменяв свой талант на конъюнктурные поделки и администрирование.

Итак, понятна позиция Бубеннова и иже с ним, также понятна и позиция Симонова и тех, кому он подыгрывал. Что же побудило Шолохова вмешаться в это бесплодное сражение под одеялом идеологического отдела ЦК? Тогда, впервые его увидев, я еще мог думать, что его волновала проблема псевдонимов и механическое засилье литераторов еврейской национальности над русскими. Я тогда совершенно не представлял себе, как он оценивает творчество тех, за кого как будто бы собрался заступиться. Какое он отводил им место в литературе?

Не так-то долго он сидел над ответом. Пригласил всех присутствующих в кабинет и прочитал блестящий памфлет на Симонова «С опущенным забралом». По проблеме псевдонимов он скользнул, а прямо поставил вопрос, что и кого защищает Симонов. Ясно дал понять, что маневр Симонова разгадан, а оттого невнятна его речь и недоступна для народа. Много позже я понял, что, выступи против Бубеннова кто-то другой, он не вмешался бы. Но видимо, в его сознании созрело решение, что Симонову пора указать его место в литературе и напомнить ему, что он совсем не мэтр, а такой же ученик, как и Бубеннов.

Попутно замечу, что две страницы машинописного текста были написаны без поправок. Об этой особенности писать без поправок разговор еще впереди.

Памфлет жесткий, удар неотразимый, так и ушел на долгие времена образ Симонова – бойца с опущенным забралом, ремешки которого туго затянуты на подбородке.

Литературные «генералы» возрадовались, Семенов смутился. Он понял, что не ему решать судьбу этой публикации, да еще при указании ЦК приостановить полемику. К. Симонов прочно стоял в рядах «неприкасаемых». На нас с Семеновым выпала доля отвезти памфлет в редакцию. Семенов поинтересовался, как бы он мог связаться с Шолоховым, если возникнут какие-либо вопросы.

Шолохов сухо ответил:

– По тексту вопросов не должно возникнуть. Завтра прочту в «Комсомольской правде».

Литературные «генералы» были опытными царедворцами, да и Семенов в таких позициях разбирался. Сразу все поняли, что Шолохов с кем-то согласовал свое вмешательство в полемику. Аккуратно поинтересовались, у кого он днем побывал в ЦК. Но разъяснений не получили.

Горюнов не ждал. Молча взял рукопись и прочитал, благо невелик был ее объем.

Так же молча снял трубку с аппарата кремлевской связи. Слышимость по этой линии связи отличная. Мы слышали, кто и что ему отвечал.

Горюнов соединился с первым секретарем ЦК ВЛКСМ Михайловым. В высшей партийной номенклатуре лицо заметное.

– Николай Александрович, – сказал Горюнов, – Шолохов написал ответ Симонову.

Оттуда вопрос:

– Он подписан Шолоховым?

– Написан его рукой и подписан. Прочитать?

– Завтра прочту в газете. Проследи, чтобы все было слово в слово, запятая в запятую. Горюнов положил трубку и взглянул на нас:

– Слышали? Проследите до выхода газеты!

Нетрудно было догадаться, что публикация памфлета предрешена в самых высоких инстанциях. Конечно, было интересно узнать, в каких именно, но... Узнали позже.

На другой день разразился скандал в «литературном семействе». Кто-то поздравлял меня за смелость с публикацией памфлета, будто бы заведующий отделом мог решить вопрос о его публикации, кто-то высказывал опасения за мою литературную судьбу (опасения не напрасные), раздалось несколько телефонных звонков с угрозами.

Позже, много позже, когда я уже стал близок к Шолохову и он доверял мне, открылось, что в тот день, когда был написан памфлет, он побывал у Сталина. Конечно же не по поводу псевдонимов. Разговор о полемике зашел попутно. Сталин сказал, что ему известно о расколе в Союзе писателей и об остаточных рапповских настроениях. Он отрицательно высказался о выступлениях Бубеннова и Симонова. Они, дескать, ходят вокруг да около, а откровенно сказать о еврейском вопросе боятся. Болезнь нельзя загонять внутрь.

И вот они слова, появившиеся в памфлете:

– Интересно было бы знать, – сказал Сталин, – кто дал Симонову паспорт на масти-тость и бессмертие? Кого он защищает, что защищает, от кого защищает? С народом надо говорить внятно!

В то же время известно, что Сталин, а никто другой, из года в год награждал Симонова Сталинскими премиями. Мало кто мог соперничать с Симоновым по количеству лауреатских медалей. Не препятствовал он выдвижениям Симонова на руководящие посты в Союзе писателей, одобрил его избрание депутатом Верховного Совета СССР, ввел в высшие партийные органы. Неужели Сталину понадобился Шолохов, чтобы придержать Симонова за узду?

Дело сложное, связанное с какой-то игрой Сталина не с Симоновым, а с теми, кто стоял за ним. Мы увидим, что в несколько похожей ситуации, но значительно сложнее, Сталиным была разработана политическая интрига, в которой он намеревался использовать Шолохова. Об этом позже.

Шолоховским памфлетом Сталин лишь погрозил пальцем своему присяжному. По-видимому, этого оказалось мало, и он еще раз разрешил выступить с критикой одного из самых «неприкасаемых».

И на этот раз для критики К. Симонова была избрана «Комсомольская правда».

Вот уж не ожидал: мне на квартиру позвонил Шолохов. Меня не случилось дома, к телефону подошла мама. Она всегда интересовалась, кто меня спрашивает. Велико же было ее удивление, когда она услышала имя Шолохова. Она относилась к горячим почитателям его таланта.

Шолохов поинтересовался, кто с ним говорит, и попросил:

– Мать, поищи Федора, очень он нужен.

И оставил свой московский телефон. Мама нашла меня по телефону в редакции.

Я впервые позвонил на квартиру к Шолохову. Кому как, а для меня это было не рядовым событием. Шолохов попросил немедленно приехать к нему.

На его квартире, в Староконюшенном переулке, я застал Ефима Пермитина и заведующего отделом критики журнала «Октябрь» Михаила Романовича Шкерина.

– Как комсомольцы? – встретил меня вопросом Шолохов. – Остался еще порох в порохницах? Не оробели перед Костей Симоновым? Готовы поговорить о том, что он есть в литературе? Михаил Шкерин написал статью «Живое и мертвое в творчестве К. Симонова». Да вот никто не хочет связываться с Симоновым. Возьмешь в «Комсомолку»?

Если бы всерьез, а не с юмором был задан вопрос, подивился бы я его наивности. Публикация такой статьи не входила, пожалуй, и в прерогативу главного редактора.

Дали мне тут же прочитать статью. Статья была написана для журнала, для газеты ее надобно было сокращать. У меня недоумение, почему предлагают в «Комсомолку» статью, написанную заведомо критики журнала «Октябрь»? Если уж Шолохов взялся поддержать это выступление, почему ему не переговорить с Федором Панферовым? Спишем это мое недоумение не на наивность, а на мою неосведомленность об отношениях, сложившихся между Панферовым и Шолоховым еще в тридцатые годы.

Статья не вызвала у меня возражений. Я никогда не состоял в поклонниках творчества Симонова, а непомерное захваливание каждой строчки, выходящей из-под его пера, создавало надуманную фигуру в литературе.

Лично я с ним не был знаком, хотя в лицо его знал, сомневаюсь, чтобы он знал меня в лицо. Однажды мне довелось быть свидетелем его нечестной игры. Шло обсуждение выставляемых на Сталинскую премию произведений в Союзе писателей. Заседание вел Александр Фадеев. Чуть не первым в списке стояли китайские дневники Симонова. Он побывал в Китае корреспондентом, очерки публиковались в газетах. Обычные, ничем не примечательные, скучные очерки. Публикация их вызвала недовольство Мао. Тоже, наверное, не по делу, а по капризу китайского «вождя». Об этом было широко известно среди журналистов. С мнением Мао тогда считались, опять же по политическим соображениям. Всякому было ясно, что при наличии недовольства Мао Сталинская премия этим дневникам не была бы присуждена. Вместо того чтобы отказаться от представления этих дневников на премию, Симонов дал согласие на представление их, а на заседании сделал красивый жест. Он, дескать, отказывается, так как считает это рядовой журналистской работой. Вроде как и общественное признание дневники получили, а он сам отказался. Словом, защищать его у меня не было ни причин, ни оснований.

Статья не претендовала на всеобъемлющий анализ его творчества. Она подмечала конъюнктурные мотивы его игры на ту же публику, ради популярности у которой он ввязался в полемику с Бубенновым. Шкерин привел строчки из поэмы Симонова: «И родина не там, где ты родился, а там, где помнят о тебе». На этом и строился сюжет статьи.

Для кого предназначались эти слова? И выражали ли они чувства К. Симонова, поэта фронтовых лет, вкусившего славу на русской земле фронтового поэта, какой он нигде и никогда не имел бы по мере своего таланта. Нет, конечно! В этих строчках он расшаркивался перед теми, кому было действительно безразлично, где родиться, лишь было бы сытно и уютно.

Я взял статью, пообещав показать ее главному редактору. Шкерин сократил ее до газетного объема.

Горюнов еще не остыл после полемики по поводу псевдонимов. Полагаю, что он имел немало неприятностей от «симоновцев».

– Будем печатать! – сказал он и дал указание поставить статью в номер.

Статья уже была заверстана, я ждал появления контрольной полосы, и вдруг указание – «снять». Опять возникла фигура Владимира Семеновича Лебедева. По установленному тогда порядку тематические планы центральных газет посылались накануне их выхода в ЦК КПСС. Тема, автор, аннотация. Реакция была мгновенной.

И здесь браку суждено было свершиться «на небесах». Я передал наутро Шкерину огорчительное для него известие, а в обед меня пригласил к себе Шолохов.

На этот раз я застал у него Шкерина и работника отдела литературы и искусства «Правды» Кирилла Потапова.

Шолохов спросил:

– Горюнов не против публикации? Я не хотел бы навязывать ему статью. Соедини меня с ним.

Горюнов подтвердил, что он готов опубликовать статью Шкерина, но указания Лебедева нарушить не может.

Шолохов задумался. Протянул руку к телефонному аппарату, набрал номер, ему ответили, он назвал и попросил соединить с Михаилом Андреевичем Суловым.

Я впервые присутствовал при разговоре Шолохова с одним из руководителей партии. Тогда я еще ничего не знал об их взаимоотношениях.

– Михаил Андреевич, – сказал Шолохов, – не очень-то складно писателю ходатайствовать о критике, ну а как развиваться литературе без свободной критики? Речь идет о статье Михаила Шкерина о творчестве Константина Симонова. «Комсомольская правда» готова ее опубликовать, а из сектора центральной печати запрет. Это по твоей епархии, Михаил Андреевич! Надо бы снять запрет, хватит Симонову ходить в «неприкасаемых»!

Шолохов держал трубку на отдалке, чтобы и мы слышали ответ.

– Это я посоветовал воздержаться от этой публикации, – сказал Сулов. – Что значит имя Шкерина в литературе, чтобы критиковать Симонова? Это несерьезно, товарищ Шолохов!

Шолохов ответил:

– А серьезно ли, когда меня и Леонида Леонова разносили вдребезги вчерашние портняжки и скорняки? Пудами, на вес – опубликовано погромных рецензий. Шкерин профессиональный критик, член Союза писателей, за ним книги.

В голосе Сулова послышалось раздражение:

– Товарищ Шолохов, я не против критики Симонова, но против, чтобы в этом упражнялись люди, не причастные к большой литературе. Так и передайте автору. До свидания, товарищ Шолохов!

– Вот! – воскликнул Потапов. – Говорил тебе, что не время замахиваться на Симонова. Не ставь себя в ложное положение! Зачем тебе это нужно?

– Мне это не нужно! – ответил Шолохов. – Русской литературе нужно! А вот можно ли критиковать Симонова, мы сейчас узнаем.

Шолохов достал из стола записную книжечку, разыскал в ней номер телефона и набрал его. Потапов забеспокоился:

– Ты кому звонишь?

Шолохов не ответил, соединение уже произошло.

– Саша, – начал он, – привет тебе с Дона.

Потапов успокоился и шепнул нам:

– Это он с Фадеевым.

Но разговор был не с Фадеевым.

– Саша, мне надобно переговорить со Сталиным. Возможно это?

Мы не слышали ответа, Шолохов положил трубку.

– Миша! – воскликнул Потапов. – Что ты делаешь? Подумай!

– Думать уже некогда! – ответил Шолохов.

Раздался продолжительный телефонный звонок. Потапов вытянулся, как в строю, только руку не приложил к виску. Шкерин откинулся на спинку дивана и замер.

Шолохов поднял трубку, ответил на заданный вопрос с того конца провода:

– Отличная слышимость...

Признаюсь, неведомая сила подняла меня со стула. Поднялся и Шкерин.

Слышимость действительно была отличной.

– Здравствуйте, товарищ Сталин! Прошу простить за беспокойство.

Мы услышали голос Сталина:

– Здравствуйте, товарищ Шолохов! Если бы я не хотел вас услышать, вы меня не беспокоили бы. Я слушаю вас, товарищ Шолохов!

– Я опять к вам с нашими литературными болячками.

– Я сказал бы, с неблагополучием...

– Боюсь, напротив, со слишком самодовольным благополучием. Полное благодушие, ни слова критики.

– О ком речь?

– Литературный критик Михаил Шкерин говорит о живом и мертвом в творчестве Константина Симонова, а ЦК запрещает публиковать эту статью.

– Я не знаю о таком запрете, товарищ Шолохов. Вы читали статью?

– Читал!

– Вы считаете нужным ее публиковать?

– Считаю полезной. И Симонову есть чему учиться. Я могу послать вам статью.

– Зачем этот бюрократизм? Завтра я ее прочту. В какой газете?

– В «Комсомольской правде».

– Почему не в «Правде»?

– Комсомольцы проявили настойчивость. Не будем их обижать.

– У вас всё, товарищ Шолохов?

– Спасибо за поддержку!

В трубке послышались сигналы отбоя.

Потапов живо опомнился:

– Надо печатать в «Правде!»

– Что же ты раньше не сказал, теперь уже не переиначишь!

Тут я встал на защиту интересов своей газеты, но спор с Потаповым прервал телефонный звонок.

Шолохов ответил и, прикрыв трубку ладонью, прошептал:

– Суслов!

Отстранил трубку, и мы услышали:

– Михаил Александрович, я ознакомился со статьей Шкерина. В «Комсомольскую правду» дано указание – печатать.

– Спасибо! – поблагодарил Шолохов.

Я не случайно, с протокольной точностью, по старым своим записям воспроизвел эту сцену. Тем, кто не пережил «сталинской эпохи», трудно понять, как воспринимался этот эпизод его участниками. Жизненный и, как тогда говорили, партийный опыт у всех был различным.

Для Шкерина, старого партийца, начавшего свой трудовой путь кузнецом, вошедшим в литературу с трудовыми мозолями на руках, ответ Сталина прозвучал, конечно, как высшая справедливость. Ушло с ним с того дня навсегда, что Сталин «его поддержал».

Шолохов спросил у меня:

– Статью в ЦК посылали?

Я ответил, что не посылали.

– Вот он каков, наш идеолог!

Это он о Сулове. А потом добавил:

– Только вот что, братцы, о моем разговоре со Сталиным – молчок! Иначе я вас не смогу защитить!

В нашем настроении эти слова прозвучали диссонансом. Сталин поддержал, от кого же защищать?

Оказывается, было кого защищать, было и от кого защищать.

Шкерину очень скоро пришлось уйти из «Октября». Писательская судьба его сложилась трудно, хотя немало писателей вошло в литературу с его доброжелательной руки.

Шолохову пришлось позаботиться о его устройстве на работу редактором в редакцию художественной литературы в издательстве «Молодая гвардия».

Не умолчу и еще об одной его встрече с Симоновым.

Шкерину нужно было решать квартирный вопрос. Он обратился к секретарю Правления Союза писателей Анатолию Софронову за содействием, рассчитывая, что Софронов, противник Симонова, поможет критику, осмелившемуся критиковать всесильного «неприкасаемого». В квартире Шкерину было отказано. По каким-то причинам оргвопросы, связанные с выдачей квартир писателям, перешли к... Константину Симонову.

Он вызвал Шкерина, расспросил о его жилищной проблеме и написал резолюцию, в силу которой Шкерин получил квартиру во вновь построенном для писателей доме. И между прочим, показал ему резолюцию Софронова с мнением воздержаться от улучшения жилищных условий писателю Шкерину.

Это тоже штрих к портретам Симонова и Софронова.

Только не подумайте, что Симонов искал расположения у Шкерина!..

* * *

В схватке о псевдонимах друзей я не приобрел, а врагов нажил немало, на каждом шагу моего пути в литературу возникали препятствия и справа, и слева, а главное, за близость к Шолохову. У кого-то руки были коротки, рука Сулова не всегда, но, случалось, доставала. Пока он не ушел из жизни, ошельмованный своими соратниками, как полусумасшедший, он помнил, что я был свидетелем, как ему приходилось изменять в течение нескольких минут свои решения. Унизительно для вождя-идеолога.

Я так и не узнал, известно ли было Горюнову, что Сталин решил судьбу статьи Шкерина. Разрешительный звонок в редакцию был сделан все тем же Лебедевым; сомневаюсь, чтобы он ссылался на Сулова, а тем более на Сталина. По субординации это было не положено. Несомненно одно: Горюнов догадался, что разрешение дано с «самого верха».

Не сразу узнал, кто благословил «Комсомолку» на столь резкое выступление, и К. Симонов.

Чуть позже, месяца через два-три, он затеял странную интригу. По-видимому, кто-то его жестоко дезинформировал. Он обратился в ЦК с утверждением, что статью за Шкерина и памфлет за Шолохова писал... Шахмагонов и стоящие за ним силы. У меня потребовали оригинал памфлета. На счастье, я его сохранил. Ну а Шкерин был под рукой. Видимо, кому-то удобной показалась моя фигура, чтобы все списать на меня.

Пришлось и мне уйти из «Комсомольской правды». Предлогом была избрана, однако, не полемика о псевдонимах.

После публикации памфлета и статьи Шкерина мое положение в редакции осложнилось. Отношения с моими коллегами раздвоились. С одними установились дружеские отношения, другие проявляли откровенную враждебность, превосходящую своей мерой значение любого литературного спора. Вслед за Бубенновым и Шолоховым меня причислили без каких-либо оснований к антисемитам.

Об этом массовом идиотизме много писалось и говорилось; с легкостью необыкновенной, близкой к помешательству, еврейские литераторы зачисляли в антисемиты всякого, кто хотя бы раз посмел выступить с критикой какого-нибудь произведения, автором которого был еврей. В таких случаях человек, не будучи антисемитом, после зачисления его в эти ряды волей-неволей становился таковым.

Меня это не коснулось. Как я мог стать антисемитом, учившись в школе с еврейскими мальчиками и еврейскими девочками, имея друзей и неприятелей как среди русских, так и среди евреев. Еврейские мальчики влюблялись в русских девочек, русские девочки влюблялись в еврейских мальчиков. Русский народ всегда был терпим к людям любой национальности, именно поэтому большевистский интернационализм Ленина – Троцкого был легко воспринят в России.

Русский человек откровенен, поэтому независимо от национальной принадлежности выскажет осуждение за безнравственный поступок. А в литературе и искусстве? Если русский художник допустил слабинку в своем творчестве и ему об этом сказали, никто не назовет критика русофобом; возможна острая полемика, но без примеси национальных мотивов.

Да, редакция раскололась, русские со мной, мои коллеги евреи – враждебны.

Я знал, что кто-то уже работает над тем, как меня убрать из «Комсомолки». На Шолохова броситься не смели. Но видимо, и использовать выступление Шкерина предлогом для моего удаления из газеты не могли. Надо полагать, что лицам, от которых зависела перестановка кадров в центральных газетах, было известно, кто стоял за этой публикацией.

Собственно говоря, я сам облегчил задачу.

ЦК ВЛКСМ и Союз писателей СССР созвали первое Всесоюзное совещание молодых писателей. Участники совещания были распределены по творческим семинарам. Руководителями семинаров, по мнению руководства Союза писателей, были утверждены наиболее мастеровитые из «ведущих» и «неприкасаемых».

К тому времени я уже достаточно разобрался, кто есть кто. Учеба в Литинституте и работа в творческих семинарах Константина Федина и Леонида Леонова дали понятие и о том, что такое литературное мастерство и каким должен быть руководитель семинара.

Я уже не говорю о подверженности многих руководителей семинаров групповым интересам и национальному эгоизму. Большинство из них были малообразованными людьми и вовсе не мастерами ни в прозе, ни в поэзии; все их мастерство выражалось в умении быть на виду у начальства и состоять в активе. Иные из них и статейки-то в газету грамотно написать не умели. У одного такого маэстро я насчитал сто с лишним грамматических ошибок в принесенной в газету статье на шести страницах. А орфографии вообще сей мэтр не признавал.

Я уже слышу требование, чтоб были названы имена. Не очень хотелось бы называть имена, но когда-то страна должна узнать «своих героев».

Однажды в «Комсомольскую правду» принес статью Вадим Кожевников, главный редактор журнала «Знамя», лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда. Чуть ли не в каждом слове орфографическая ошибка, ни одной запятой на шесть страниц и подлежащие, не согласованные со сказуемыми. Я показал статью главному редактору, ответ обычный: ты редактор, подготовь сам. Так же готовили статьи «неприкасаемых» журналисты «Известий», журналисты «Комсомолки» за безграмотных лауреатов. Нужна была «солидная» подпись.

У меня в руках, как у заведующего отделом литературы и искусства, оказался список руководителей всех семинаров. Так называемые молодые писатели уже во многом превзошли «мэтров».

Ныне, во всеоружии жизненного опыта, каюсь в мальчишески глупом поступке. Но тогда был молод, полон веры в то, что тогда исповедовала «самая передовая партия в мире», верил, что «там наверху» хотят тоже хорошего, как мы хотели внизу. Но видимо, я переоценил свои возможности и силы тех, кто меня поддерживал. Написал я письмо в ЦК КПСС о том, что руководство семинаров надобно пересмотреть, усилить действительно мастеровитыми и образованными писателями. И подписал, указав свою должность. Лучше бы бросился я на колючую проволоку под высоким напряжением. Сразу и сторел, а тут уготовил

себе я медленное тление. К голосу моему, конечно, никто не прислушался, а те, кто готовил состав «мэтров», зло затаили.

Дальше – еще гуще. По окончании работы семинаров собралось общее собрание участников совещания подвести итоги. Как всегда, были заготовлены дежурные выступления. Руководству ЦК ВЛКСМ и Союза писателей очень хотелось «подать» это совещание как крупное событие в культурной жизни страны, показать свою заботу о молодых кадрах в литературе. Пробыться правдивой, объективной оценке о том, что дало и что могло дать, но не дало это совещание начинающим писателям в хитросплетениях групповой борьбы и невежества «мэтров», было трудно.

В отделе литературы и искусства «Комсомольской правды» работал Владимир Дудинцев, он же и участник совещания. Он записался в выступающие, однако в число подготовленных ораторов не входил. Слова ему не давали. Он был строг и оригинален в своих суждениях о литературе, и тогда уже по первой его книге «У семи богатырей» можно было судить, что станет его имя не последним в русской литературе. Я послал записку в президиум к одному из секретарей ЦК ВЛКСМ, чтобы дали слово Дудинцеву, и подписался. Просьбу заведующего отделом «Комсомолки» удовлетворили.

На такого рода совещаниях принято было славословить и только в конце выступления допускалось несколько мелких критических замечаний. Дудинцев нарушил эту традицию, с той поры выпала ему роль возмутителя спокойствия на литературном Олимпе.

Жестко, с иронией и даже сарказмом развенчал он «неприкасаемых мэтров», показал несостоятельность их притязаний стать учителями и наставниками молодой литературы. Особо крепко досталось Семену Бабаевскому и Борису Горбатову. Не только не учителя, а вовсе и не писатели, как понималось это назначение на Руси. А ведь прав был, исчезли их книги, не оставив и следа. Растаяли восковые фигуры. Но тогда эти фигуры имели власть насмешек не прощать.

Вечером, в тот же день, по горячим следам, собралась редколлегия «Комсомольской правды». Вопрос был сформулирован в духе казуистики того времени: «Каким образом ответственный работник газеты спровоцировал выступление Дудинцева... против ЦК ВЛКСМ». К сему приложили и мое письмо в ЦК КПСС о руководителях семинаров. Обвинили в нигилистском отношении к руководству Союза писателей и ЦК ВЛКСМ.

Ждали моего покаяния, признания ошибок, но я отлично понимал, что вопрос предрешен, и, опережая предложение о снятии с работы, попросил освободить меня в связи с уходом на творческую работу. Думаю, что этим облегчил положение Горюнова, ибо он все же держал в уме возможность заступничества за меня даже Шолохова.

Я пояснил, что целиком согласен с выступлением Дудинцева, и добавил, что выбор руководителей семинаров – это издевательство над русской литературой.

– Русская литература – это прошлый век, у нас советская литература! – поправил меня Александр Плющ.

Решение было принято единогласно: «освободить от работы».

Для человека, живущего на зарплату, возникали значительные трудности, но у меня на руках был роман, и, хотя он требовал еще работы, я пребывал в уверенности, что близки его завершение и публикация, поэтому без сожаления хлопнул дверью, выходя из кабинета главного редактора.

Я собирал свои вещи в своем кабинете, ко мне зашел Горюнов.

– Ты о работе подумал? Меня просили порекомендовать толкового журналиста в ВЦСПС.

Я поблагодарил и сказал, что у меня другие планы.

– Шолохова будешь вмешивать в дело?

– Расстаемся, Дмитрий Петрович! Шолохов здесь ни при чем.

Однако я ошибся.

Уже на следующее утро ко мне раздался звонок Шолохова. Он пригласил меня к себе на квартиру в Староконюшенный переулок.

Это была первая моя встреча с ним с глазу на глаз.

– Стало быть, тебе собирать битую посуду. Рассказывай!

Я ему рассказал о ходе редколлегии.

– Хвалю, что не каялся. Будем поправлять!

Я высказал ему соображения, что работать будет уже трудно, значит, и бесполезно; и твердо сказал, что возвращаться в газету не собираюсь. Рассказал также, что работаю над романом и уезжаю к своим героям в деревню.

– Роман дело долгое, – заметил с сомнением Шолохов.

– Долгое, Михаил Александрович! – подтвердил я, но лукавил, казалось тогда оно мне недолгим.

Шолохов задумался... Через несколько дней я услышал:

– Поле боя за ними оставлять не следовало бы! А мы переформируем силы.

И я услышал нечто для себя неожиданное и удивительное:

– Может быть, и твоя правда. Не стоит с ними связываться. Предадут в малом, предадут и в большом! И на службу не ходи, дерзай с романом. Добро, что в деревню едешь. В деревне всегда к людям ближе. Мне нужен доверенный человек. Помогите мне, заполонили меня письма. Будешь в них разбираться. Не обидит тебя состоять при мне секретарем?

Обидит? Мог ли я ожидать такого доверия от человека, над книгой которого умывался слезами мой отец?

Многие сложности этого предложения в ту минуту были недоступны моему пониманию. И хотя за моими плечами была учеба в Московском университете, Высшая Дипломатическая Школа, работа в международном отделе «Известий», я все же далек был от знания, сколь внимательному досмотру подвергались значительные лица в науке, искусстве и литературе. И моя скромная фигура попадала в это энергетическое поле.

А Шолохов продолжал:

– Мой тебе совет. О нашей договоренности помалкивай. У меня много врагов, меня им не достать, будут бить по тебе...

Условились, что работа меня не связывает, в Москву будет вызывать по нужде, а письма пересылать посылками.

Три мушкетера

Не сразу, конечно, я заметил, что при его славе, при общительности, при почтительном отношении к нему многих писателей, при их поиске близости к нему или даже дружбы Шолохов был достаточно одинок. Он мягко, но неумолимо умел уклоняться от навязывающихся к нему. Приход его на квартиру к Бубеннову, человеку дотопе ему незнакомому, можно отнести к редчайшему случаю.

Некоторые писатели, точнее, члены Союза писателей, сами причисляли себя к его друзьям, обращались к нему на «ты» и «Миша», но считал ли он их своими друзьями? У него были друзья, и очень близкие, но отнюдь не из писательской среды.

Кто знакомился, хотя бы в малой степени, с биографией Шолохова, знает, сколь тяжек был путь «Тихого Дона» к изданию, на каждом шагу вставали против «братья писатели». Из всех лишь Серафимович протянул ему руку помощи, когда еще только распускался его талант. Отсюда осторожность в отношениях с писателями, отсюда и обида на тех, кто на протяжении многих лет ставил на его пути непереступимые колоды.

Я лишь понаслышке знаю, что до войны Шолохов дружил с писателем Василием Кудашевым. Василий Кудашев ушел добровольцем в ополчение и погиб под Москвой. Шолохов много раз высказывал сожаление, что не остановил его, ибо зрение у Кудашева было не для армейской службы.

На квартиру к Бубеннову Шолохова привел Ефим Пермитин, писатель старшего поколения. Ефим Николаевич Пермитин – талантливый художник, человек трагической судьбы. Много лет провел в лагерях. Автор одного из значительных романов о коллективизации «Горные орлы» был арестован по доносам завистников, которые умели убирать соперников через ОГПУ – НКВД.

В тридцатые годы многие писатели обратились к теме «второй революции». Книг о ней написано, возможно, даже больше, чем о революции семнадцатого года и о гражданской войне. «Горные орлы», как «Поднятая целина» и первая книга «Брусков» Федора Панферова, прочно стоят в ряду лучших книг о той поре, и не вина авторов, что, увлеченные идеей преобразования деревни, не ведали они, как будет извращена эта идея и на российское крестьянство будет надето рабское ярмо. Ефим Пермитин родился на Алтае в старообрядческой семье. И роман об алтайских крестьянах. По образной системе, по яркому и сочному языку, по драматическим коллизиям роман – значительное явление в истории советской литературы, можно сказать, и русской литературы.

В 1943 году сыну Пермитина удалось добраться до Шолохова.

Случилось это ко времени. Шолохов опубликовал в «Правде» фронтовой очерк «Наука ненависти». Дальше еще придется коснуться взаимоотношений Сталина и Шолохова, здесь же к месту рассказать о том, как была решена судьба Пермитина.

Сталин прочитал очерк и пригласил Шолохова к себе на дачу. На даче застолье. Сталин и почти все члены Политбюро. Сталин поднял бокал за «замечательного писателя нашего времени». Пребывал он в благодушном настроении, и Шолохов счел возможным походатайствовать за Пермитина. Едва Шолохов начал о нем разговор, Сталин подозвал Берию и сказал:

– Лаврентий, это по твоему ведомству. Надо уважить просьбу Шолохова.

Шолохов собрался передать Берии номер телефона в гостинице, в которой он остановился. Берия рассмеялся:

– Я лучше тебя знаю, где тебя искать!

На другое утро за Шолоховым пришла машина Берии и доставила его в здание на Лубянке. Берия устроил роскошный прием в подражание приема у Сталина. Застолье с высшими чинами НКВД. Гости те же: «за великого писателя современности».

По мановению руки хозяина гости разошлись. Берия привел Шолохова в рабочий кабинет и спросил:

– О ком просишь?

Шолохов назвал Пермитина и начал было говорить о его заслугах в литературе.

Берия перебил его:

– погоди! Ты скажи: человек он наш? Хороший человек?

Шолохов заговорил о романе «Горные орлы», Берия опять перебил его:

– Роман не читал и читать не буду. Ты скажи: наш человек?

– Наш человек! – твердо сказал Шолохов. – Надо...

И опять Берия не дал ему договорить:

– Я знаю, что надо. Напиши фамилию и как зовут!

Шолохов написал.

Берия снял трубку одного из многих телефонных аппаратов, стоявших на столе, и произнес:

– Ефим Николаевич Пермитин. Писатель. Освободить, восстановить во всех правах! – и положил трубку. – Вот как надо выполнять малейшее пожелание товарища Сталина.

Можно понять, как Пермитин относится к Шолохову. По многим примерам я имел возможность заметить, что Шолохов любил тех, кому удалось ему помочь.

Появился частым гостем у него дома Михаил Шкерин. До истории с публикацией в «Комсомолке» они лично не были знакомы. Сочувствие к гонимым по древней традиции: «С Дона выдачи нет!»?

Шкерину, как уже говорилось выше, пришлось расплачиваться за критику Симонова.

Между Федором Панферовым и Константином Симоновым вдруг установилась «нежнейшая» дружба. Думаю, что Симонов не очень-то нуждался в Панферове, а Панферов искал поддержки своим новым «опусам». Этот альянс сразу произвел на свет в соавторстве статью о состоянии советской литературы. Авторы «порадовали» своей озабоченностью о литературном процессе и в особенности о трудностях, которые переживают писатели, не нашедшие своей темы в многообразии современной жизни. И вопрошали: не этим ли обстоятельством объясняется затянувшееся молчание Михаила Шолохова? И вызывались помочь выйти из творческого тупика. Этакая малиновая патока людей, ненавидевших автора «Тихого Дона».

Последствия не замедлили сказаться. Шолохов имел договор с «Октябрем» на публикацию второй книги «Поднятой целины». Он расторг договор и отдал право публикации ленинградскому журналу «Нева».

Опьяненный дружбой с Симоновым, Федор Панферов распроштался со Шкериним. Для критика, живущего в основном на зарплату, а не на гонорары, ситуация сложная. Шолохов помог перейти ему в издательство «Молодая гвардия». Ходатаи изгнания Шкерина из журнала торжествовали, но напрасно. Велика ли была его роль заведующего отделом при единоличном управлении журналом Федора Панферова, человека капризного и непредсказуемого в своих решениях, а главное – симпатиях и антипатиях.

Само собой сложился дружественный кружок Шолохов – Ефим Пермитин – Михаил Шкерин. Под знаком этой дружбы прошло несколько лет жизни Шолохова. Не побоюсь сказать, что именно эта дружба поддержала Шолохова морально в трудные годы его вынужденного молчания.

Как-то он пошутил:

– Ну что, все мушкетеры в сборе? Кто есть кто? Ну ты, Ефимша, по комплекции ближе всего к Портосу, критики всегда лукавы, стало быть, ты, Шкерин, – Арамис, ну а мне остается – Атос!

– А кто же д'Артаньян? – спросил Пермитин.

– Федор! Он моложе, и у него еще все впереди. Ему топать и топать солдатом за маршалским жезлом!

О маршалском жезле в литературе многие мечтали, даже и самозвано его прихватывали, да достался он в XX веке лишь автору «Тихого Дона», и до конца века появление еще одного маршала в русской литературе не предвидится. Шолохов стоял в стороне от той дороги, по которой мчалась в никуда вся советская писательская рать, не угадывая, что впереди пересекает ее путь река забвения.

Тот, кто сегодня займется всерьез историей советской литературы, наткнется на удивительное и малообъяснимое явление: крупнейший писатель советской эпохи, писатель бесспорного авторитета в мировой литературе и у народа, стоял в стороне от руководства Союзом писателей СССР. Я не сказал бы, что он стоял в ярко выраженной оппозиции идеологическому курсу партии, его оппозиционные настроения были глубоко запрятаны в подтексте его произведений. Выступая на съездах партии, на сессиях Верховного Совета, с отдельными публицистическими статьями и заметками, он везде подчеркивал соответствие своих взглядов с линией партии. Сталин несколько раз и в довольно откровенной и даже резкой

форме проявил свое покровительственное отношение к нему, с Хрущевым установились у него дружественные отношения.

Быть может, ответ на этот вопрос будут искать в его характере, в уединенном образе жизни в станице Вешенской? Уединение в станице было относительным. Бывали времена на моей памяти, когда большую часть года он проводил в Москве.

Отсутствие способностей, нелюбовь к административной работе?

Эти свойства были не очень-то обязательны для руководителя творческого союза. Все это несомненно перекрывал бы его авторитет великого мастера, а требовательность к творчеству была движущим рычагом в развитии литературы.

При особой и вдохновенной любви Александра Фадеева к администрированию он не соответствовал главному требованию к руководителю Союза, – он не имел необходимого для этого творческого авторитета, но был послушным прислужником партаппарата. Авторитет «первого писателя» страны поддерживался партаппаратом, роём искателей возле писательской власти. Автор посредственной повести «Разгром» по причинам, не имеющим отношения к интересам литературы, был вознесен в литературные вожди. Фадееву ли было наследовать Горькому?

Я думаю, сегодня мало кто возьмется утверждать, что Союз писателей СССР был творческой, а не политической организацией, де-факто являясь подотделом идеологических инстанций ЦК КПСС.

О Боже, восклицал генерал-лейтенант русской армии граф Алексей Алексеевич Игнатьев, что может сделать майор Генерального штаба с фронтовым генералом! Во главе Союза писателей стояли писатели, но суверенитет их был номинальным. Не говоря о высшей элите партии, любой полуграмотный инструктор отдела культуры мог сломать судьбу талантливого писателя, а бездарность вознести до высот недостижимых. В установочных идеологических вопросах участвовали секретари ЦК, имеющие власть, не ограниченную ни законом, ни разумом, ни честью, ни совестью, ни нравственностью, подчинившие всё одной воле: сохранение пожизненной неограниченной власти.

Мог ли стать их присным автор «Тихого Дона»?

Но если мы даже соотнесем этот вопрос только с деятельностью Союза писателей, то можно с уверенностью сказать, что приход Шолохова к руководству им ничего, кроме общего замешательства, не вызвал бы. Оказался бы несовместимым его критерий требовательности в оценке художественных произведений с установившимся критерием ценностей за годы правления Горького и Фадеева. Шолохов не примирился бы с восхвалением литературных поделок ни по политической целесообразности, ни в интересах писательских группировок.

Попытки втянуть Шолохова в оценки произведений тех или иных авторов совершались беспрестанно, особенно к сезону присуждения Сталинских премий, а потом и Ленинских. Не в этом ли причина отчуждения Шолохова от писателей?

Не оставались и попытки некоторых писателей поставить его во главе Союза в своих интересах. Об этом несколько позже.

Соавторство Федора Панферова и Константина Симонова в озабоченности его молчанием имело свои последствия.

Шолохова задела эта забота.

– Читатели спрашивают, – говорил он, – когда я закончу «Поднятую целину» и роман о войне «Они сражались за Родину». Я понимаю, что эти люди не осведомлены о наших творческих трудностях. Федора Панферова давно занесло в сторону. В первой книге «Брусков» он пребывал в своем мире, а потом пошел в чужой для него мир, не познав его. А вот Симонов умен! Ему ли не знать, почему я молчу? Это не сочувствие, это скрытый донос:

вот, дескать, советские писатели, и он в том числе, из сил выбиваются, прославляя светлую советскую действительность, а Шолохов молчит. Почему молчит?

Воистину Симонов был великим мастером интриги. Используя имя Панферова для доноса на Шолохова, он попутно подставил ножку и Панферову.

Федор Панферов вдруг обратился к драматургии, совершенно не владея чувством сцены. Он написал пьесу «Когда мы красивы». Потеря критерия оценки своего творчества стала привычной для «неприкасаемых». Неудивительно, что Панферов свою поделку оценил очень высоко. Простейшим решением судьбы пьесы была бы публикация ее в своем журнале. Автору захотелось большей славы, и он обратился к новому «другу» с предложением опубликовать ее в «Новом мире».

У себя на даче он прочитал пьесу Симонову.

Вообразите этот вечер на даче. Живой, подвижный, с умом острым, ухватливым, Константин Симонов слушает впавшего в литературное детство когда-то талантливое писателя Панферова, вчерашнего противника в литературных схватках. Какое торжество разливалось в душе слушателя. Симонов похвалил пьесу. Интересный замысел!

А когда Панферов заговорил о публикации в «Новом мире», пояснил, что это было бы преступлением перед журналом «Октябрь».

Панферов опубликовал пьесу в своем журнале, а через несколько дней после выхода журнала в свет в «Литературной газете» появилась пространная статья К. Симонова «Рухнувший замысел» с полнейшим разгромом пьесы.

Панферов пожаловался в ЦК. Симонов объяснил, что со слуха не все воспринял, что замысел действительно интересен, но не разрешен драматургическими средствами.

Спрашивается, с такими вот асами литературных интриг работать в Союзе писателей? Рвать защитительные доспехи литературных интриганов, изготовленные в партаппарате, разваливать годами слагавшиеся группировки для восхваления «голых королей»?

Оглядываясь на те годы и ныне трезво оценивая обстановку в литературной среде, пришел я к заключению, что, встав во главе Союза, Шолохов подписал бы себе смертный приговор.

Каюсь, тогда, еще по должному не оценив личность Шолохова, я, как и многие другие писатели, очень хотел, чтобы он возглавил Союз.

Неслучайно, видимо, мы не можем отнести к руководителям Союза писателей, имевших реальную власть, ни Леонида Леонова, ни Алексея Толстого, писателей не только бесспорного таланта, но и оставивших заметный след в развитии русской литературы и русского языка.

На какой книжной полке найдем мы сегодня «калифов на час», увешанных лауреатскими медалями и при жизни провозглашенных классиками? К чему привели шумливые и бесплодные дискуссии, имеющие целью вбить в народное сознание книги, избранные партийными идеологами, которые Шолохов назвал в одном из выступлений на съезде «мутным серым потоком» в литературе?

Да, возразят мне, Сталин мог, хотя бы даже и по капризу, поставить Шолохова во главе Союза. Мог. Не захотел, берег его для чего-то другого.

Шолохов и Сталин

1

Да не удивится читатель, что первым именем в этой главе стоит имя Шолохова, а не Сталина. Ни того ни другого имени из нашей истории не опустишь. Имя Шолохова время

отливает в бронзу, а бронзовые, медные и из иных прочнейших материалов монументы Сталина или отправлены на переплавку, или развалены на куски.

И здесь, рассказывая о Шолохове, попутно вспоминается Сталин, не в рассказах о Сталине всплывает имя Шолохова. Не Шолохов связан с эпохой Сталина, а Сталин властвовал в годы творческой жизни Шолохова.

Власть Сталина была необъятной над страной, над народом, над партией, над жизнью и судьбой Шолохова, но не над его творчеством. Отношения между ними сложились странные, порой они разрушают логику образа Сталина, каким он предстает в нашем сознании, не нарушая главного: в отношениях с Шолоховым он оставался деспотом.

Здесь я отхожу от какого-либо следования хронологии, ибо обращаюсь к событиям, которым я никак не мог быть свидетелем, а восстанавливаю их по рассказам Шолохова или близких ему людей. Вместе с тем здесь будет рассказано и о том, чему я был свидетелем.

Начнем с неприятностей, которые подстерегли Шолохова в 1952 году, хотя и явились они из прошлого. «Неприятности»... Мягко сказано. Исход их мог оказаться непредсказуемым.

В 1951 году подписчики на Собрание сочинений Сталина начали получать 13-й том. В томе было помещено письмо Сталина к известному в тридцатые годы коминтерновскому деятелю Феликсу Кону. В письме оказалось несколько строк, касающихся Шолохова. Сталин указывал Феликсу Кону, что никто не свободен от ошибок, и при этом привел пример, что и «замечательный писатель нашего времени» Михаил Шолохов совершил ошибку в освещении Подтелковского движения в романе «Тихий Дон». До появления в печати этого письма Сталин об этой ошибке Шолохова нигде и никогда не поминал.

Шолохову было над чем призадуматься. Со Сталиным он встречался много раз, никогда ранее Сталин с ним разговора о Подтелковском движении не заводил. Известно было, что материала на многотомное Собрание сочинений найти у Сталина было не так-то просто. Публикация письма к Феликсу Кону могла быть инициативой составителей собрания. Но Шолохов знал, что, в отличие от последующих вождей КПСС, Сталин был очень ревнив к своим текстам, литобработчиков не имел, к публикации своих документов относился весьма серьезно и, главное, расчетливо. Шолохов считал, что политические ситуации, связанные со своей личностью, Сталин умел просчитывать на годы вперед. К простой случайности публикацию письма к Феликсу Кону не отнес.

В те времена любое упоминание Сталиным о чьей-то ошибке обязывало ошибку эту исправить. Вместе с тем каждый том его Собрания сочинений с выходом в свет немедленно включался в программу сети партийного просвещения и от Москвы до Камчатки, от полярных зимовок до пограничных застав на Памире, во всех партийных и профсоюзных организациях тщательно «прорабатывался».

На всю страну разнеслось и для тех, кто читал «Тихий Дон», и для тех, кто ничего не читал: Шолохов ошибся в освещении Подтелковского движения.

Издательствам – это прямое указание потребовать от Шолохова исправления «ошибки». Переиздания романа были немедленно приостановлены. И сейчас же возникло попутно мнение в ЦК, что надобно бы в романе отразить выдающуюся роль Сталина в гражданской войне на юге.

Роль коммивояжера на переиздания «Тихого Дона» взял на себя Кирилл Потапов. Он рвался «редактировать» роман, правда, его «редактирование» сводилось лишь к попыткам найти в романе места для вставок эпизодов встреч Сталина с казаками. Шолохов отверг эти попытки, но с «Подтелковским движением» так просто обойтись было нельзя.

В Вешенскую хлынул поток читательских писем. Спрашивали Шолохова, в чем он ошибся, рассказывая о гибели отряда Подтелкова, интересовались, когда и как он переделает

этот эпизод, особенно много пришло писем от преподавателей русского языка и литературы в школах.

Приходили письма и иного содержания. Тогда еще не все участники гражданской войны ушли из жизни, не все были уничтожены в годы террора. Но напуганы. Очень много писем оказывалось без подписи и обратного адреса. Разные они были по тону и по пониманию обстановки в литературе. Строгие, назидательные, с тоской по правде. Невежественным было в те годы мое поколение. О гражданской войне нам было внушено совершенно ложное представление. Ложь распространялась намеренно, освященная авторитетом «академиков», среди которых первенство держал некий Минц.

Правду знали немногие, но их уста сковывал страх, слово правды могло стоять им жизни.

По образованию я историк, но с первого прикосновения к этой науке мой интерес сосредоточился на Средневековье. Историю новейшего времени воспринимал как упражнение в тенденциозности. История гражданской войны и история партии не увлекали меня. Это, конечно, не подвиг, но избавило меня от многих неприятностей.

Не обошлось в письмах без упрека Шолохову. Поступился правдой, а вот Сталин поправил. Ход рассуждений был приблизительно таков: мы думали, что писателя заставили исказить правду, а выходит, что он сам, по доброй воле поспешил услужить ненавистникам казачества. Да, так могло показаться неискушенным, а их было множество. Откуда им знать, какое давление испытывал Шолохов, когда дело касалось донского казачества, над какой бездной он прошел по шаткой жердочке. В годы, когда создавался «Тихий Дон», и в последующие годы никому не дали бы сказать правды о том, что происходило на Дону.

Из некоторых писем, их было немного, следовало, что казачество поднялось в ответ на беспощадный террор, развязанный против него Лениным, Троцким и Свердловым. В письмах говорилось, что Ленин, Троцкий и Свердлов поставили задачей уничтожить всех казаков, способных носить оружие, а остальных переселить в Сибирь с Дона; Подтелковский отряд выполнял эту кровавую директиву. Письма без подписи. И вот неожиданность, одно подписано и есть обратный адрес. В нем утверждалось, что казаков уничтожали по указу, подписанному Свердловым.

Письмо заинтересовало Шолохова. Подписано было: Беляков Владимир Зиновьевич, казак из станицы Клетской. Обратный адрес московский.

– Любопытно, – заметил Шолохов, – откуда этот казачок из Клетской об указе знает?

– А был ли такой указ? – спросил я.

– Был, да я его в руках не держал. Смело он подписался. Будешь в Москве, повидайся, осторожно поспрошай, откуда об указе знает?

Владимира Зиновьевича Белякова я нашел на заводе «Красный богатырь», что в Сокольниках. Завод по производству резиновых изделий. Беляков начальник ведомственной охраны завода.

Принял он меня в своей караулке радушно. Старше Шолохова, участник гражданской войны на Дону. Работал в ОГПУ в НКВД, старый чекист. Где-то на Урале поработал в должности начальника районного отдела НКВД.

Я объяснил ему, что Шолохов интересуется, о каком указе Свердлова он упомянул в письме.

– А разве Шолохов не знает?

За Шолохова я отвечать не собирался. Откровенно говоря, меня очень насторожила смелость Белякова, подписавшего столь деликатное письмо.

Не получив от меня ответа, Беляков развил мою мысль. По его предположениям, а скорее, он в этом был уверен, Шолохов знал об этом указе, не мог не знать.

– Когда писал «Тихий Дон», по всему видно, гутарил он с казаками. И гутарил он по большей части с белыми казаками, белые казаки знали, по чьему указу резали сынов Тихого Дона. Я вот был красным казаком, а и я знал об этом указе...

Беляков высказал желание встретиться с Шолоховым, кое-что рассказать и показать ему.

Я рассказал Михаилу Александровичу о встрече с Беляковым, упомянул и о его прошлом.

Михаил Александрович дня два помалкивал, раздумывал, ибо встреч с незнакомыми людьми не любил.

А потом сказал, усмехаясь:

– Интересный сюжет вырисовывается. Давай Белякова. Погутарим с ним по-казацки.

Пригласил он Белякова не на квартиру, а в гостиницу «Москва». Встретились. Обычных посетителей в этот час не оказалось. Поговорили о Доне, вспомнили общих знакомых. И наконец, вопрос Шолохова:

– Ты видел этот указ?

Беляков выразительным взглядом окинул стены номера.

Шолохов махнул рукой и добавил:

– Пусть слушают, я не боюсь.

Беляков молча покачал головой и написал на бумажной салфетке: «Я тоже не боюсь, но лучше не надо!»

На столе к приходу гостя были приготовлены коньяк и закуска. Шолохов принял предложенную ему игру.

– Может быть, ты предпочитаешь водку? – спросил он у Белякова. – Коньяк – не казачий напиток.

– Казака водка греет! – ответил Беляков, догадавшись, к чему этот вопрос.

– Тогда сходим в гастроном, выберем по вкусу!

Не за водкой вышли. Поговорить вышли. Я шел сзади них и беседы их не слышал. Разъяснилось все значительно позже. Тогда Михаил Александрович не поспешил с разъяснениями. Оно и понятно.

Словом, в результате этой встречи у Шолохова появилась копия указа Свердлова.

Ныне документы о расказачивании рассекречены. Копия документа, о котором шла речь, оказалась точной. Есть смысл привести его здесь целиком.

ДИРЕКТИВА ЦК РКП(б)

24 января 1919 г.

Последние события на различных фронтах в казачьих районах – наши продвижения в глубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск, заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых «иностранцев» к казакам в земельном и во всех других отношениях.

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иностранцев.

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.

Я. Свердлов

(Известия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 177 178.)

ИНСТРУКЦИЯ

5 февраля 1919 г.

На основании приказа Командующего 4-й армией и Уральского Революционного Комитета объявляется для руководства Советов нижеследующая инструкция:

§ 1. Все оставшиеся в рядах казачьей армии после 1 марта объявляются вне закона и подлежат истреблению.

§ 2. Все перебежчики, перешедшие на сторону Красной Армии после 1 марта, подлежат безусловному аресту. Чрезвычайной Комиссии предлагается строжайшим образом расследовать обстоятельства их перехода.

§ 3. Все семьи, оставшиеся в рядах казачьей армии после 1 марта, объявляются арестованными и заложниками.

§ 4. Объявленные заложниками поступают на учет местного Совета; членам указанных семей и их имуществу производится учетная перепись.

§ 5. Выезд семьям и их членам, объявленным заложниками, безусловно воспрещается.

§ 6. Все члены семей, объявленных заложниками, дают во исполнение § 5 подписку.

§ 7. В случае самовольного ухода одной из семей, объявленных заложниками, подлежат расстрелу все семьи, состоящие на учете данного Совета.

§ 8. В случае самовольного ухода одного из членов семьи, объявленной заложниками, подлежат расстрелу все члены данной семьи.

§ 9. Имущество расстрелянных конфискуется и распределяется среди бедняцкого населения.

§ 10. Выполнение пунктов настоящей инструкции возлагается на сельские и волостные Советы.

§ 11. Право наказания по § 7 и 8 настоящей инструкции принадлежит Чрезвычайной Комиссии.

§ 12. Все сражающиеся против Красной Армии с оружием в руках и перебежчики, перешедшие после 1 марта и освобожденные из-под ареста, лишаются права голоса, находясь на положении деревенской буржуазии.

§ 13. Местным Советам предоставляется право ходатайствовать о возвращении перебежчикам избирательных прав.

С подлинным верно:

Управ. Делами Ревкома

Копия верна:
Секретарь Каз. Отд. ВЦИК
Ив. Ульянов
(ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 84. Д. 9. Л. 526.)

Удивляло меня в те дни, почему Шолохов не соединится по телефону со Сталиным. Из-за статьи Шкерина не постеснялся, а здесь действительно важнейшее дело.

И друзья и товарищи по Союзу спешили к нему с советом напрямую спросить Сталина, как переделать эпизод с Подтелковым.

Между тем переиздания «Тихого Дона» были приостановлены, не спешили издательства и с переизданиями первой книги «Поднятой целины». Это вызывало ощутимые материальные трудности. Мне не раз приходилось опровергать легенду, что у Шолохова открытый счет в банке. Не только не было открытого счета в банке, но еще и висел огромный долг Управлению делами ЦК КПСС за постройку Вешенского дома. В годы войны дом Шолохова в Вешенской сгорел от попадания немецкой бомбы. Подряд на строительство нового дома взяло на себя Управление делами ЦК КПСС. С затратами не считались, деньги, затраченные на постройку, были отнесены на счет Шолохова с выплатой в рассрочку из гонораров. Управление делами внимательно следило за переизданиями, иной раз полностью снимая весь гонорар на свой счет.

Переиздания прекратились, управделами ЦК Дмитрий Степанович Крупин встревожился. К Шолохову он всегда относился с подчеркнутой дружественностью, но дружба дружбой, а партийная касса – дело серьезное. Да откуда знать, не оказывалось ли и на Крупина какого-либо давления.

– Звони Хозяину! – настаивал Крупин. – Пока с ним не выяснишь, печатать не будут. Не выселять же тебя из дома!

Звонить по телефону Шолохов не стал, он написал коротенькое письмо с просьбой разъяснить, в чем его ошибка.

От Крупина пришло известие, что письмо передано по адресу.

Шолохов не стал томиться в Москве в ожидании ответа, прекрасно знал, что ответ найдет его где угодно. Сейчас не вспомнить, сколько времени длилась его отлучка из Москвы.

Ответа на письмо не приходило, он приехал в Москву. Единственный раз на моей памяти обратился за материальной поддержкой в Литфонд.

2

Произошло в этот его приезд нечто любопытное.

Там, где место сейчас занято новым корпусом гостиницы «Москва», стояло в те времена двухэтажное здание ресторана «Гранд-Отель». Всем иным ресторанам Шолохов предпочитал именно этот.

В «Гранд-Отеле» собрались за ужином несколько писателей, гости Шолохова. Имен не называю, дабы не возбуждать ненужных догадок и на какого-то не возвести напраслину.

Естественно, что разговор зашел все о том же Подтелковском движении, о гражданской войне на Дону. Кто-то поинтересовался, как Сталин относился к казачеству.

– В разное время по-разному... – ответил Шолохов. – Однажды я пришел к нему просить за казаков, он взглянул на меня и мрачно спросил: «Ты что, мужиколуб?» У меня слова застряли в горле. А вот не так-то давно рассказал мне об одной встрече с казаками под Царицыном.

Шолохов пересказал рассказанное ему Сталиным. Рассказчиком он был непревзойденным. В те времена у нас в стране не были в ходу карманные магнитофоны. Записать бы!

Рассказ воспроизвести невозможно. Увлекал сюжет, а главное, язык. Здесь передаю только сюжет.

Под Царицыном Сталин осматривал позиции, что держали красные казаки. Не так-то далеко от передовой застал он в овраге казаков за странным занятием. Несколько красных казаков стояли кружком вокруг белого молодого казака, распростертого ничком на земле. Белый казак хватал зубами землю и глотал ее. Красные казаки, все бородачи, держали его под прицелом и помахивали нагайками.

Сталин поинтересовался, что у них происходит. В то время мало кто знал его в лицо. Ему посоветовали не вмешиваться в казачьи дела. Сталин представился, но ему не поверили, что это самое высшее начальство в Царицыне. Кто-то успел даже обозвать его «жидком». Подоспели казачьи командиры, дело разъяснилось. Сталину объяснили, что тех, кто приходил на Дон за казачьей землей, с давних пор было принято накормить вот этак землей досыта.

Сталин заметил, что кормят они казака, что это и его земля, приказал поднять казака на ноги и отпустить. Пусть, дескать, идет к своим казакам. Земля казачья, сами разберутся.

Пленный не сразу поверил, что ему дают свободу. Попросил, что, если надумали стрелять, чтоб стреляли не в спину. Сталин заверил его, что никто в него стрелять не собирается. Вывели его к передовой траншее и в спину подтолкнули. Прошел он не оглядываясь шагов с полсотни, вдруг сорвал с головы фуражку, растоптал ее ногами и бегом обратно.

Закончил свой рассказ Сталин словами:

– Теперь вот армией командует, не белый казак, а красный командарм.

В моем пересказе конечно же исчезла вся прелесть рассказа. За Шолохова не напишешь. Произвел он на присутствующих сильное впечатление. Сейчас же посыпались советы немедля написать рассказ и опубликовать.

Раздавались даже предположения, что после такого рассказа Сталин поставит Шолохова во главе Союза писателей. Шолохов поглядывал на своих коллег и посмеивался в усы. Возвратились из «Гранд-отеля» на Староконюшенный мы вдвоем.

Посидел он за столом как бы в раздумье, и не мне, отвечая своим советникам, как бы про себя, произнес:

– Индульгенции на прощение грехов я не покупаю.

А мне пора было понять, какой пролег водораздел между советскими писателями и «советским» писателем Шолоховым. Ушли на это понимание годы. Горная вершина между холмиками, да и холмики ныне с землей сровнялись...

Неужели он колебался? Неужели раздумывал, а не пойти ли обычным для того времени путем и решить все трудности, прибавив свой голос в хоре безудержных восхвалений?

Как все это было просто у Максима Горького, у Алексея Толстого, у Александра Твардовского и у других, имя которым легион.

Максим Горький, подыгрывая Сталину, да еще и в благодарность за особняк Рябушинского в Москве, произнес ужасающие слова, выводящие его напрочь из рядов гуманистов: «Если враг не сдается – его уничтожают». Но и это не принесло «буревестнику» революции спокойствия и не избавило его от «нездоровья». Почему-то он вовремя умер...

Алексей Толстой, художник огромного таланта и высокой культуры, загубил свой роман «Хожение по мукам» во второй и третьей книгах, а довеском к ним романом «Хлеб» поставил себя в ряды интеллектуальных лакеев, предал посрамлению свое родовое имя.

Коленопреклоненно воспевал Сталина в своих стихах талантливый крестьянский сын из раскулаченной семьи Александр Твардовский. По заслугам был назван «барабанной палочкой» Алексей Сурков. Не возвратили его в русскую поэзию жалкие слова оправдания, сказанные им Шолохову: «Да, но ты не сидел голой жопой на муравейнике».

Склонил голову перед всесильными дарителями литературных чинов и Константин Федин, великолепный мастер слова, образа, сюжета в романе «Первые радости», присоединив свое виртуозное мастерство к большевистскому мифотворчеству.

У будущего лауреата Нобелевской премии, прославляемого ныне вольнолюбца Бориса Пастернака родились такие строчки:

За древней каменной стеной
Не человек живет – деянье,
Поступок ростом с шар земной.

Справедливым будет признать, что и Михаилу Шолохову пришлось показать себя дисциплинированным солдатом партии ради того, чтобы открыть дорогу для публикации «Тихого Дона». Он вынужден был отложить в сторону эпопею о казачестве и откликнуться на всенародный пожар, разожженный «революцией сверху», романом «Поднятая целина», иначе погибли бы и «Тихий Дон», и его автор. Так снимем упрек и с Алексея Толстого, и с Константина Федина, и с Твардовского, оставив его Максиму Горькому, ибо ему ничто не грозило свыше того, что он получил, и Борису Пастернаку, ибо горят эти строчки огнем на имени нобелевского лауреата.

«Поднятая целина»... Очень ли автор за это заслуживает упрека? Кто же знал в тридцатом году, что колхозы задуманы не как форма коллективизации труда, а как форма жесточайшего закрепощения русских крестьян, что поставит Россию полсотни лет спустя на грань выживания?

Забегая далеко вперед, приведу здесь небольшой эпизод. В 1959 году вторая книга «Поднятой целины» наконец-то была завершена.

«Отпели донские соловьи» по дорогим сердцу автора Давыдову и Нагульнову...

Простившись со своими героями, с которыми сроднился за долгие годы, Шолохов загрустил. Как-то, пребывая в раздумье, спросил:

– Как бы узнать, сколько казачки получили в первый год колхозного житья?

В райкоме партии перерыли все архивы, чтоб найти хотя бы одну ведомость по раздаче хлеба по трудодням в 30-м или 31-м годах.

Следов документальных об этих выдачах не осталось, но живы были еще старики, которые помнили первые колхозные годы. Выдачи по три килограмма на трудодень в иной год припоминали, а по большей части так и оставались трудодни палочками в ведомостях.

Спрашивается, что же подвигло талантливых писателей, а в их ряду и Шолохова, воспевать коллективизацию?

Казалось бы, люди, умудренные жизненным опытом, должны были понять: коллективизация и все, что ее сопровождало, ломает стеной хребет русскому крестьянству, что это ведет к массовому геноциду основного населения России. Однако заманчиво выглядел миф о возможности общинного коллективного хозяйствования на земле, возможность преобразовать собственнический инстинкт в разумное понимание интересов общества превыше собственного интереса.

Да, все было построено на призывах высших к низшим поставить общественное выше личного, но вот высшие... Они как? Сложную нашел форму Шолохов для этого ответа, и как же полновесно он звучит в сегодняшние дни!

Справный хозяин, Григорий Банников не хочет ссыпать семенной хлеб в колхозный амбар. Нагульнов возмущен, что тот не верит советской власти.

– Соберете хлебец, а потом его на пароходы да в чужие земли? – восклицает Банников. – Антанабилы покупать, чтоб партийные со своими стриженными бабами катались? Зна-а-ем, на что на нашу пашаничку гатите! Дожи, шеи до равенства!

Конечно, не Макар Нагульнов возил на автомобилях стриженных девок, да и сомнительно, чтобы он хотя бы раз в жизни на легковом автомобиле проехался. Целые области и республики обрекали на голод, действительно на автомобилях возили стриженных девок, жен кремлевских, а сколько золота перелили в бездонные бездны партийных касс по всему миру в погоне за призраком мировой революции!

Большого Шолохов тогда сказать не мог, не дали бы, а сказал бы, не имела бы русская литература «Тихого Дона».

И вот он, новый порог: «Подтелковское движение». Загадка не сразу отгадывается, хотя полагаю, что Шолохов ее отгадал сразу, я об этой отгадке узнал позже.

Итак, новелла о белом казаке.

Повторяю, не хотел бы гадать, кто грешен, не знаю, по каким каналам прошла информация: сразу – в ЦК или через МГБ?

Сначала пригласили Шолохова в «Правду» на заседание редколлегии, якобы поговорить о его творческих планах. Он им – о своей работе над романом «Они сражались за Родину», ему в ответ – роман ждем, а вот хорошо бы и ко времени выступить с законченным рассказом для газеты. «Именно сейчас это крайне важно», «очень важно», чтобы писатель такого масштаба возвысил свой голос. И уже не стесняясь, напрямую советуют, чтобы вспомнил что-либо из гражданской войны. Шолохов не наивный человек, да и я не мог не догадаться, что кто-то из собеседников в «Гранд-Отеле» постарался.

Главный редактор «Правды», один из тогдашних теоретиков «марксизма-сталинизма», Петр Поспелов напомнил Шолохову, как он однажды подвел «Правду», передав для публикации сырые главы из романа «Они сражались за Родину». Но «сырыми» Шолохов их отнюдь не считал. Упрек понадобился для психологического воздействия. Но не с Шолоховым играть в такие игры, а тут, как на грех, в момент поспеловских нотаций, раздался звонок аппарата кремлевской связи, в просторечье «вертушки». Именно по этой связи звонили обычно руководители партии и правительства, мог позвонить и Сталин.

Совещание редколлегии шло за огромным длинным столом на небольшом отдалении от письменного стола главного редактора.

Чтобы снять трубку вельможного телефона, Поспелову надо было встать и сделать несколько шагов к тумбочке с телефонами. Еще по работе в редакции «Известий» я знал, что усердие лиц, у которых поставлен этот аппарат, на вершинах власти оценивают по быстроте, с которой снимается трубка.

Поспелов живо вскочил, зашпешил, споткнулся о ковер и упал. Падая, с отчаянием в голосе крикнул:

– Снимите трубку!

Поразительно, но никто не шевельнулся. Все оказались в шоке. Каково видеть главного редактора, одного из секретарей ЦК КПСС распростертым на полу!

Снять трубку Поспелов опоздал. С этими телефонами дело поправимое. Он позвонил на узел связи и успокоился. Звонил не Сталин. Выразительная картинка из служебного быта высшего эшелона власти того времени.

Казалось бы, невелики требования «сталинских ползунков». Почему бы их не осчастливить, не увенчав их старания небольшой новеллой о Сталине и белом казаке. Силой шолоховского таланта, жемчужной россыпью его языка, не называя Сталина ни великим, ни мудрейшим, увековечить его образ, отлитый в бронзу шолоховским мастерством.

Очень старались. До крайних пределов возможного. Дома у меня раздался телефонный звонок. Очень приветливо, очень уважительно представился мне человек, фамилии не назвав, а всего лишь по имени и отчеству из Министерства государственной безопасности. Поинтересовался, не очень ли я занят, не мог бы я к нему подъехать в приемную на Кузнец-

ком мосту. Предложил даже выслать машину. От Покровки до Кузнецкого моста без машины быстрее добраться.

Встретил меня седой, солидный человек. Сдержанный, вежливый, с манерами, отработанными властью, сосредоточенной в его руках. Полагаю, что я мог бы поинтересоваться его фамилией, но к чему?

Он мог назваться любой фамилией, любым именем, а мне как проверить, да смысла в такой проверке не было. Для истории? В этом нет нужды, встречала меня не личность, а безликая власть.

Задача, как я теперь понимаю, была у него не из легких. В этом доме на Лубянке знали, сколь внимателен Сталин к Шолохову и ко всему, что с ним связано.

– Нам известно, – сказал он, – что вы входите в круг близких друзей Михаила Александровича Шолохова. Не сочтите, что мы интересуемся Шолоховым в каких-то целях, направленных против него.

Здесь я счел нужным подправить моего собеседника. Я объяснил, что с моей стороны назваться другом Шолохова было бы нескромно.

Собеседник смягчил ситуацию:

– Скажем так, что вы один из тех, кто часто с ним встречается и выполняет обязанности его секретаря. Такая формулировка вас устроит? – Он помолчал и добавил: – Во всяком случае, мы не ошибемся, если установим, что вы любите Шолохова и желаете ему добра.

С этим я согласился.

– Должен вас предупредить, – продолжал он, – что мы вас пригласили не без ведома Центрального Комитета партии. В Центральном Комитете партии очень озабочены душевным состоянием Шолохова. У него сейчас полоса творческих трудностей.

– Это по доносу Панферова и Симонова? – спросил я.

– О каком доносе вы говорите?

– На всю страну донос! Статья в «Литературной газете».

– Статья разве донос?

– Самый действенный! Я лично не заметил, чтобы у Шолохова были какие-либо творческие трудности.

– Нет, статья, о которой вы говорите, не предмет нашей беседы. Спрошу прямо, надеясь на прямой ответ. Нам известно, что вы присутствовали на дружеском ужине в «Гранд-Отеле». Шолохов пересказывал сюжет своего рассказа о Сталине. Присутствовали писатели, все считают, что рассказ выдающийся.

– Но он не написан! – вырвалось у меня.

Собеседник мой улыбнулся:

– Вы в этом уверены? Не скрою, у нас другие сведения: будто бы этот рассказ написан, но Шолохов по каким-то причинам его придерживает. Вам не надо разьяснять, какой всенародной любовью пользуется Сталин. Публикация такого рассказа стала бы большим событием. Быть может, кто-то или что-то мешает Шолохову опубликовать этот рассказ?

Это уже вопрос, относящийся к профессии моего собеседника. Профессиональный вопрос.

Я ответил, что не только никто не мешает, но все, со всех сторон уговаривают его написать.

– Вы все же поинтересуйтесь, не написан ли этот рассказ. А теперь еще один вопрос: вы расскажете Шолохову о нашей беседе?

– Должен рассказать...

– О слове «должен» забудьте! О чем здесь возникает нужда в чем-либо посоветоваться, рассказывать не стоит. Но от Шолохова скрывать наш разговор не обязательно. Он поймет,

что не наше ведомство озабочено, появится ли этот рассказ в печати. Нас спросили там, где и с нас спрашивают. Нам важно знать: рассказ написан или это еще только замысел?

– Наверное, проще спросить об этом самого Шолохова.

– Наверное, проще, но нам этого не поручали.

Михаил Александрович выслушал меня с усмешкой под усами.

– Интересуются? Не только у тебя спрашивали.

– Там же?

– И повыше спрашивали.

– От Сталина вопрос?

Шолохов покачал головой:

– Нет, не от Сталина. Кто-то боится нарушения равновесия. А ну как и в самом деле напишу этот рассказ? Литературной славы это мне не прибавит, а вот политический вес как бы не перевесил Сашу Фадеева и все иные писательские авторитеты. Большая драка затеется в писательском мире. Мне она не нужна.

Я тогда внутренне с ним не соглашался. Очевидно же было, что в литературе тех лет ее вершиной владеет автор «Тихого Дона», рядом поставить было некого. По художественному таланту, по пониманию творческого процесса, по широте взглядов, по характеру только Шолохов мог защитить истинную художественность современной литературы. Думаю, что и те, кто распространил слух о написанном рассказе, предполагали увеличить политический вес Шолохова. Расчет в духе того времени. Сталин будет растроган рассказом, для него многое значит имя Шолохова, и он своей волей произведет смену руководства в Союзе писателей. Не столь и наивен подобный расчет. Откуда же тогда беспокойство, пронизавшее насквозь высший партийный аппарат?

Несомненно, что оно было отражением той борьбы за власть, которая на протяжении многих лет не утихала в писательских кругах. Не за успехи в творчестве, а именно за власть, ибо пребывание на высших руководящих постах в Союзе писателей оберегало от критики, давало возможность издавать свои книги огромными тиражами и закрывать дорогу подлинным талантам. Сколько их погибло на литературных перепутьях, истинных талантов, не сочтешь, да и никто не вел учета. Тяжко пришлось бы номенклатурным «талантам», если бы Сталину вдруг взбрело в голову поставить во главе писательской организации Михаила Шолохова. Вот и засуетились, вот и забегали, как бы ему перегородить путь, а вдруг и правда рассказ написан? Это же катастрофа.

Рассказ не был написан. Шолохов не рвался к власти.

Минул год. К осени 1952 года положение с долгом в Управление делами ЦК КПСС стало невыносимым.

К сожалению, я не запомнил дату, когда он решил позвонить Сталину и напомнить о своем письме по поводу ошибок в «Тихом Доне».

Я приехал к Шолохову на Староконюшенный после того, как договоренность о встрече со Сталиным состоялась. Назначена она была на следующий день в 13.00.

Спокойно и просто говорил он со Сталиным о статье Шкериной, а на этот раз заметно волновался. Что-то происходило в его сознании, шла какая-то работа, его всего ломало. Задумчив, раскидист. Я уж было собрался идти домой, – остановил меня звонок в дверь. На пороге – Поскребышев.

Поздоровались. Разговор, как у старых знакомцев, на «ты».

– Хозяин ждет тебя, Михаил! – объявил Поскребышев с особенной интонацией в голосе. Нюансы ее не передашь. В ней и патетические нотки, и подчеркнутое значение ПРИГЛАШЕНИЯ, и Бог знает еще что.

Поскребышев сделал паузу и добавил:

– Машину за тобой пришлем свою. Надеюсь, будешь молодцом. Хозяин не в лучшем состоянии духа.

– На меня обида? – спросил Шолохов.

– Не преувеличивай роль своей личности в истории! Прошу тебя, отдохни как следует. – Обернулся ко мне: – А ты проследи, чтобы не беспокоили ни сегодня, ни завтра Михаила Александровича ни звонками, ни посещениями. Гостей, кто бы ни явился, заворачивай с порога. Я тебе даю на то полномочия. Проводи Михаила Александровича до Кремля.

Поскребышев засобирался.

Михаил Александрович предложил чаю.

– Ни чаю, ни чего иного! – обрубил Поскребышев. – Разговор тебе предстоит серьезный и думаю, что долгий.

Гостя проводили. Михаил Александрович подмигнул мне. Похоже, что он остался доволен.

– Сейчас разбежимся, утром приходи пораньше...

«Солдат спит, а служба идет». Хорошая поговорка. Вышел я из подъезда, что-то мне показалось не так. На противоположной стороне стояла машина. Два молодых человека в одинаковых плащах. Обычно в такой час переулочек пустынен. Утром я застал ту же машину, но около подъезда уже других молодых людей. Оберегают перед встречей со Сталиным.

К тому времени я уже научился распознавать настроение и внутреннее состояние Михаила Александровича. Он явно был в нервном состоянии, хотя всячески это скрывал; сосредоточен на своих мыслях, собран словно в комок. В такие минуты он или чистил и без того чистые ногти, или подстригал маленькими ножничками усы, и без того ухоженные.

Одет как обычно. Гимнастерка, галифе, из мягкого хрома сапоги. Орденов и медалей он никогда не носил.

Правительственная машина пришла около двенадцати часов. В запасе час времени. Лучше подождать в приемной, чем опоздать хотя бы на минуту.

Со Староконюшенного до Кремля езды минут десять, а на машине с правительственными клаксонами и того меньше. Выезд на Гоголевский бульвар по Сивцеву Вражку, поворот направо, еще поворот налево у Кропоткинской, и вот они, Боровицкие ворота. Кремлевские порядки в те времена были усложнены. Почему-то машине с Шолоховым был открыт проезд через Спасские ворота. По Волхонке в те времена был проезд в обе стороны. Мы выскочили на площадь к Историческому музею, Шолохов вдруг попросил шофера подъехать к «Гранд-Отелю».

Шофер взглянул на сопровождающего, тот взглянул на часы и в знак согласия кивнул ему. Дорого, наверное, обошелся ему этот неосторожный кивок. Машина круто повернула в нарушение установленного движения и остановилась у входа в ресторан.

Я спросил:

– Зачем? Вас ждут!

– Ты не знаешь зачем? Пойдем!

Мы вышли из машины и поднялись на второй этаж.

Тут же, узнав его, к нему подбежал метрдотель, старый знакомый.

При входе в зал, еще до столиков, небольшой, отгороженный занавесями, кабинетик метрдотеля.

Михаил Александрович раздвинул занавеси и бросил метрдотелю:

– Я на минутку. Накоротке! Две бутылки коньяка «КС». Одну с собой.

По тем временам это был высокой марки грузинский коньяк. Бежать за ним метрдотелю не пришлось. Нашелся в шкафчике.

Тут же появились на столе два фужера.

– А себе? – спросил Шолохов. – За хорошее предприятие выпьем!

– За хорошее можно! – согласился метр.

Я с упреком глядел на Шолохова. Он понял мой взгляд.

– Ничего ты не понимаешь. Не с пустыми же идти руками.

Взял со стола бутылку и засунул ее в широчайший карман галифе.

Сам разлил коньяк.

Шолохов присел на край стула и отпил глотка два. Метр осушил фужер.

– Садись, – приказал он мне. – Время еще есть!

Я смотрел на часы. Стрелки неумолимо двигались к роковому часу.

Он заметил мой жест с часами и досадливо сказал:

– Не мельтеши!

Между тем наметилось какое-то странное и тревожное движение. Метр выглянул за занавеси и побледнел, отступил на шаг, у него мелко задрожали руки. Шторы раздвинулись, в кабинетик вошел Поскребышев, за его спиной виднелись фигуры молодых людей в плащах. Вполголоса он гневно произнес:

– Михаил, не о двух ты головах!

– У всех по одной, а не по две! – ответил, посмеиваясь, Михаил Александрович и, обращая ко мне, добавил: – Федор, налей нашему гостю!

– Наливай! – неожиданно согласился Поскребышев.

– Ого! – воскликнул Михаил Александрович. – Слышу речь не мальчика, а мужа!

– И себе наливай! – приказал мне Поскребышев. – Да не стесняйся! По полной!

Взял у меня из рук бутылку, налил мне и метру фужеры доверху. Бутылка сразу опустела.

И я и метр поняли, в чем дело. Нелегкая это для меня задача – сразу выпить полный фужер, а пришлось. Метр человек тренированный. Шолохов по своему обычаю сделал всего лишь глоток. На секунду отвлек его внимание фужер, Поскребышев выплеснул содержимое своего фужера через плечо.

– Едем, Михаил. Я на час передвинул твою встречу! Хозяин не будет тебя ждать!

– Я год ждал...

Не так-то громко были произнесены эти слова, а прозвучали как гром. Невозможные, вне логики того времени...

Лицо Поскребышева ничего не выразило, однако почувствовалось, что в душе он содрогнулся.

Шолохов, странно посмеиваясь, извлек из кармана галифе вторую бутылку и поставил ее на стол.

Не простившись, ни слова не молвив, Поскребышев задернул занавеси и ушел.

В оцепенении замер метр, я не знал, куда спрятать глаза. Не сказал бы, что я испугался, но нетрудно понять, какие могут явиться последствия.

Последствия не замедлили. Можно сказать, что явились мгновенно.

Пока успела опорожниться вторая бутылка, в статусе Шолохова совершились перемены. Обычно Шолохов вызывал машину из гаража ЦК. И на этот раз позвонил в гараж диспетчеру, чтобы прислали машину доехать до Староконюшенного. Диспетчеры – женщины, они всегда были любезны, крайне предупредительны, рады были услужить почитаемому писателю. Я не помню случая, чтобы Шолохову отказали в присылке машины, в какое бы то ни было время дня и ночи. Здесь же последовал отказ. Машины, дескать, все в разгоне. Такого в гараже ЦК не бывало и быть не могло.

Добраться из центра Москвы до Староконюшенного не велика задача. Взяли такси. Михаил Александрович в раздумье, но иногда усмешка трогает его губы. Невеселая, как бы отражение его раздумий. Он умел взглянуть на себя со стороны, оценить иронически обстоятельства, им же самим созданные.

Из дому позвонил в службу ЦК КПСС, занимавшуюся заказом железнодорожных билетов. У него всегда принимали заказ. И здесь отказ. Усмехнулся.

– Ну что же, сделаем еще одну проверку.

Он набрал номер Управляющего делами Центрального Комитета Крупина. Не знаю, что их связывало. Дружба? Но вот вопрос, имела ли место дружба у лиц столь высокой номенклатуры ко времени стабилизации сталинского режима? Деловые связи, и только. Крупин был с Шолоховым крайне предупредителен. А как же иначе? Кому из ответственных работников Центрального Комитета не было известно особое отношение Сталина к Шолохову? Хозяин ласков, ласковы и его лакеи. Я не усомнился бы в их дружбе, если бы в этот день он вышел на связь с Шолоховым. Его, конечно, не оказалось на месте. Никто не знал, куда он вышел. Раньше никогда так не отвечали. И если Крупин действительно отлучался, его тут же отыскивали и он перезванивал Шолохову.

– Все ясно! – молвил Михаил Александрович. – В армии это называется «снять с довольствия». Вот тебе депутатский мандат, поезжай в железнодорожные кассы в «Метрополе», в депутатскую. Авось туда не дошло. Бери купе в мягком вагоне на любой поезд. Проводишь меня до Миллерова...

Билеты я взял на вечерний поезд и поехал домой собраться в дорогу. Я спешил, но к телефонному звонку подошел. Звонили из ЦК, по поручению Михаила Андреевича Сулова. По его поручению мне передали, что, если я, Шахмагонов, еще раз появлюсь возле Шолохова, в Комиссии партийного контроля поставят вопрос о моем исключении из партии.

Я выразил готовность предстать перед любой комиссией, но твердо заявил, что до Миллерова Шолохова провожу.

Пусть не подумает читатель, что я похваляюсь своим мужеством. А что я мог ответить? Своей покорностью признать за собой какую-то вину в тех или иных поступках Шолохова, признать невозможное, а именно то, чего не было, свое какое-то особое влияние на Шолохова? Кто я такой, чтобы влиять на него? Даже в тот момент, еще не зная подоплеку отказа Шолохова идти на прием к Сталину, я не мог преувеличить своего влияния, это вопрос столь сложных взаимоотношений гениального писателя и «вождя народов», что к нему и близко не мог никто подступиться, кроме Сталина и Шолохова.

Видимо, у кого-то чесались руки учинить расправу над Шолоховым. Его не достать, так ударить по секретарю. И тогда я уже понимал, что несколько унижений, которые претерпел Сулов от Шолохова, мучили этого высокопоставленного партократа еще и потому, что имелись живые свидетели этого унижения. Для Сулова моя личность – столь незначительная мелочь, что он и не вспомнил бы обо мне, но он знал, что я присутствовал при тех пассажах, которые выставляли его на посмешище.

В отношении Шолохова и «моего влияния» на него моя совесть была чиста. Много позже я узнал, что чистая совесть не оказалась мне защитой, защитил меня Шолохов. Он сумел поставить громоотвод над своей и моей головой. Как он это сделал, с кем говорил, я не знаю. Состоялось что-то похожее на джентльменское соглашение, если слово «джентльменское» употребимо в таких делах. Меня не троньте, и я не трону. Так оно должно было выглядеть. Да, он не явился к Сталину на прием, но никто из тех, кто готов был его за это порвать, не знал и не мог знать, как это его уклонение от встречи воспринято Сталиным. Наверное, я не ошибусь, если выскажу предположение, что эти два человека понимали друг друга не только с полуслова, но и не произнося никаких слов.

Забегая вперед, скажу, что, вернувшись из Миллерова, я позвонил тому работнику ЦК, который запретил мне от имени Сулова появляться у Шолохова. Очень сожалею, что запамтовал его имя. Много их прошло, «калифов на час», сквозь мою жизнь.

Я доложил, что проводил Шолохова до Миллерова и готов предстать перед любой комиссией.

– Не спешите! – получил я ответ. – Когда нужно будет, сами позовем!

Так и не позвали. Слишком тугой узел тогда завязывался между Шолоховым и Сталиным.

Та поездка в Миллерово мне запомнилась, о многом я получил от Михаила Александровича разъяснения.

И дело тут не только в недостатке времени для разговоров с глазу на глаз. Поезда до Миллерова находились тогда в пути не менее 23 часов. Времени для длительных бесед и ранее было предостаточно. Для себя я отметил, что Михаил Александрович переступил им поставленный в наших отношениях порог доверия. Что его на это подтолкнуло, не знаю, наверное, и о степени доверия не мне судить.

Поезд тронулся, я ему рассказал о звонке из ЦК.

– И что же? – спросил он в ответ. – Ты член партии и обязан реагировать на советы, тем более на указания партии.

– Аппарат ЦК – это еще не партия! – ответил я.

– Это мозг партии, – возразил он.

– Но и в мозгу могут быть явления склероза.

Михаил Александрович как бы про себя улыбнулся. Помолчал.

– На склероз не похоже. Суслов запомнил, как ему пришлось менять мнение о статье Шкерина, не прочитав ее. Вот вернешься, перед серьезной комиссией придется тебе предстать...

– Кто в этой комиссии поверит, что я помешал вашей встрече со Сталиным!

Шолохов укоризненно покачал головой:

– Об этом и не вспомнят, и слова не молвят. Не по Сеньке шапка... Сквозь увеличительное стекло на твою жизнь поглядят, а коли ничего не увидят, такое зеркало придумают, что покажет тебя вверх ногами. Не погостить ли тебе в Вешках, пока не утихнет их любопытство?

Что ж, судите, читатель, меня за наивность! Ответил я твердо:

– Напротив, с нетерпением жду этой встречи! Я знаю, что сказать и как сказать. Мне кривое зеркало не страшно!

– Исполать тебе на этом! Знай, что с Дона выдачи нет! То старинный казачий обычай.

Поезд шел ближним Подмосковьем, мелькали за окном платформы станций, скучный вид.

После длительного молчания, как бы разговаривая с самим собой, Михаил Александрович вдруг проговорил:

– Пора... Пусть они думают, что я им устрою легкую жизнь. А мне пора садиться за вторую книгу «Поднятой целины». С глаз долой, из сердца вон.

Не очень-то понимая, о чем это он говорит, полагая, что о ненаписанном рассказе о Сталине под Царицыном, я осмелился спросить: почему же он так упорно не хочет написать этого рассказа?

– Почему же не написать? – ответил Михаил Александрович. – Собственно говоря, рассказ не совсем о Сталине, а о нравах наших казачков во времена гражданской. Быть может, не очень-то этот рассказ слагался. Рука не раз тянулась к бумаге. Уж больно казак-то хорош! Перед глазами стоит, как он фуражку топчет. В неистовство впал потому, как не верил, что в спину не выстрелят. Тут все в душе смешалось, надвое человек переламывается. И Сталин перед казаками в шинели и без знаков различия, а властность его ощутили. Да вот так перед чистым листом бумаги немела рука. Если бы кто другой мне эту историю поведал, а не Сталин!

– Рассказывал, чтобы вы написали?

– И ты туда же! Не тэ, Федор! Сталина у нас или совсем не понимают, или искаженно! Не так-то он прост! Вот написал бы я этот рассказ... А как мне потом с ним встречаться? Наверное, ничего не сказал бы, а поглядел бы на меня своими умными тигриными глазами и усмехнулся бы про себя: вот и Шолохов вплел себя в венок льстецов! Пресмыкающихся не уважают! Дал он мне однажды предметный урок. Привезли мне из Закарпатья из дерева вырезанные фигуры орла и орленка. Искусная, кружевная работа. А тут приглашение на дачу к Сталину. Что-то меня под руку толкнуло подарить ему эту группу. Привез, развернул и на стол поставил. У Сталина есть такой прищур. Веки приспустит, глянет, тут же слово, как снайперская пуля. «А зачем орленок?» – спросил он. Попросил я у него пилку и орленка отпилил, а он стоял около и терпеливо ждал. Отпилил я орленка, орла он к себе на стол в кабинет отнес. Не на искательстве наши с ним отношения строились.

– А теперь как им строиться, когда на прием не явились?

– Никому невдомек, почему я к нему не явился, хотя сам просил о встрече. А он знает!

– Откуда же ему знать? – вырвалось у меня. – Поскребышев...

Михаил Александрович не дал мне продолжить:

– Поскребышев и не думал докладывать, как дело было. Списал все небось на нездоровье, а попроще, доложил, что Шолохов пьет, потому и не явился. Таким владыкам трудная задача докладывать. Доложил бы мои слова, что я год ждал... Во что бы это обернулось для того же Поскребышева, о том никто знать не может. Ну а Саша побил пол, как мальчика утешают, когда о пол стукнется. Вот и снял меня с довольствия. Сталину о том неведомо.

Тут бы мне спросить, а почему все же Михаил Александрович не пошел на прием, но не решался. Опять вернулся к теме рассказа. Решился провести рискованную параллель, напомнив, как Горький написал о Ленине. Не того ли и Сталин ждет от Шолохова?

– Не тэ, Федор! О Сталине уже такого понаписали, что сквозь этот лак до живого человека не добраться. Иконопись – не мой жанр. Ждет он от меня романа о войне. У каждого человека есть в жизни звездный час. Его звездный час – это победа в войне, равной которой не знала история.

– Роман «Они сражались за Родину»?

– Гляди-ка! Может, тебе не роман писать, а заняться литературной критикой? Тогда бы догадался, что «Они сражались за Родину» вовсе не роман, а всего лишь фронтовая повесть...

И Михаил Александрович рассказал, каким образом фронтовая повесть превратилась молвой в роман.

А не умолкнуть ли мне в этом месте? И не потому, что обрушатся на меня с опровержениями шолоховеды и прочие литературные веды. Не выдаю ли я, что должно было бы остаться тайной Шолохова? Но при здравом размышлении посчитал долгом поделиться правдой об этом произведении.

Некоторое время спустя после окончания войны в журнале «Знамя» была опубликована статья американского литературного критика. В ней он рассуждал о возможности появления всеохватывающей эпопеи в жанре романа о Второй мировой войне. В своих рассуждениях, сравнивая характер дарования Хемингуэя, Драйзера, Ремарка и Шолохова, он пришел к выводу, что создание такого масштаба произведения можно ожидать только от автора «Тихого Дона».

Сталин пригласил к себе Шолохова. Принимал он его в присутствии Г.М. Маленкова. Они дали прочитать Михаилу Александровичу статью, и Сталин сказал, что ждет от него именно такого всеохватывающего романа о войне. Сталин даже добавил, что, если в романе прозвучат мотивы пацифизма, это простится.

Михаил Александрович сослался на то, что он еще не окончил повесть «Они сражались за Родину».

– Пусть эта повесть войдет главами в большой роман...

Сталину простительно не понимать творческого процесса, но поставленная им задача не могла быть отвергнута. Так родилось обещание Шолохова создать роман-эпопею «Они сражались за Родину» в трех книгах. Правда, он нигде не разъяснял, что главы повести войдут в этот роман, хотя и пытался как-то их привязать к грандиозной задаче. Не исключая, что он видел эту возможность, но эти главы не были бы стеновым хребтом сюжета. Здесь я забегаю вперед. Тогда, в поезде, он ограничился лишь объяснением, как повесть превратилась в роман. Повесть – как фронтовой очерк. Сюжет ее – это движение отступающих войск до Сталинграда. Это всего лишь один эпизод во всеохватывающей эпопее. Собрать роман о войне, сплести в нем человеческие судьбы, на это должны были уйти годы, на это нужны творческие силы, для этого нужна и обстановка творческой свободы. О какой творческой свободе могла быть речь, ибо в сороковые послевоенные годы даже та малая свобода, которой пользовались писатели в двадцатые годы, испарилась. Вопрос о публикации газетной рецензии взлетал до первого лица или первых лиц государства. Цензура состояла из нескольких порогов, и самый, пожалуй, нестрашный, это Глав лит, именно цензура. Первым порогом стоял свой цензор, свое сознание, о чем можно говорить, а о чем надо глухо молчать. Но и это еще только первый порог. Сознание можно было подчинить воле. Но помимо сознания, на уровне клеток, поселился страх. Не только мысль, выраженная в книге, фраза, слово могли оказаться роковыми, малейшее отклонение от того, что сочли бы невежественные идеологи большевизма вредным, влекло за собой крушение писательских судеб. До Главлита на рукопись набрасывались редакторы издательств. У них также сознание подконтрольно страху, к тому же надобно добавить и желание выслужиться. Это была целая армия литературных захребетников, что-то совершенно необычное в творческом процессе. Речь идет не о технической подготовке издания, а о вмешательстве в творческий процесс, наделены они были правом не только править писателя, но и диктовать ему сюжетные и концепционные переделки. И только после всей этой подготовительной цензурной работы в свои права вступал Главлит. И там искали, что бы такое-такое найти, чтобы показать, что и они нужны. И несмотря на эти пороги цензуры, более или менее усложненные идеологические вопросы переносились в аппарат ЦК КПСС. Здесь уже правил бал человеконенавистник, прозванный Кощеем Бессмертным, – Михаил Андреевич Суслов, с 1946-го по 1982 год несменяемый страж Кощеева царства.

Шолохов, конечно, не подпадал под общий ряд, но это совсем не означало, что ему было легче. В его творчество ни редакторы, ни Главлит не вмешались бы, но читали бы его, прежде чем пустить в публикацию, на самом «верху», быть может, читал бы и лично Сталин, как это уже было с «Тихим Доном».

Тогда в вагоне я услышал от Михаила Александровича:

– Не рассказа о бело-красном казачке ждешь от меня Сталин, ждешь романа о войне. Каждому должно быть понятно, какой может быть роман о войне, в котором не присутствовал бы Сталин. Вижу, – продолжал он, – ищешь ты объяснения, почему я уклонился от встречи с ним? Остер, как лезвие бритвы, этот вопрос. И заранее скажу, не будет тебе вызова в КПК... Эти несколько строчек в письме Феликсу Кону открывают зияющую бездну. Настало время еще одного пересмотра роли личностей в нашей советской истории.

Открывалось передо мной понимание Михаилом Александровичем публикации злополучного письма.

Он назвал его «приглашением к бою».

– Интересный документ показывал Беляков! Да кто же на Дону не знал, что из Москвы шли директивы известить казачество под корень? Подтелков и другие отряды Донского правительства Сырцова шли с огнем и мечом, вот и всколыхнули Тихий Дон.

Ожидаю вопрос оппонентов: почему же Шолохов, зная об установках руководства большевистской партии о рассказывании, о необходимости расстрелять до ста тысяч казаков, способных носить оружие, и о массовом выселении казаков с Дона, промолчал об этом в «Тихом Доне»?

Роман – это не историческое расследование, это не политическая публицистика, это повествование о судьбах людей, действительность предстает через их осознание. От Мелехова и от его спутников по жизни партийные интриги, борьба внутри большевистской партии за власть, тайные директивы были далеки, к ним доходили только их отголоски. И если внимательно читать роман, то и невооруженным глазом видно, что восстание на Дону было вызвано политикой коммунистов. Большого Шолохов не мог сказать, и ему большего сказать не дали бы.

Однако это мои соображения, Шолохов мне об этом не говорил. Но, забегаая вперед, скажу, что однажды, когда у нас зашел разговор о романе о Великой Отечественной войне, посетовал:

– Как не понять, если я напишу о войне, как я ее вижу, и рукопись исчезнет, и я исчезну...

Здесь – и парадокс. Чтобы понятными стали размышления Шолохова по поводу его отказа от встречи со Сталиным, надо вернуться назад и отвлечься на время от развития излагаемого сюжета.

Вернемся к тридцатым годам. Сии события не на моей памяти, в разное время мне рассказывал о них Михаил Александрович. Общеизвестно, что его «собратья» по перу сделали все возможное, чтобы пресечь публикацию «Тихого Дона». Особенно в этом старались Александр Фадеев и Федор Панферов, не говоря уже о многих и многих околослитературных рецензентах и критиках. Приложил к этому руку и Максим Горький.

Фадеев и Горький в один голос утверждали, что третья книга «Тихого Дона» порадует белогвардейскую эмиграцию. По тем временам опасный донос. По менее жестким обвинениям люди уходили в небытие.

Александр Фадеев в то время рвался в руководство Союзом писателей, имея за плечами повестушку «Разгром». Он видел, чем ему грозит завершение «Тихого Дона», каким мизерным становится его значение в русской литературе. Он неистово требовал переделок романа, говорил, что надобно «выкинуть ко всем чертям» самые острые главы в третьей книге, лучшие главы романа. Тринадцать глав!

Сейчас уже не у кого спросить, что побудило Сталина прочитать рукопись Шолохова. Прочитал и в присутствии Горького сказал: «Третью книгу «Тихого Дона» печатать будем!»

Уже этим одним Сталин показал свой интерес не только к художественным достоинствам романа, но и к истории донского восстания.

Поддержал он Шолохова и когда роман был закончен не так, как ожидалось тогдашними идеологами: остановил готовившийся погром литературной критикой, возвращенной РАППом. Каприз вождя?

Минула война, Сталин обрел огромный авторитет во всем мире. Настал час прояснить, ради чего он берег автора «Тихого Дона».

Шолохов не получил ответа на письмо об ошибках Подтелковского движения. Сталин не посчитал нужным ответить письмом на письмо. А Шолохов не явился на прием для разговора с глазу на глаз.

Состоялся как бы безмолвный диалог. Шолохов понял, почему Сталин не ответил на письмо, а Сталин понял, почему Шолохов уклонился от встречи.

Мне доводилось слышать мнение литераторов, что Сталин берег Шолохова в надежде, что автор «Тихого Дона» когда-нибудь напишет ему панегирик.

Михаил Александрович иначе истолковал игру с письмом Феликса Кона.

С 1947 года нельзя было не заметить, что Сталин резко поменял свое отношение к евреям, хотя в предвоенное время именно люди еврейской национальности славословили его громче всех других и всячески его оберегали от какой-либо критики или принижения его личности. Восхваления не имели меры. За Сталина объяснять его поворот в еврейском вопросе не имеет смысла. По всему было заметно не только Шолохову, что готовится новый круг ниспровержения авторитетов. Партия еще во время войны была названа самим Сталиным «партией Ленина – Сталина». Победителю фашизма этого уже было недостаточно. На подступах к пересмотру роли Ленина в революции стояла фигура Якова Михайловича Свердлова, первого «всесоюзного старосты». Пока стояла эта фигура в неприкосновенности, перечеркнуть роль евреев в революции было невозможно.

Так почему же, почему же Шолохов уклонился от встречи?

Бессонной ночью в поезде он объяснял:

– Не рассказа о бело-красном казачке ждет от меня Сталин. Объяснения Подтелковского движения? Ему не нужен Подтелков. Ждет он от меня объяснения причин донского восстания. А вся причина в директиве Свердлова. И не только Свердлова... Революции не нужно было раскачивание, это требовало мстительное чувство еврейских делателей революции. Как показать без ошибок Подтелковский поход, не обращаясь к директиве Свердлова? А тогда вопрос: ради чего и по чьей вине пролита русская кровь? И в кошмарном сне не приснится, как могло стать, что первым президентом России стал еврей сомнительной нравственности?

Я спросил, почему же не помочь Сталину развенчать Свердлова?

– А следующий кто? – вполголоса ответил Шолохов. Помолчал, как бы колеблясь, продолжать ли разговор, а потом спросил: – Ты с клетским казачком Беляковым знакомство поддерживаешь?

Я ответил, что даже подружился с ним.

– И роман он тебе свой дал почитать?

О многом успели переговорить Шолохов и Беляков, прогуливаясь вокруг гостиницы «Москва».

– Читаю... – ответил я.

– Ну и как?

Я пояснил, что написан роман талантливо, даже трудно поверить, что человек с такой биографией мог так написать. Сочный донской язык, образный, живые люди. Несколько не организован, но это поправимо.

– А главный герой кто?

– Миронов...

– Командарм Второй конной армии, – уточнил Шолохов. – К страшному делу прикоснулся клетский казак... Мироновец к тому же! Сталин в трату Семена Буденного не даст. Не скоро откроется правда о Миронове. Не для того его в Бутырках пристрелили без суда и следствия. И об этом есть в романе?

– Есть и об этом.

– Как-нибудь дашь почитать. А тебе первая загадка! Беляков бывший чекист, порядок ему известен. А письмо он ко мне о директиве Свердлова подписал и адрес дал обратный. Откуда такая смелость? И вторая загадка! Откуда у него копия директивы? Этот документ спрятан за семью печатями.

Я пояснил, что Беляков сослался на друзей в архиве.

Шолохов усмехнулся:

– Он и мне пытался втемяшить про друзей-казачков. Не тэ! Я ему сказал: или говори правду, или разговор прекращаем. Признался, что эту копию ему вручили в МГБ и мне поручили передать! А ему, имея на руках такой роман, как отказаться?

– Провокация? – воскликнул я.

– Нет, не провокация! Подсказка! Дескать, начинающий писатель поделился с Шолоховым документом. Экое невинное занятие. А мне что делать? Просить подлинник! У кого просить? Кому посильно открыть этот документ? Одному лишь человеку! Вот и причина донского восстания на Дону. Раскрывается Шолоховым в весьма популярном романе. И поддержать Шолохова можно, а в крайней нужде и дезавуировать.

Дальнейшие рассуждения Михаила Александровича сводились к следующему.

Сталин начал новый виток в пересмотре истории революции и гражданской войны. К чему этот пересмотр должен привести?

Не только же к ниспровержению Свердлова. Не начат ли пересмотр заслуги в Октябрьской революции революционного еврейства? Существует твердое убеждение об особо выдающейся роли еврейских революционеров в победе Октябрьской революции и в победе большевиков в гражданской войне. Политика еврейской революционной верхушки большевистской партии породила восстание на Дону, что создало опасность крушения советской власти. Сначала Дон, затем пересмотр доктрин военного коммунизма, а засим полное исключение роли революционеров еврейской национальности и признание революции делом исключительно русским.

Свои рассуждения Михаил Александрович заключил удивительной фразой:

– Я не хочу отбирать первенство еврейской нации в совершении Октябрьской революции в России. Каждому свое...

«Мне отмщение, и аз воздам». Каждый за свое в ответе. Так это прозвучало.

3

Размолвка Шолохова со Сталиным оказалась недолгой...

5 марта 1953 года Сталина не стало. В «Правде» появилось прощальное слово Шолохова, которое начиналось словами «Как страшно и внезапно мы осиротели...».

Тогда мало кто обратил внимание на эти слова. Страну встряхнуло не столько горе по «вождю народов», сколько начавшиеся крутые перемены.

Отменялся последний сталинский пересмотр истории революционного движения в России, последние его кадровые перестановки в руководстве не только КПСС, но и в странах народной демократии. Оглядываясь на этот период советской истории, я нахожу в оценках тех событий сегодня подтверждение догадки Шолохова о том, какую роль предназначал ему Сталин в ниспровержении авторитета Свердлова. У меня нет сомнений сегодня и в том, что после Свердлова пришла бы очередь и пересмотра значения Ленина. Все это развивалось на фоне политических процессов в Венгрии, в Польше, в Болгарии, в Румынии, а внутри страны Сталин предпринял жестокий поход против еврейства, не посчитавшись с тем, что еврейство его прославляло все годы восхождения к неограниченной власти.

Естественно, что после смерти Сталина началась еврейская реконкиста – отвоевание утраченных позиций у кормила власти и идеологии, отнятых Сталиным.

Одновременно неизбежен был и пересмотр дел политзаключенных, ибо продолжение тоталитарного террора вело народ к вырождению.

Сталин перед началом нового витка в пересмотре истории революции и ее вождей начал готовить устранение своих главных соратников: Молотова, Кагановича, Ворошилова, Микояна, Берии. Каждое время рождает и свои методы. Политбюро было волей Сталина преобразовано в Президиум ЦК КПСС. В Президиум были введены новые лица, можно сказать, что даже новое поколение партийных работников, явная смена прежним «соратникам». Осталось последнее действие: устранить «соратников», нежелательных свидетелей крем-

левских тайн, на их место становились новые люди, в кремлевские тайны не посвященные, рабски готовые подчиниться сталинской воле.

Сталина торжественно проводили, забальзамировали и положили в Мавзолее рядом с Лениным. Пробурчали что-то о сооружении Пантеона-усыпальницы вождей, но никто не собирался превращать Сталина в предмет поклонения.

Константин Симонов разразился передовой статьей в «Литературной газете», в которой призывал посвятить многие годы освоению сталинского наследия. Его резко одернули. И уловители настроений верхов начали приглушать восторги, расточавшиеся Сталину.

Арест Берии, произведенный согласно всеми сталинскими соратниками, пошатнул посмертный сталинский трон. Обвинение Берии в пособничестве империализму прозвучало нелепо, но вот указание на нарушение им социалистической законности, арест его подсобных неизбежно поставил вопрос о пересмотре дел осужденных.

За всеми этими переменами угадывалась ожесточенная борьба за власть.

Однако всего лишь угадывалась. В лучшем большевистском стиле демонстрировалось единство и единодушие, а в это время вызревало, кому же вручить, какой персоналии, власть, отнюдь не равную сталинской, но чтобы она всех устраивала. В то же время каждая из персон хотела заполучить освободившийся трон вождя партии. В этой обстановке Хрущев проявил себя умнее, дальновиднее и смелее своих соперников. Он не побоялся поднять обоюдоострый меч разоблачения культа Сталина, нарушений Сталиным и его присными законности и нравственности. Этим мечом он сразил своих противников, ценой раскрытия кровавых и постыдных кремлевских тайн и изуверства вождей «коммунизма».

И сейчас же недруги Шолохова припомнили ему фразу: «Как страшно и внезапно мы осиротели». Не К. Симонову его рекем по Сталину, не восхваления Пастернака, не лизоблюдство Мехлиса и многих других, вдруг ополчившихся на Сталина с тем же неистовством, с каким его воспевали. Выворачивали слова, подстраивая обвинения чуть ли не в мракобесии. Вот, дескать, людоед Шолохов тоскует по другому людоеду...

Нет, не тоска в этих словах Шолохова, а человеческий поклон за то, что Сталин спас его «Тихий Дон» и спас жизнь его автору.

4

Сталин трижды спас Шолохова от гибели. Что его подтолкнуло быть милостивым к Шолохову при немилости к другим, что влекло его к донскому казаку? Горький понадобился Сталину, чтобы устами пролетарского писателя была произнесена фраза: «Если враг не сдается, его уничтожают». От Горького нужно было благословение на уничтожение ленинской гвардии, сиречь старых большевиков. Для упрочения своего собственного авторитета, для показа гуманности своей диктатуры Сталин призвал на родину графа Алексея Толстого, обласкал, одарил, что дало возможность Молотову в одной из речей похвалиться, что и графы примкнули к советской власти. Это – политика, это заигрывание с эмиграцией.

Шолохов свой, целиком в руках, и не было у него защиты ни в пролетарском прошлом, ни в славе пролетарского писателя, ни в графском титуле. Потрясение у Сталина талантом этого казачка? Положим, все говорит о том, что Сталин умел отличать талант от серости и бездарности. Ну а сколько талантов погубил он, не моргнув глазом?

Что побудило Сталина защитить тогда еще молодого писателя от Горького и Фадеева, когда последовало его твердое указание печатать «Тихий Дон», невзирая на оценку романа как антисоветского?

Сталина нет, его не спросишь, объяснение Шолохова и приводить не стоит, откуда бы могли быть ему известны мотивы, которыми руководствовался Сталин? Для Сталина всегда на первом месте стояли политические соображения.

В стране бушевал «Большой террор», как утвердилось в истории аресты 1936–1938 годов. Именно эти годы вызвали особое пристальное внимание, хотя террор в эти годы был даже меньшим, чем в то время, когда Сталин стальной рукой осуществлял сплошную коллективизацию. Миллионы русских мужиков, немалое их число с семьями, были уничтожены в застенках, заморены голодом, сосланы на погибель, на смерть в холодные края волей тех, кто и сам попал позже в «ежовы рукавицы». О них не вспоминали, реквием звучал по палачам, а не по жертвам.

Уничтожалось высшее и среднее командование Красной армии. Холодный страх сковал страну. Останавливались заводы, ибо кадры инженеров поредели, обезлюдели министерства. Арестовывали невиновных, в этом и состоял ужас положения, никто не мог себя считать защищенным законом.

Троцкий изгнан из страны, объявлен врагом номер один, а на самом деле проводилась в жизнь его директива, оглашенная им 16 декабря 1918 года.

Вот она, эта людоедская программа: «Если до настоящего времени нами уничтожены сотни и тысячи, то теперь пришло время создать организацию, аппарат, который, если понадобится, сможет уничтожать десятками тысяч. У нас нет времени, нет возможности выискивать действительных, активных наших врагов. Мы вынуждены стать на путь уничтожения, уничтожения физического всех классов, всех групп населения, из которых могут выйти возможные враги нашей власти. . . Патриотизм, любовь к родине, к своему народу, к окружающим, далеким и близким, к живущим именно в этот момент, к жаждущим счастья малого, незаметного, самопожертвование, героизм – какую ценность представляют из себя все эти слова-пустышки перед подобной программой, которая уже осуществляется и бескомпромиссно проводится в жизнь!»

Еще не сказано последнего слова о троцкизме как о явлении в русской истории, ни о теориях Троцкого и его приспешников, о их практической работе по геноциду русского народа. Не здесь разбираться в этом явлении, важно лишь упомянуть, что руководящий состав карательных органов в годы «Большого террора» почти сплошь состоял из лиц одной национальности с Троцким.

Кучке политических авантюристов, а по существу, банде убийц, захвативших власть в стране, чтобы удержаться у власти, надо было физически уничтожить не тысячи, а миллионы, и в особенности тех, кто способен был понять и оценить, что происходит. Шолохов просто не мог не попасть в число тех, кого им было необходимо уничтожить. Ставленники этой банды в Ростовской области Коган и Эпштейн, при поддержке секретаря Ростовского краевого комитета Евдокимова и начальника Ростовского НКВД Гречухина в 1938 году подготовили арест и уничтожение Шолохова.

Не раз в печати рассказывалось об этом эпизоде. К сожалению, не всегда одинаково, поэтому возникло несколько версий. Я не хотел бы вступать в полемику с их авторами, ибо не знаю, каким образом они рождались. Я обязан рассказать так, как мне об этом рассказывали Михаил Александрович и участник операции, бывший чекист Иван Семенович Погорелов. Столь сложная история не могла не обрасти легендами.

Евдокимов, хозяин края, назначил лично чекиста Погорелова руководить арестом Шолохова, придавая особое значение этому акту. Непосредственные руководители операции Коган и Эпштейн пугали Евдокимова, что за Шолохова в момент ареста могут вступить казаки.

Евдокимов взял с чекиста Погорелова подписку, что все касающиеся операции по аресту Шолохова он будет сообщать только лично ему.

Иван Семенович Погорелов геройски сражался во время гражданской войны и имел редкую для того времени награду – орден боевого Красного Знамени. Человек в Ростовском НКВД заметный. К тому же, что в те годы было очень вредно для НКВД, человек думающий

и образованный. Не знал Евдокимов, не знали ни Эпштейн, ни Коган, что поручают темное дело поклоннику шолоховского таланта.

Погорелов не был лично знаком с Шолоховым. Это очень затруднило им задуманное. Он был из тех чекистов, кто уже понял, что в руководстве НКВД происходит неладное, что арестам подвергаются невинные, что следствие ведется не по закону. А тут вот и над Шолоховым нависла смертельная угроза. Казак решил спасти автора казацкой эпопеи. И в ту глухую пору находились люди чести и совести. Он приехал в Вешенскую и явился к Шолохову. Предупредил, что готовится его арест, и порекомендовал выехать в Москву к Сталину. Добираться, минуя Миллерово, ибо там стояла засада.

Трудное, сложнейшее объяснение, немыслимая в нормальном обществе коллизия.

Чекист, а в общем понятии полицейский комиссар, предупреждает о готовящемся аресте не преступника, а писателя, ставшего к тому времени национальной гордостью России.

А как воспринять это откровение Михаилу Шолохову?

Шолохов говорил, что возможности нападения со стороны областного руководства он мог ожидать, в тот проклятый 1938 год ни один человек не мог считать себя вне опасности от ареста органами НКВД. Это касалось и высших партийных функционеров, даже и членов Политбюро, вознесенных на недостижимую высоту для смертных.

И вдруг незнакомый человек, чекист, которому поручено осуществить «операцию захвата», советует бежать в Москву, искать там защиты. Сие могло быть и провокацией. Так в спешке и оценил Шолохов предупреждение Погорелова. Он выгнал его из дома, а потом, рассудив, счел за благо все же последовать его совету. И не через Миллерово, а по Сталинградской железной дороге выехал в Москву. В Москве он немедленно соединился по телефону с Поскребышевым, рассказал о предупреждении Погорелова и просил о встрече со Сталиным.

Поскребышев посоветовал Шолохову остановиться в гостинице «Националь» и ждать. Несомненно, что о просьбе Шолохова он тут же доложил Сталину.

Многие эпизоды такого рода дают нам возможность говорить о черте характера Сталина. Он не терпел, когда забегали вперед без его согласия в делах, к которым он когда-либо приложил руку.

Уже однажды у Горького он взял Шолохова под защиту, имея на то свои соображения, которыми ни с кем не поделился. И вот опять гроза над Шолоховым. НКВД конечно же был осведомлен и об отъезде Шолохова из Вешенской, и о том, где он остановился. Ареста не последовало, остановить это действие было по силам только Сталину.

Погорелов послал в Москву письмо к Сталину, в котором сообщил о готовящейся расправе над Шолоховым руководством ростовского НКВД. Не забыл он упомянуть и о нарушении чекистских традиций, о второй подписке, взятой у него Евдокимовым.

Но и самому Погорелову надо было спасаться. Он сумел уйти от своих коллег и добрался до Ворошиловграда, где секретарем горкома был его фронтовой друг. Естественно, что тот не знал о том, что Погорелова разыскивает ростовское НКВД, и разрешил Погорелову позвонить из горкома в Москву в секретариат Сталина. Оказалось, что Погорелова разыскивало не только его начальство, но и Сталин. Погорелова до странности просто соединили по телефону со Сталиным. Он даже усомнился, действительно ли его соединили со Сталиным. Сталин положил трубку, и раздался звонок из Москвы в горком по правилам связи в таких случаях. Сталин «посоветовал» Погорелову выехать в Москву и найти Шолохова в гостинице «Националь».

Погорелов и Шолохов сошлись в гостинице «Националь», их связал между собой Поскребышев и приказал ожидать вызова к Сталину, из гостиницы никуда не выходить.

Тоскливое, если не сказать больше, ожидание под дамокловым мечом. Каждое утро Шолохов звонил Поскребышеву и получал ответ: «Ждите...» Утренний звонок, ответ Поскребышева:

– Сегодня не будет!

Шолохов спросил:

– Можно расслабиться, отдохнуть?

Получен ответ:

– Не выходя из гостиницы...

Тревога тех дней сказалась, Шолохов и Погорелов только успели «посидеть», раздался звонок Поскребышева:

– Машина вышла, вас ждут!

– Саша, – взмолился Шолохов, – мы не ожидали, мы не в форме!

– Машина вышла, спускайтесь к машине!

Так и явились Шолохов и Погорелов, не сказать «навеселе», веселого не ожидалось, но, строго говоря, на столь ответственное заседание не по форме.

Заседание Политбюро.

– Все в тумане, – вспоминал Шолохов, – и не от хмеля, от волнения.

Члены Политбюро за столом, Сталин прохаживается по ковру. Встретил у дверей. И конечно же заметил, в каком состоянии явившиеся на вызов. Поздоровался с Шолоховым за руку и сказал с укоризной:

– Мне докладывали, что Шолохов много пьет.

– От такой жизни, товарищ Сталин, запьешь! – ответил Шолохов по обычаю своему в шутовском тоне. Но Сталин шутки не принял.

– У вас не столь горькая жизнь, чтобы пить, у вас задача закончить вашу эпопею о революции...

Усадили приглашенных у конца стола. Все – и руководство Ростовского крайкома, и энкавэдэшное начальство области в сборе, едва над столом возвышаясь, нарком внутренних дел Николай Иванович Ежов, сталинский «железный» нарком, «ежовы рукавицы» Сталина!

Обстановка оказалась значительно более грозной, чем это могли предположить Шолохов и Погорелов. Операция не замыкалась лишь на Ростовской области. Доклад о контрреволюционной и антисоветской деятельности делал Ежов, оперируя «агентурными материалами».

Из этих «материалов» вырисовывалась картина, что будто бы Шолохов готовил на Дону контрреволюционный переворот. Коган и его агентура «поработали».

– Мне казалось, что я во сне, – вспоминал Шолохов, – что кто-то в бреду: или я, или все собравшиеся. Как могли люди, находившиеся на столь высокой властной вышке, спокойно выслушивать чудовищную чепуху? Мне трудно было сдержаться, и, чтобы подавить волнение, я прибег к простейшему: уставился в одну точку. Точкой этой оказались ноги Кагановича. Из-под брюк спускались ничем не прихваченные носки.

Сталин дал высказаться Ежову, терпеливо его выслушал до конца, все так же прохаживаясь по кабинету.

Остановился около Ежова и спросил:

– Товарищ Ежов, скажите, сколько дает подписок о неразглашении государственной тайны чекист?

– Одну, товарищ Сталин!

– А почему же товарищ Евдокимов взял вторую подписку с чекиста Погорелова? Подписку, что по делу Шолохова он обязан сообщать только ему, Евдокимову? Это что же означает? Товарищ Погорелов сообщает только Евдокимову. О том, что он сообщает, скрыто от всех, от вас, товарищ Ежов, от Политбюро, от Сталина.

На заседании воцарилось тяжкое и тревожное молчание.

Сталин вернулся к своему месту за столом и сказал:

– Товарищи Шолохов и Погорелов могут идти. К ним у меня вопросов нет.

Пронесло...

Евдокимов и все руководство НКВД Ростовской области вскоре было арестовано, не намного пережил их и Ежов.

И в третий раз пришлось вмешаться Сталину в судьбу Шолохова и его романа «Тихий Дон».

Роман был закончен и опубликован накануне Великой Отечественной войны. Его выхода в свет ждали миллионы читателей и в стране, и за рубежом. Его полная публикация становилась крупнейшим событием в мировой литературе XX столетия.

Литературным карликам ничего не оставалось, как дать «последний и решительный бой» автору «Тихого Дона» и русской литературе в лице Михаила Шолохова. Уже все было испробовано: обвинение в плагиате, доносы и клевета, авторитет Горького и Фадеева, чтобы остановить публикацию романа, и теперь были мобилизованы самые крупные критики «карликового племени». Предлог для разгромного выступления в печати предоставил им сам автор. Григорий Мелехов, главный герой романа, сражался за красных, оказался одним из вождей донского восстания, сражался с большевиками, ушел к буденновцам, потом судьба его привела в банду, и, наконец, разочаровавшись и в «зеленых», он возвращается домой к детям, и нигде не сказано, что он по убеждению принял советскую власть и большевистский режим.

А посмотрим на образы коммунистов в «Тихом Доне», на Штокмана, отличавшегося жестокостью и непримиримостью, столь распрямленного большевистского комиссара, что и в двери казачьих куреней не войти, Бунчук – палач, Михаил Кошевой – недалекий парень, ему ли найти душевную близость с казаками. Так что же произошло? Шолохов оставил донское казачество не примиренным с советской властью?

Раззудись, плечо, размахнись, рука. Готовое обвинение: Шолохов – идеолог донского восстания. В те годы никого из литературных карликов не могли тронуть литературные достоинства романа, идеология – вот главное, а не художественное величие книги.

Владимир Ермилов, возвращенный рапповцами, искусный в критических статьях подать политический донос, приготовил статью для «Правды», уничтожающую «Тихий Дон».

По неукоснительному порядку план номера поступал в Центральный Комитет партии. О наиболее важных и острых материалах докладывали Сталину. Сталин, найдя в плане номера упоминание о статье Ермилова о «Тихом Доне», затребовал статью. Прочитал и посоветовал редакции статью отвергнуть, а вместо нее в номер поставить статью с совершенно противоположной оценкой романа, чем ту, которую давал Владимир Ермилов.

И на этот раз уничтожить великий русский талант не удалось.

Нападки продолжались, но больше исподтишка, по мелочам, но уже смертельной угрозы они не несли.

Еще раз показал себя Александр Фадеев. Он был единственным, кто голосовал на заседании Комитета по Сталинским премиям против присуждения этой, по тем временам высшей, премии Михаилу Шолохову.

И уже много лет спустя Александр Солженицын, писатель, чье литературное творчество сильно переоценено, слава к которому явилась в силу политической обстановки, ревнуя к шолоховскому таланту, опубликовал злобный пасквиль «Стремя Тихого Дона», подхватив легенду, рожденную в среде врагов Шолохова, о якобы имевшем место плагиате.

* * *

Я не хотел бы, чтобы у читателя сложилось мнение, что рассказом об отношении Сталина к Шолохову, о том, как он спасал Шолохова от гибели, я пытаюсь реабилитировать сталинские преступления. Тема этих отрывочных воспоминаний – личность Шолохова, Сталин в них появляется только в связи с Шолоховым. Я не беру на себя смелость объяснить причину снисходительности и даже милостивости Сталина к Шолохову. В конце концов, и Сталин умел отличить истинный талант от посредственности, а разглядев огромный талант, понимал, что послужит этот талант во славу его эпохи. Вместе с тем Сталин не поднял своего голоса в защиту других талантов, которые глухо погибли, а они бы могли украсить его «престол».

Сам Шолохов в моем присутствии никогда не объяснял своих отношений со Сталиным, ограничиваясь лишь пересказом их бесед. Попытки истолковать удивительное отношение Сталина к Шолохову, объяснить отклонение Сталина от обычной для него жестокости делались и друзьями, и врагами Шолохова. Но все эти попытки не выходили за рамки наивных предположений.

Некоторые считали, что Сталин поддерживал Шолохова в надежде, что он когда-нибудь восславит его имя, как это сделал Горький восхвалением Ленина. Однако и без Шолохова нашлось предостаточно славословов; хвалебные оды кем только не сочинялись, а в особенности теми, кто после смерти Сталина сделались его самыми горячими хулителями. Иные ищут ответа в наметившемся русофильстве Сталина, но в 30-х годах, когда Сталин защитил «Тихий Дон» от Горького и Фадеева, ничего русофильского в действии Сталина не найти.

Сталин не считал нужным поделиться своими соображениями, разве что назвал публично Шолохова замечательным писателем.

Мне довелось внимательно изучать эпоху Ивана Грозного. Сталин не любил исторических параллелей, точнее говоря, не хотел, чтобы кто-то находил подражательные мотивы в его деяниях. Но объективно в иных случаях от исторических параллелей не уйти.

Есть некоторая схожесть в деяниях Ивана Грозного и «пролетарского» вождя Иосифа Сталина. Тут даже не схожесть, а в иных случаях прямое заимствование. Самодержец, почтавший власть свою, полученную от Бога, и Генеральный секретарь Коммунистической партии, основанной на демократических принципах, им откровенно поправленных. Оба эти самодержца, как и многие другие тираны, были склонны к театральности. Иван Грозный любил ставить жестокие спектакли перед ближайшим окружением, да и перед людскими массами то ж. Удивлял, поражал свое ближнее окружение и Сталин неожиданностями в решении судеб своих присных. И тот и другой любили поиграть в кошки-мышки, игра, конечно, заканчивалась не в пользу мышек, но иногда, подержав мышку меж когтей, отпускали ее на свободу до следующей игры. Примеров тому достаточно и из XVI века, и из сталинского времени.

Хотя бы звонок к Пастернаку с вопросом, не мог бы он поручиться за Мандельштама.

И все же, вплоть до недоумения с Подтелковским движением, Сталин оберегал Шолохова. Шолохов ему ответил в траурном своем слове: «Как страшно, как внезапно мы осиротели...»

Ох, немало обрушилось упреков в адрес Шолохова за эти слова, и все больше от тех, кто пресмыкался перед Сталиным при его жизни, а после смерти с усердием принялся лягать мертвого льва.

М. И. Привалова Две встречи с М.А. Шолоховым

Когда в 1932 году из печати вышел роман Шолохова «Поднятая целина», я работала председателем Сосницкого сельсовета в пограничном тогда Волосовском районе Ленинградской области. В Сосницах был в то время крохотный колхоз (всего 18 хозяйств). Каковы были трудности с проведением коллективизации – общеизвестно. Но в юности все казалось достаточно легкоосуществимым... В сельсовете было всего два члена партии и три комсомольца; большую помощь оказывали нам учителя школ и уполномоченные сельского совета в деревнях.

Чем была для нас «Поднятая целина» Шолохова? Она менее всего была для нас «художественной литературой». Это была сама жизнь, воспроизведенная каким-то удивительным способом, освещенная прожектором великой правды, а потому она была нашим непосредственным помощником в работе.

В 1935 году по Волосовскому району коллективизация была полностью завершена, в том числе, разумеется, и по Сосницкому сельсовету, и меня Леноблисполком откомандировал на учебу в Институт им. М.И. Калинина (позднее он был преобразован в Юридический институт). Через год я перешла на филологический факультет ЛГУ, так как со школьной скамьи мечтала заниматься изучением русской литературы. Творчество М.А. Шолохова теперь интересовало меня уже как образец прекрасной новой русской литературы. Поэтому, когда стал приближаться срок окончания учебы (1941 год), я решила поехать на работу в станицу Вешенскую. Однако комиссия по распределению направила меня в Елабужский учительский институт. Написала просьбу в Наркомпрос, получила отказ. И тогда я написала отчаянное письмо М.А. Шолохову... Но это было уже в середине июня 1941 года, а 22 июня сделало сразу все вопросы «посторонними», кроме одного – война!

Прошло четырнадцать лет. Только после окончания аспирантуры и защиты диссертации по языкознанию мне представилась возможность поехать в Вешенскую. Непосредственным поводом послужил выход нового, исправленного издания «Поднятой целины». Исправления касались преимущественно языка романа в плане приближения речи автора, а иногда и речи персонажей, к нормам общелитературного языка. Это выдвигало новые, более сложные вопросы для осмысления не только «стиля» автора в узкоязыковом плане, но и общей проблемы взаимоотношений языка индивидуально-авторского, диалекта и литературного языка. Можно было предположить, что основная причина столь тщательной правки романа кроется в объективных изменениях связи между этими категориями, возможно, в изменениях каких-то сторон диалекта.

Для ответа на эти вопросы следовало заново рассмотреть сами верхнедонские говоры, послушать и записать в их современном состоянии; изменилось ли в них что-либо за годы коллективизации, Отечественной войны и послевоенные годы? Скептики утверждали, что четверть века не имеет никакого значения для развития языка, а тем более диалектика. Но мало ли что могут утверждать скептики?

Так с наступлением каникул, в начале июля 1954 года, я вместе с дальней родственницей, горячей поклонницей творчества М.А. Шолохова, выехала в станицу Вешенскую.

Напомню, что лето 1954 года было чрезвычайно тяжелым на Верхнем Дону. С конца апреля до начала августа там не было ни одного дождя; стояла жестокая засуха; температура воздуха почти все время держалась в пределах 40 градусов, а температура песка, даже вблизи воды на берегу Дона, доходила до 60 градусов. Пшеница, травы, овощи – все погибало...

Дорога от станции Миллерово до Вешенской была мучительна: в автобусе духота невероятная, а в окна из степи дул горячий воздух. Через Дон нужно было переправляться на

лодке. Мы спросили у перевозчика, нельзя ли снять в станице комнату на месяц. Он любезно предложил остановиться у них в доме (Ленинская ул., 36).

Да, станица Вешенская была воистину «вся в засыпи желтопесков»! Зелени очень много, однако все из-за той же засухи листья деревьев шумели как-то особенно, с металлическим призвуком. Почти напротив переправы стояла небольшая белая церковь; в центре главной улицы, пересекавшей станицу, – Дом культуры, а в конце улицы, на высоком берегу Дона, – дом Шолохова...

Мы приехали 7 июля, а следующий день ушел на представление по начальству, так как у меня было официальное командировочное удостоверение: я приехала для исследования говоров Вешенского и Базковского районов. В райисполкоме, в редакции районной газеты «Донская правда», в Доме культуры сотрудники встретили нас внимательно и радушно, предлагали всяческую помощь, рекомендовали, куда лучше поехать записывать говоры, и т. п. В редакции газеты Людмила Федоровна Пятикова посоветовала поехать в район с агитбригадой Дома культуры, которая буквально на днях выезжала в район на полевые станы. Это было удобно, и я охотно согласилась. Через два дня мы уже выехали на полевые станы Вешенского района.

Товарищи из агитбригады, как и многие другие, с кем мне приходилось общаться в районе, много и охотно говорили о М.А. Шолохове, при этом, как водится, рассказывали о прототипах его героев, особенно о прототипах Григория Мелехова, Натальи, Аксиньи... Прототипов деда Щукаря было несколько, почти в каждом хуторе, где мне пришлось побывать. Но особенно охотно говорили о прототипе Семена Давыдова, рабочем Путиловского завода Плоткине. При этом некоторые женщины уверяли меня, что это именно их матери «лупили граблями» Плоткина в первый год коллективизации, зато потом они очень хорошо к нему относились, и т. п. Наталья Георгиевна Самойлова, заведующая отделом культуры райисполкома, рассказала о том, что она училась в школе вместе с М.А. Шолоховым, а потом встретила его в 1925 году, когда он уже был известным писателем. «Я так смутилась, что не знала, что сказать, а Михаил Александрович мне говорит: «Что ты, Наташа, стоишь, как на молитве?» И засмеялся, мне тоже смешно стало, и все мое смущение прошло».

В течение первых двух недель я успела побывать (кроме нескольких полевых станов) в станице Еланской, в хуторах Антиповский, Моховской, Лебяжий, Гороховский (Гороховка), Пигаревка, Решетовка и др. Оставалось посетить хутор Кружилин Базковского района, где родился и провел свое детство М.А. Шолохов.

Кроме собственно вешенского говора мне удалось по определенной анкете записать несколько казачьих песен, сказок и легенд, которые были посвящены осмыслению названий местных населенных пунктов, рек, озер (кстати, в этом районе очень многие озера называются Ильмень).

Всюду, где мне пришлось бывать, очень плохо обстояло дело со снабжением: в магазинах не было самых необходимых продуктов. В этих условиях мне показалось, что все мои так называемые научные интересы мало чего стоят. Следовало что-то немедленно предпринять, бить тревогу. Но с чего начать? Вернувшись в Вешенскую, я посетила председателя райисполкома, который знал все не хуже меня. Он сказал, что создавшееся положение объясняется не только засухой, но и тем, что Вешенский район недавно передан в другую область, с новым руководством не очень гладко сложились отношения, что этим вопросом занимается Михаил Александрович Шолохов как депутат Верховного Совета СССР.

Так возникла мысль просить Михаила Александровича как депутата принять меня по всем этим вопросам. В результате 31 июля и 1 августа состоялись две встречи мои с замечательным русским писателем¹.

При описании этих встреч я вижу свою основную задачу в том, чтобы как можно полнее передать мысли, слова Шолохова (содержание разговоров было мною записано сразу

же). Поэтому я позволю себе, воспроизводя его прямую речь, приводить целые диалоги. Правда, в первой встрече основное место заняла импровизированная лекция М.А. Шолохова по очень сложным и трудным вопросам экономики не только района, но и всей страны.

26 июля, в понедельник, я позвонила Михаилу Александровичу по телефону и попросила, чтобы он, как депутат, принял меня. Приведу запись этого разговора полностью.

– Михаил Александрович, вас беспокоит преподаватель Ленинградского университета Привалова. Скажите, пожалуйста, когда вы будете в ближайшее время принимать как депутат Верховного Совета?

– А вы, товарищ Привалова, по какому вопросу сюда приехали?

– Я приехала для изучения местного диалекта.

– А, вот оно что...

– Михаил Александрович, может быть, это совсем не мое дело, но я две недели провела в районе и увидела некоторые факты, о которых мне хотелось бы рассказать вам.

– Как долго вы собираетесь пробыть здесь?

– До начала августа.

– Собираетесь еще выезжать в район?

– Да, мне осталось еще побывать в хуторе Кружилин, хотя это и не Вешенского района...

– А почему именно хутор Кружилин?

– Но... это ваша родина. Меня интересует язык «Поднятой целины», а для этого нужно самой послушать местный говор. Хотя вряд ли говоры Базковского и Вешенского районов сильно отличаются, но все-таки нужно самой посмотреть...

– Да, они почти не различаются. А когда вы здесь встаете?

– В шесть утра. Днем-то ведь нельзя работать.

– (Михаил Александрович смеется): Ну, ну! Это хорошо! Позвоните мне в пятницу или в субботу часов в 8–9 утра!

– Спасибо, позвоню. До свидания!

– Всего хорошего! (В голосе снова чувствуется улыбка.)

Признаюсь, меня местные товарищи предупреждали, что, если я вздумаю пойти к Михаилу Александровичу, он непременно спросит, когда встаете, и боже сохрани сказать ему, что вы долго спите. Он сам встает в 6 часов утра и терпеть не может сонливых! Правда, мне не пришлось говорить неправду, так как из-за страшной жары днем никакая работа была просто немыслима, потому мы действительно вставали ежедневно в шесть утра.

В следующие дни я успела побывать в Базках и в хуторе Кружилин. И там всюду было точно такое же тяжелое положение, как в других станицах и хуторах.

В субботу 31 июля, как было условлено, позвонила в начале девятого. Михаил Александрович ответил, что может принять в 8 часов вечера. Когда я была в районе и видела положение дел там, у меня даже мысли не было, что я буду волноваться, идя на прием к Михаилу Александровичу. Теперь было не то. Надо ли говорить, как я волновалась? Но идти было нужно. Самыми трудными были последние шаги от калитки до высокой открытой веранды, где сидел Михаил Александрович. Наконец-то я поднялась, Михаил Александрович пошел навстречу. Поздоровались, он спросил мое имя-отчество.

– Вы, Мария Ивановна, не писали мне когда-нибудь раньше?

Я ответила, что теперь не писала; может быть, Светлана (дочь

Михаила Александровича) упоминала мое имя, она занималась у меня в ЛГУ?

– Нет, нет, – ответил Михаил Александрович и сделал жест, как будто рассматривает что-то на ладони правой руки. – Нет, это что-то зрительное.

– Да, я писала вам, но это было очень давно, перед войной, когда мне не удалось получить назначение на работу в Вешенскую...

– Ну, я же говорю: «Вы мне писали, не отпирайтесь!»

Он рассмеялся, и стало удивительно легко. Эта поразительная способность – снять напряжение у собеседника – отмечалась и другими, кому приходилось разговаривать с Шолоховым.

– Да, так чем же я могу быть вам полезен?

– Нет, не мне, Михаил Александрович! Правда, я приехала сюда по работе, связанной с изучением вашего творчества, но говорить сейчас хочу совсем о другом. Две недели я пробыла в районе, в нескольких хуторах и полевых станах. Ведь там положение населения на грани голода!

– А вам, ленинградцам, это кажется диким?

– Ленинградцы помнят и знают, что такое голод! Но сейчас ведь не война, а в хуторах всюду в магазинах пусто. В Вешенской можно хоть в столовой купить хлеб, а ведь там нет столовых...

– Да, такое положение здесь не только сейчас... Рису здесь и раньше не бывало, он дается только для больниц и детских учреждений... Сахар... Основной поставщик сахара Украина, а там часть заводов не работает, свеклы не хватает. Вы же понимаете, что такое засуха? Народ давно это почувствовал, сушат сухари, делают запасы, а норму хлеба нам уже уменьшили. Что тут можно поделаться? Мы добивались снятия или хотя бы уменьшения хлебозаготовок, а вместо этого из области (ведь у нас нынче еще и область новая!) пришло указание – сдавать все по плану, и даже фуражное зерно, а оно принимается в половинном размере, т. е. 200 тонн засчитывается за 100!..

– (После паузы): А в каких хуторах вы побывали?

Я перечислила.

– Были и в Кружилине? Каково ваше впечатление?

– Тягостное! Ведь там осталось лишь воспоминание о богатейшем хуторе. Молодежи почти нет, сады почти все уничтожены...

– Да, это был когда-то богатейший хутор. Теперь не то. Впрочем, ведь это общероссийское явление. Народ уходит из деревни... А положение в стране очень-очень трудное и сложное. Вы сами видели, что в колхозах почти нет молодежи. Вот ведь, очень нужное, великое дело – всеобщее образование, а молодежь, окончив школу, не хочет работать в колхозе, или, как они говорят, «быкам хвосты крутить!». Молодежь уходит из колхозов потому, что жить здесь трудно, и не только материально... Посмотрите, на донской земле столько было прекрасных садов, а теперь их почти не осталось. Ведь это не только экономический вопрос. Сады создавали неподражаемую красоту земли, такую землю больше любили... Но прежняя налоговая политика, необдуманная в своей основе, привела к гибели садов. Налоги начислялись на хозяйство до тысячи рублей, а урожаи в самый благоприятный год давали доходу на 200–250 рублей. Вот в результате теперь в колхозах и остаются только старики да пожилые. Впрочем, недостаток рабочих рук касается ведь не только колхозов. Несколько лет тому назад создалось такое же положение и в промышленности. Но в городах нашли выход – ремесленные училища. Если бы они не были созданы, промышленность осталась бы без кадров. Но ремесленные училища говорят кадры только для промышленности и строительства, а где же кадры для сельского хозяйства? Да ведь это и не только здесь, на Дону... Да, положение это общероссийское! (Пауза. Михаил Александрович как-то горестно покачал головой.)

– Да, да, конечно, механизация земледелия могла быть проведена только в условиях крупных коллективных хозяйств. Но ведь она далеко не во всех видах работ спасает положение. Механизация – пока дело лишь одностороннее: вспахать и посеять машинами нетрудно. А ведь скирдовать-то надо вручную. Но именно этого теперь и не умеют делать... Заскирдуют так, что либо зимой все занесет снегом, либо дождями прольет скирды и хлеб сгниет...

Вот так обстоят дела... Поднять экономику сейчас дело чрезвычайно важное и столь же чрезвычайно трудное. Сейчас разработка залежных, целинных земель – великое дело, но этого, бесспорно, мало. По-видимому, выход может быть найден все-таки в превращении колхозов в государственные предприятия с наемной рабочей силой, с непрерывной подготовкой кадров для сельского хозяйства по типу ремесленных училищ. Иначе очень, очень трудно решить эти мучительно трудные вопросы...

Наступила тяжелая пауза, после которой я спросила:

– Михаил Александрович, значит, нелегко вам заканчивать вторую книгу «Поднятой целины»?

– Ну, почему нелегко? Я закончу. Ведь рамки романа у меня ограничены тем же тридцатым годом. (С улыбкой): Это новая, своеобразная форма романа: все содержание ограничено одним годом. Будут еще одна-две смерти и никаких свадеб... А вообще-то дальше о колхозах писать почти невозможно...

– Вы полагаете, Михаил Александрович, что, может быть... так много было ошибок при проведении коллективизации?

– (После паузы): А что такое ошибка? Ошибка – это отклонение, непреднамеренное отклонение от правильного, прочно установленного, а кто же знал, где это правильное, как надо правильно? Понятно и ясно было только одно: старая деревня на всей огромной территории нашей страны, та старая деревня, которую с таким лирическим надрывом оплакивал Сергей Есенин, – она не могла не только дальше развиваться, она просто не могла существовать в своих старых формах... И дело не только в том, что она продолжала бы порождать злейшие капиталистические элементы – кулачество, она не могла развиваться в крупные, мощные хозяйства, которые только и могли бы приобретать и применять машины для обработки земли. Та старая деревня неизбежно стала бы трагическим тормозом в развитии всей экономики нашей страны.

Михаил Александрович замолчал. Пауза длилась, как мне показалось, довольно долго. Что-то горькое и даже тревожное отразилось на его подвижном лице. После паузы он снова заговорил, словно сам с собою, забыв о собеседнике.

– Я сказал, что это положение общерусское, даже общесоюзное, но ведь в какой-то мере существует некоторая общая тенденция, если хотите, и общеевропейская... Да, да! Общая для всех развитых стран. Вы посмотрите, как чудовищно растут города во всем мире. А за счет чего идет этот рост? Главным образом за счет переселения в города сельского населения. Там это за счет разорения мелких фермеров. А разве не ясно, почему разоряются мелкие фермеры там? Их вытесняют крупные капиталистические латифундии и прочие капиталистические хозяйства с наемной рабочей силой, оснащенные машинами... Иначе говоря, идет мировой процесс, как бы это сказать, подтягивания сельского производства по методам его ведения к промышленности! Мы, разумеется, не могли допустить такого стихийного роста крупных кулацких хозяйств, а иного способа не было: либо кооперация, либо рост кулацких хозяйств, которые смогли бы приобретать и применять машины для обработки земли. (Наступила снова пауза. Казалось, Михаил Александрович окидывает внутренним взором просторы нашей необъятной Родины, может быть, и мира.)

– Да ведь следует еще вспомнить, что отлив населения из села начался еще до коллективизации. Индустриализация страны требовала огромного количества рабочих рук. Откуда же пополнялся рабочий класс? Не только из состава населения самих городов, но главным образом за счет вербовки жителей сельской местности... Так что без коллективизации сельского хозяйства, как и без индустриализации, без крупной промышленности, мы не смогли бы выстоять и победить в минувшей, чудовищной войне! Мы не смеем этого забывать! Да, этого мы не смеем забывать ни на одну минуту!

Все это говорил Михаил Александрович чрезвычайно серьезно, с глубочайшим пониманием общегосударственных задач.

Наш разговор продолжался уже около часа, вероятно, мне уже следовало бы поблагодарить и откланяться, но я, плохо ориентируясь вообще во времени, здесь, видимо, поддавшись обаянию шолоховского голоса, самой манере говорить, и после небольшой паузы задала вопрос:

– Когда вы собираетесь закончить «Поднятую целину»?

– Надеюсь, закончу к концу года!

– А вы знаете, Михаил Александрович, что делается в Ленинграде, когда поступает номер «Огонька» с главами «Поднятой целины»?

– Да, да! Ваши ленинградские студенты прислали мне письмо, да так раскритиковали, только держись!

– Что же они там нашли такое?

– Да вот, считают, что сцена смерти матери Островнова – не жизненная, что это надуманно, и даже обвинили в цинизме!

– А это где же они обнаружили?

– А в сцене, когда Варя прячет тельняшку Давыдова за лифчик...

– Вот желторотые глупцы!

– Да я и воспринял это как курьез... Все-таки, Мария Ивановна, чем же я мог бы быть полезен в вашей-то непосредственной работе?

Я назвала свою тему: «Язык «Поднятой целины».

– Это что же, для защиты диссертации и получения какой-нибудь степени?

– Нет, диссертацию я уже защитила и степень мне не нужна... Мне хотелось бы написать работу о языке ваших произведений. Меня интересует вопрос о соотношении в общем составе произведений элементов индивидуально-авторского, общелитературного языка и диалекта. Лингвисты пока об этом не очень много сказали, а кое-что здесь и вовсе остается «белым пятном». Есть тут один очень трудный вопрос – вопрос о признаках и свойствах слова и самого языка, которые условно можно было бы назвать «эстетическими признаками». В самом деле, разве просто ответить на вопрос, что именно превращает обычное сочетание слов, нехудожественный текст, в художественный? Вот слова: земля, нитка, песенка, жаворонок, держать. В этих словах нет никаких особых свойств, которые содержали бы нечто прекрасное. Но вот, давая описание весны, поэт соединил слова: «И Землю жаворонок держит на нитке песенки своей». И в результате возникшего образа все высказывание в целом и каждое слово отдельно получили дополнительные эстетические признаки. Или вспомним у вас, в «Тихом Доне»: «...и далекая маячила на горизонте прядка леса, голубая, задумчивая и недоступная, как вечерняя неяркая звезда...» Я не говорю об остальном: эпические картины жизни, образы и характеры героев, трагическое и комическое в произведениях, но ведь все это в литературном произведении создается только и исключительно средствами языка! Вот какие вопросы мучают меня, Михаил Александрович!

– А знаете, пожалуй, это интересно, да, это действительно интересно! А здесь при записи народного говора удалось найти что-нибудь полезное?

– Пока трудно сказать, но теперь я точно знаю, что у специалистов-диалектологов даже методики не выработано, каким образом выяснять в диалекте именно эти оттенки, окраску слова. Вот один пример. Моя хозяйка (она говорит на отличном диалекте) сказала о своей свекрови: «Не знаю, где она, увялась куда-то!» «Увялась» – отличное слово, невольно вспоминается: «И ветер, вея с высоты...», и значение здесь ясно – ушла. Я спрашиваю: почему вы сказали «увялась», а не «ушла» или «убежала»? Она мне поясняет: «Ну, ушла – так это просто ушла, ушла куда-нибудь, а убежала – так то скоро, бойко ушла, а увялась – так то черти-ти куда унеслась!»

Михаил Александрович говорит, смеясь:

– Да, слово «увеелась» действительно отличное слово!

Я спросила, все ли исправления в тексте «Поднятой целины» принадлежат ему самому?

– Да, конечно, за исключением чисто технических опечаток.

– Ой, и задали вы работу лингвистам!

– Ну вот, я исправлял походя, а лингвистам работа! Это Лежнев любит все подсчитывать, старается точно установить, где сколько внесено исправлений!

Теперь, когда речь зашла о литературе, тон разговора значительно изменился. Михаил Александрович часто говорил шутливо, а обращаясь ко мне, как бы поддразнивал. Спросил, как я отнеслась, как оцениваю статью М. Лифшица о «Дневнике» Мариэтты Шагинян в «Новом мире»?² Я ответила, что сейчас просто не знаю, что делается в мире, я даже газет не читаю, в том числе и «Литературной газеты»...

– Ну, немного потеряли! «Литературка» сейчас совсем скучная, даже чеховский номер был скучным... А статья Лифшица была написана уж очень в развязном тоне, хотя многое там было и верным... Но стариков следует все-таки щадить... С М. Шагинян я знаком лишь шапочно, а тут вдруг получаю от нее книгу с автографом. С чего бы, думаю? А с книгой письмо и просьба, чтобы я отмежевался от статьи Лифшица... (После паузы.) Вспомнил о Дементьеве, что он теперь будет вместо Твардовского в «Новом мире»...

Я удивилась, спросила, разве Твардовский снят? (Ведь статья «Об ошибках журнала «Новый мир» была опубликована в «Литературной газете» позднее, 17 августа 1954 года.)

– Да, там сейчас идет большая перетасовка... Меня из «Нового мира» перевели в «Октябрь», но я сказал им, что в «Новом мире» ничего не делал и в «Октябре» буду делать ровно столько же...

Затем Михаил Александрович спросил меня, где и как я устроилась, одна здесь или с кем-нибудь?

– Со мною моя дальняя родственница, нечто вроде помощницы...

– Да признайтесь честно, просто нянька, смотрит, чтобы в Дону не утонула! А где вы харчитесь-то?

– В столовой. Там и хлеб берем на ужин и завтрак.

– Ну, что же это вы? Есть помощница, можно и дома что-нибудь приготовить. Вот здесь отдыхает ваш ленинградец (он назвал фамилию). Он приезжал сюда в прошлом году, выцыганил у меня кусок из «Они сражались за Родину». Я отыскал в старье небольшую часть, так как сейчас не работаю над этим романом. Он просил это для «Ленинградского альманаха», который влачит жалкое существование. Этому товарищу так понравилось здесь, что он приехал отдыхать теперь вместе с семьей. Так вот, они хлеб берут тоже в столовой, а обед готовят дома...

– Этим делом скучно заниматься, и дома надоело...

– Да, верно, посуду мыть надо (смеется). Приехали вы сюда в нехорошее время... И засуха, да и арбузы сейчас только-только начнут появляться. А как давно вы здесь и когда собираетесь обратно?

– Здесь я уже три недели, а командировка у меня до 5 августа.

– Да, вы изволили явиться ко мне в самом конце. Жаль! Можно бы и пораньше, я указал бы вам, куда следует поехать, с кем поговорить...

– Впрочем, отпуск-то у меня до конца августа...

– Так куда же вам спешить? Поживите здесь еще... Э, да как же так? Быть на Дону и не попробовать стерляди! Приходите-ка к нам обедать! Извините, я на минуту оставлю вас!

Михаил Александрович быстро вышел и вернулся с Марией Петровной. У нее удивительно милое, приветливое лицо. Она, улыбаясь, подошла.

– Вот, Петровна, знакомьтесь: тоже Марья, только Ивановна! Когда мы можем пригласить Марию Ивановну на обед?

– Да хоть завтра! – с той же приветливой улыбкой ответила Мария Петровна.

Михаил Александрович:

– Отлично, как раз завтра выходной день!

Мария Петровна:

– Ну, для вас это очень важно, что тебе, что Марии Ивановне!

Михаил Александрович (смеясь):

– Ты права. Мария Ивановна, по-моему, больше на Дону загорает, хотя и хвастает, что объехала все полевые станы!

– А я не говорила, что все!

– А я писатель, имею право на преувеличение!

– Да, теперь это разрешается...

– А раньше?

– Раньше, раньше... это по-разному. Некоторые и раньше не очень считались с «разрешениями»...

Михаил Александрович смеется, затем, кажется, совсем неожиданно, становится очень серьезным. Это удивительная особенность – резкая смена тона и выражения лица. При этом он как-то сразу же подчиняет себе, своему тону, и собеседника (во всяком случае, так было со мною).

Мария Петровна вышла по своим делам. Михаил Александрович говорит, словно бы забыв вообще о собеседнике:

– Да, всякое бывало... А у вас в семье все было нормально?

Почему он вдруг задал такой вопрос мне? Я коротко рассказала, что отец был сельским учителем, но, кроме того, еще и активным кооператором: в 1918 году был членом первого Уисполкома, был на 1-м Всероссийском съезде кооператоров, а в 1919 году был послан гостем от крестьян нашей губернии на 1-й Учредительный конгресс Коминтерна...

– А где муж ваш?

– Убит на Карельском перешейке в августе 1941 года.

– Значит, вдовствуете...

Некоторое время говорили о Светлане: она вместе с мужем-офицером едет на Камчатку, а сына Мишутку не хотят оставить здесь, тоже забирают с собою... Повторив приглашение на обед, Михаил Александрович с шутливой строгостью сказал:

– Мы обедаем ровно в два часа, прошу покорно не опаздывать!

Так закончилась эта первая встреча, которая продолжалась более двух часов.

На следующий день, 1 августа, я пришла в точно назначенное время. Меня встретила Мария Петровна, которая вышла из кабинета Михаила Александровича.

Несколько слов об обстановке дома. Дверь с веранды ведет прямо в большую столовую: посередине большой овальный стол, буфет с зеркалом, мягкие стулья, покрытые белыми чехлами, очень много цветов. Направо дверь в большой зал; там диван, кресла в чехлах, тоже много цветов; из зала налево дверь в кабинет, в углу рояль.

Мария Петровна была так же приветлива, сказала, что все утро исполняла секретарские обязанности: очень много собралось писем.

Из кабинета вышел Михаил Александрович, поздоровался:

– Вот люблю точность! Это по-ленинградски!

В руках он держал папиросу. Накануне мы на веранде курили вместе. Он еще сказал, что мне курить не идет. И теперь:

– Я вам курить не предлагаю, так как сейчас будем обедать, а вам курить вредно!

Мария Петровна:

– Конечно, другим курить вредно, а ему – нет!

Она пошла хлопотать с обедом, мы остались в зале вдвоем.

– И зачем это вы так загорели, скажите-ка на милость? Вы же не темнокожая, а светлая!

– А я вовсе не загорела, а сгорела, когда в открытой машине ездили по району. Ведь солнце-то нещадно палило.

– Рассказывайте, рассказывайте! Это же нарочитый загар, на берегу Дона получен, аж фиолетовая стала!

Я рассмеялась, спорить было все равно бесполезно.

– А на вас, Михаил Александрович, уже поступила жалоба, что вы «эксплуатируете» Марию Петровну. (Мария Петровна в столовой, дверь открыта.)

– А, уже жалуется! Но ведь, знаете, это все-таки удобнее. Я, по крайней мере, с чистой совестью покупаю своей секретарше чулки с черной пяткой. Петровна! А что, или я еще не купил? (Мария Петровна смеется.) Да ведь в нашем возрасте брать секретаря – опасно, а секретаршу – еще опаснее!

Мария Петровна: – Слышите, а секретаршу – еще опаснее! Вот мы какие! (Смеется.)

Мы перешли все в столовую. Мария Петровна показала мое место за столом, стулья стояли у стены.

Мария Петровна, обращаясь к мужу:

– Миша, подвинь стул для Марии Ивановны!

– Ничего, Мария Ивановна – здоровая женщина, сама может подвинуть стул! (В голосе слышны озорные нотки, Мария Петровна качает головой): Ну что тут поделаешь? Такой невоспитанный человек!

Когда сели за стол, Мария Петровна спросила меня, как мне здесь нравится?

– Да, здесь очень интересно и было бы совсем хорошо, если бы не было так жарко, да еще слишком темные ночи!

Михаил Александрович:

– Да чем вам ночи-то не угодили? Ночи и должны быть темными!

– Нет, если тепло, а тем более если жарко, то ночи должны быть светлые, или они вообще не нужны летом!

– Видали ленинградцев, – смеется Михаил Александрович. – Какие агрессоры! Приехали, так подай им и их собственные белесые ночи! Это ведь у вас там ненормальные ночи, как там только и спят люди!

Еще накануне я сказала, что не видела целый месяц «Литературной газеты». Михаил Александрович, обращаясь ко мне за столом, сказал:

– Я сегодня получил «Литературу», могу вам презентовать, чтобы вы не отставали от жизни...

За столом речь снова зашла о засухе. Дон так обмелел, что стало почти невозможно пользоваться пароходным путем. Мария Петровна пошутила, что теперь и «Михаил Шолохов» (пароход его имени) не может помочь!

Михаил Александрович заметил с досадой:

– Не люблю, когда ставят памятники при жизни не только другим, но и себе! А кроме парохода, имеется уже и колхоз, и школа имени Шолохова. Теперь жду, что вот-вот назовут какую-нибудь пивную моим именем!

После обеда в столовую вошел Миша, сын Светланы Михайловны. Он остановился и смущенно смотрел на меня исподлобья.

– Ты, Миша, что? – спросила Мария Петровна.

Михаил Александрович:

– А ему хочется познакомиться с тетей. Ведь она учила твою маму, Мишка, и каждый день ее порола!

Малыш быстро подошел ко мне, протянул руку:

– А вот и нет! Тетя не порола мою маму, правда?

– Верно, Миша! Это дедушка пошутил. Твоя мама так хорошо училась, что ей даже замечаний никаких не нужно было делать!

При разговоре с внуком лицо Михаила Александровича совершенно преобразилось, оно засветилось каким-то особенным счастливым светом.

Во время чая опять вспомнила о сроке окончания «Поднятой целины». Михаил Александрович сказал:

– В Союзе писателей настаивают, чтобы я закончил роман непременно к писательскому съезду, а зачем и кому нужна лишняя шумиха? Удивительно, как некоторые любят пошуметь! Я ответил, что к концу года сделаю, а к съезду вовсе не обязательно!

Теперь я осмелилась спросить, не связано ли последовательное устранение значительного количества диалектизмов в романе с теми изменениями, которые произошли в самих народных говорах? Почти во всех хуторах, где мне пришлось записывать диалект, я заметила, что многие слова уже не употребляются, хотя еще известны казакам. Мне обычно отвечали: «Так говорят только старики, да и то когда вспоминают про старину».

– Да, это верно, – заметил Михаил Александрович. – Вот, например, слово майдан (площадь, у казаков – место сходки) теперь не употребляют даже и старики. Ушло понятие, исчезло и слово.

Моя правка велась по линии приближения языка романа к общенациональной норме. А во второй книге герои мои вообще будут изъясняться на литературном языке!

– А в Антиповке местные жители полог называют павильоном. Откуда это французское слово попало сюда, к донским казакам? – спросила я.

– Да, скорее всего, прямо из Парижа! – улыбаясь, сказал Михаил Александрович. – Ведь после войны 1812 года казаки были во Франции, в том числе и в Париже, вот и привезли оттуда это слово. Впрочем, казачество формировалось очень сложно, а отсюда и пестрота народного говора. Например, слово жалмерка – от искаженного польского жолнер – солдат; значит, солдатка. Теперь оно совсем вышло из употребления, но и общерусское «солдатка» тоже не прижилось. А сколько здесь турецких слов: чирики, арба и др. Все они заимствованы из турецкого или татарского.

– Михаил Александрович, а судя по тому, как много здесь озер имеют название Ильмень, я думаю, сюда на Дон в свое время немало переселилось жителей из моей родной Новгородчины!

– Удивительно, как же это я сразу не догадался, что вы – из потомков Марфы Посадницы! (Смеется.) Да, сюда на Дон особенно много бежали от крепостной неволи из западных губерний Европейской России, в том числе и из Новгородской, но, видно, очень любили они свою землю и озеро Ильмень, потому и принесли сюда это название.

После чая Михаил Александрович извинился, что по-стариковски привык после обеда отдыхать, мы простились... На этом закончилась моя вторая встреча с замечательным русским писателем. Тогда же я записала в своем дневнике: «Хочется поблагодарить судьбу за счастье, которое она послала мне, – видеть и говорить серьезно и шутливо с великим сыном русского народа!»

К концу командировки, но еще там, в Вешенской, у меня окончательно созрел план создания сборника в честь пятидесятилетия М.А. Шолохова. Я знала, что декан нашего факультета профессор Б.А. Ларин очень любит произведения Михаила Александровича,

на кафедре советской литературы имеется хорошая работа Ф.А. Абрамова о «Поднятой целине», закончено интересное исследование

А.А. Горелова о народном поэтическом творчестве и «Тихом Доне». Можно было надеяться, что сотрудники филфака – слависты и западники, а также специалисты с восточного факультета дадут краткую информацию о переводах романов Шолохова на иностранные языки. Одним словом, встречи с М.А. Шолоховым окрылили меня; очень хотелось хорошо отметить его юбилей, создать достойный сборник работ в его честь.

Но я плохо представляла себе, какие трудности ожидают меня с этим сборником! В самом начале сентября 1954 года я столкнулась с первым «прохладным» отношением к своей идее, и не кого-нибудь, а заведующего кафедрой советской литературы... После же статьи В. Ажаева в «Литературной газете» от 11 ноября 1954 года, в которой он бестактно задел М.А. Шолохова, часть сотрудников кафедры советской литературы и все сотрудники кафедры западных литератур отказались принять участие в юбилейном сборнике. Но это не помешало выполнить намеченную работу: усилия декана факультета Б.А. Ларина, поддержка партбюро факультета и издательства ЛГУ обеспечили выход сборника (правда, только в августе 1956 года).

Как дорогую память тех лет храню я добрые слова М.А. Шолохова, высказанные им в коротеньком письме на имя декана факультета Б.А. Ларина и в двух телеграммах, присланных мне в ответ на посылку ему сборников со статьями о его творчестве.

26 сентября 1954 года в ответ на посылку очередного тома наших «Ученых записок» со статьей Ф.А. Абрамова о «Поднятой целине» Михаил Александрович телеграфировал: «Тронут вниманием, сердечно благодарю и кланяюсь. *Шолохов*».

В марте 1955 года Б.А. Ларин направил запрос писателю, можно ли в нашем сборнике опубликовать материалы, представленные

В.В. Гурой. Б.А. Ларин просил также Михаила Александровича прислать портрет. В ответ мы получили письмо от 12 марта:

«Многоуважаемый т. Ларин! Не знаю, есть ли смысл печатать письма к Н. Островскому, сколь они не имеют общественного интереса. В этом случае полагаюсь на Ваше усмотрение.

Предисловие к английскому переизданию «Тих. Дона» можно напечатать.

С приветом *М. Шолохов*. 12/3-55.

Вешенская.

P.S. Портрет печатать не надо.

М. Ш.».

Вторая телеграмма, от 27 августа 1956 года, была ответом на посланный мною сборник «Михаил Шолохов», выпущенный издательством ЛГУ: «Благодарю за присланный сборник и теплые слова. Сердечным приветом. *Шолохов*».

Петр Гавриленко¹ Дарьинские записи

«Дарьинцам с благодарностью за приют и гостеприимство, оказанные мне и моей семье в годы Отечественной войны. *М. Шолохов*».

Эти простые слова написаны на книге «Тихого Дона», которую автор осенью 1978 года передал через меня для мемориальной комнаты поселка Дарьинского. Они вдруг всколыхнули в моей памяти события тридцатипятилетней давности. Тогда, в 1942 году, спасаясь от дикого нашествия гитлеровских орд, в Западный Казахстан прибыло много людей из европейской части страны, в их числе была и семья писателя Михаила Шолохова, приехавшая с родного Дона в Приуральный район, где я тогда работал агрономом.

Сам полковник М.А. Шолохов – военный корреспондент «Правды» и «Красной звезды» навещал семью в Дарышке. Здесь им написаны некоторые главы книги о войне. Мне приходилось там встречаться с писателем, и по свежей памяти я записывал свои впечатления от этих незабываемых встреч.

Они начинаются с первых дней августа 1942 года, когда семья Шолохова и его родственники после непродолжительного пребывания в Камышине и в Николаевке-на-Волге переехали в Уральск, а туда – в Дарышк. Более года прожили они там. И покинув Приуралье поздней осенью 1943 года, по пути на Дон снова остановились на некоторое время в Камышине.

...На улицах небольшого поселка Дарышка в годы Великой Отечественной войны обычно бывало тихо и малоллюдно. Но в один из августовских дней грозного 1942 года там наблюдалось необычное оживление. Особого повода для этого как будто и не было – просто пришли машины с эвакуированными из-за Волги, с людьми, спасающимися от фашистского нашествия. Это были не первые гости, которые нашли себе приют в Приуральном районе. Дарьинцы уже привыкли к ним и приезду их не удивлялись.

Однако на сей раз жители поселка – преимущественно женщины, пожилые и вездесущие подростки – собирались группами на главной улице Дарышка, у здания райкома партии, где остановились машины.

– Писатель Михаил Шолохов с семьей приехал, – быстро разнеслась по поселку весть.

Я о ней узнал от жены уже поздно вечером, вернувшись с полей, где шла трудная уборка урожая.

Несколькими днями раньше на пороге кабинета первого секретаря райкома партии я встретился с невысоким, стройным светло-русый мужчиной в форме командира Красной Армии, с четырьмя «шпалами» в петлицах. Лицо его – высокий выпуклый лоб, большие серовато-голубые глаза – показалось мне знакомым. Я где-то видел этого человека, но где?

– Кто это? – спросил у сотрудников райкома.

– Михаил Шолохов.

– Эх, и не везет же мне! Надо было прийти на пять минут раньше...

– Не огорчайтесь, еще встретитесь с Михаилом Александровичем, семья Шолоховых будет жить у нас, в Дарышке.

Действительно, вскоре я снова встретился с автором «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Об этом важном для меня событии говорит короткая запись в дневнике:

Середина августа 1945 года. Сидим в райкоме партии, говорим об уборке урожая – секретарь Западно-Казахстанского обкома партии Лосев, секретарь райкома Козырев и я. В это время в кабинет легкой, пружинистой походкой входит Шолохов.

– Вы снова в этом районе? – спрашивает он Лосева.

– Да. У них с уборкой урожая туговато.

Писатель подает руку Лосеву, Козыреву, а потом и мне. Он спрашивает о последних новостях с фронта – что передавало радио?

Мне и уходить не хочется, и сидеть дольше неловко – быть может, мешаю? Выхожу в приемную. Дверь кабинета остается полуоткрытой, так что разговор можно разобрать.

– Вместе с Черчиллем приезжали какие-то военные, – рассказывает Лосев, – фамилий не могу назвать, чинов тоже...

– Начальник императорского генерального штаба, – подсказываю я, снова появляясь в кабинете.

Шолохов быстро оборачивается, внимательно рассматривает меня.

* * *

О Шолохове я услышал впервые полвека назад. Редакция «Крестьянской газеты», селькором которой я был, вернула мне для доработки присланный ей рассказ.

«Старайтесь писать коротко, ясно, без длинных рассуждений и скучных поучений. Прочтите недавно опубликованные рассказы Михаила Шолохова», – наставлял меня рецензент редакции, если память не изменяет, Василий Кудашев.

Следуя доброму совету, я с глубоким вниманием прочитал два рассказа Шолохова – «Родинку» и «Жеребенка», которые мне удалось найти в сельской хате-читальне. Сильное впечатление произвел на меня язык незнакомого писателя: ясный, выразительный, смелый.

– Вероятно, опытный, бывалый... А словом как владеет! – восхищался я, мысленно представляя себе Шолохова высоким мужчиной с длинными усами и густой шевелюрой – вроде Максима Горького. – Вот бы увидеться, поговорить! – В душу закралось страстное желание поехать в далекую, неведомую Вешенскую. Но осуществить его не удалось, а тут вышла в свет первая книжка «Тихого Дона», принесшая писателю широкую известность и славу.

«Ну, – думаю, – теперь к Шолохову ехать нечего, у него и без меня гостей хватает».

Прошли годы, появились еще три книги «Тихого Дона», родилась изумительная «Поднятая целина». Шолохов стал мировой знаменитостью. Я был искренним почитателем его таланта, но о встрече с ним уже не мечтал – куда мне...

Кто-то сказал, что жизнь человеческая состоит из встреч и расставаний. Не берусь разбирать это несколько туманное изречение, но, мне кажется, доля правды в нем есть: бывают совершенно неожиданные встречи с ранее неизвестными людьми, и некоторые из них могут оказать огромное влияние на всю последующую жизнь.

И вот нечто подобное происходит и в моей жизни, полузабытая мечта вновь воскресает, как будто становится явью: мог ли я думать, что где-то в степях далекого Казахстана, за тысячи километров от Дона в какое-то время по изумительному изгибу судьбы пересекутся жизненные пути знаменитого писателя и скромного агронома с Полтавщины?

Встретиться с Шолоховым, как читатель уже знает, мне удалось. Едва ли надо говорить, как я был рад этому. Но мне хотелось большего: ближе познакомиться с писателем, по душам поговорить с ним. Однако удобного, по моему мнению, случая для этого не представлялось. Правда, однажды как будто появилась такая возможность: сотрудник райкома партии Ильичев приходил в райисполком, спрашивал, не может ли кто из сотрудников занять два литра керосина семье писателя.

– У кого есть – принесите. Познакомитесь с Шолоховым, поговорите с ним, он очень простой человек.

Я мог это сделать, но постеснялся, в чем после долго раскаивался, упрекая себя в нерешительности и ломая голову, как же все-таки познакомиться с Михаилом Александровичем по-настоящему?

Прошло несколько месяцев. В один из приездов Шолохова с фронта к нам зашла дочь писателя Светлана, которая вместе с моей дочерью Ольгой училась в десятом классе Дарышской школы. Она рассказала, что Михаил Александрович на несколько дней задержится здесь, будет работать над материалами для «Правды». Если удастся, то он поедет по окрестным степям, в которых, по слухам, развелось много волков, перекочевавших из беспокойной прифронтальной полосы поближе к пойме Урала.

– Да, волков много, – подтвердил я. – Не так давно они зарезали 84 барана в колхозе «День Урожая» и загрызли трех телок у жителей Дарьинска.

Добавил, что кроме волков в степях можно встретить дроф и стрепетов. Попросил Светлану передать отцу, что я с удовольствием согласился бы сопровождать его в этой поездке.

Через два дня пришел ответ: «Отец согласен вместе с вами поехать в степь». Едва ли надо говорить, как он обрадовал меня.

Накануне назначенного дня я поехал в степь осмотреть озимые посева колхозов и заодно заглянуть в те места, где недавно приходилось встречать волков и дроф. Боялся, как бы не оскандалиться: поедем – и ни волков, ни дроф не найдем. Надо проверить.

Разведка вышла не больно утешительной. В отдалении заметил двух волков, которые сразу же скрылись в зарослях полыни, да видел только одного крупного дрофача. Уже почти вечером на озимых появились еще три птицы.

Возвратившись в поселок, позвонил писателю. Хочу уточнить время выезда. Ответил женский голос:

– Шолохов не здоров.

– А завтра он собирается ехать в степь?

– Это будет видно завтра, в зависимости от состояния здоровья.

Мелькнула тревожная мысль: «А может, Шолохов просто не хочет ехать со мной?» Близкое знакомство, возможно, не состоится и завтра... Досадно.

С такими грустными размышлениями ложился спать и с ними же проснулся поутру. А тут сынишка писателя принес записку: «Через час собираюсь ехать в степь. Жду».

В назначенное время иду к Шолохову. У крыльца встречаюсь с Михаилом Александровичем.

– А, товарищ Гавриленко! Заходите. Ко мне гости пришли – музыканты из Уральска. Придется немного задержаться. Послушаем их. А тем временем и машина из Дьякова вернется, послал в сельпо, надо гостей-музыкантов угостить.

В небольшой комнате многолюдно: Михаил Александрович, его супруга – Мария Петровна, дочери писателя Светлана и Маша, сыновья Саша и Миша, сестры Марии Петровны Полина и Анна, муж Полины Петровны П.И. Зайцев – секретарь Шолохова, дети. За столом – два музыканта: плотный пожилой мужчина со скрипкой, в котором я узнаю уральского часовщика Солодовникова, и, рядом с ним, высокий русский парень с баяном, инвалид войны. Тут же и сотрудник райкома Ильичев, который и привел к писателю гостей. Уж больно они хотели увидеть Шолохова, говорит.

Гости, видимо уже подвыпившие, оживлены. Особенно взбудоражен старик скрипач.

– Господи, привелось увидеть Шолохова!

Восхищается, заводит речь о «Тихом Доне», о «Поднятой целине», о деде «Штукаре», как он выговаривает.

– Эх! Кабы моя Машенька увидела Шолохова, – непрерывно вздыхает Солодовников. – Вот, свет Машенька, скажу ей, перед тобой нос к носу сам Михаил Александрович, гляди на донского казака!

А Машенька, жена скрипача, находится всего в сотне шагов от квартиры писателя, в доме Ильичева. Старик посылает за ней. Шолохов улыбается: видимо, развязность подвыпившего казака не тяготит его.

Появляется Машенька, моложавая, краснощекая, осанистая казачка.

– Познакомься, Машенька! Это знаешь кто? Это – сам Шолохов. Деда «Штукаря» знаешь?

Так повторяется несколько раз. Машенька конфузится: «Да ну тебя!»

В разговор вступает баянист, доселе молчавший.

– Шолохов – это мой самый любимый писатель. Шолохов, Толстой, Пушкин, Зощенко – самые настоящие...

– Ну уж действительно, ставить Толстого, Пушкина и Шолохова в один ряд с Зощенко, – возразил я.

– Зощенко им не ровня, – живо откликнулся скрипач.

– Вот правильно сказал старик, – поддержал кто-то.

– Да какой же он старик? Вам сколько лет? – спросил Шолохов.

– Пятьдесят шесть.

– Ну, это совсем немного.

Музыканты исполняют несколько довольно нескладных номеров. Особенно фальшивит скрипач, но баянист, повышая громкость, старается прикрыть ошибки товарища. Выпив рюмку, Солодовников за каждой приговаривает: «Христос воскрес!» Еще раза три он заводит:

– Машенька! Да знаешь ли ты, у кого находишься? Ведь это сам Михаил Александрович!

Наконец, музыканты неохотно поднимаются из-за стола, долго прощаются с хозяином и уходят. Добрый час времени потерян, но писателя это, по-видимому, не огорчает: он гостеприимный человек. Да к тому же ему было интересно поближе присмотреться к уральским казакам.

В степь едет и Мария Петровна. Она постоянный спутник мужа в поездках «на природу». По словам Светланы, ее мать – заправская рыбачка, пожалуй, поискуснее отца. По крайней мере, на Дону она на удочку сазанов ловила больше. Михаил Александрович взял с собой дробовое ружье и винтовку, прихватил и я свою старенькую, с облупленным прикладом двустволку.

По дороге оживленно говорим о жизни на Дону и здесь. Меня тайно гложет мысль: а вдруг не найдем ни волков, ни дроф? Повезло: не успели приехать в самые привольные места, как зоркие глаза Марии Петровны заметили в бурьянах желанных птиц. Насчитали восемь дроф.

Шолохов стреляет из винтовки. Мимо. Пуля с пронзительным визгом ушла куда-то вдале. Неловкое молчание нарушает шофер Василий Попов.

– И как это, Михаил Александрович, так промазать... Досадно? – с чуть приметной усмешкой спрашивает он.

– Немного досадно, – спокойно отвечает охотник.

По пути попался еще один дудак. Шолохов снова стреляет из винтовки, опять неудачно. «В чем дело?» – сочувственно недоумеваем мы с Марией Петровной. То ли ветер качает машину, на борт которой, прицеливаясь, охотник кладет ствол, то ли мушка сбита?

– Вернее всего – виноват я сам, больно горячусь, давно уже не охотился на дудаков, – без видимого огорчения признается писатель.

Потом Михаил Александрович из дробовика убил двух птиц. Мне по дрофам стрелять не пришлось, что меня особенно и не огорчало, ведь главное – не охота, а сама поездка с Шолоховым.

Волков видели, но стрелять по ним не пришлось – далеко. Умные звери сразу же скрылись в обширных зарослях полыни.

Дома Михаил Александрович предложил мне одного дудака.

– Возьмите. Вы, вероятно, тоже в него попали.

Я, конечно, в этого дудака попасть не мог, потому что и не стрелял в него. Отказываюсь брать.

– Ну, тогда хоть половину возьмите. Неудобно же возвращаться домой с пустыми руками.

– Это другое дело. Спасибо.

Хочется воспользоваться приглашением писателя зайти к нему в дом, но, стесняясь, отказываюсь. Шолохов, видимо, догадывается, в чем дело, и заводит речь по-другому:

– Рюмку водки выпьете? Там после музыкантов, вероятно, осталось.

– Благодарю! С удовольствием.

– Тогда прошу. Заходите.

За столом я много говорю, вероятно, больше, чем следовало, но хозяин понимает меня и относится ко мне очень радушно. Спрашиваю его о писателе-охотнике Валериане Правдухине, по книге которого я впервые познакомился с Западным Казахстаном.

– У вас есть его книга «Годы, тропы, ружье»? Очень интересная.

– Кажется, нет. Да, нет, – неуверенно отвечает секретарь писателя Зайцев.

– А сам он, Правдухин, какой? Вы его знали? – обращаюсь к Михаилу Александровичу.

– Был знаком. Мне он показался несколько угрюмым, но как будто неплохой человек. А жена его, Лидия Сейфуллина, после трагической гибели мужа пала духом.

Как-то перескакиваю на Панферова. Безапелляционно заявляю, что мне не нравится его язык – грубый, часто встречаются натуралистические выражения, неудачны описания природы, в частности описание охоты сделано плохо. Михаил Александрович не возражает и только изредка кивает Зайцеву.

– А что вас еще до войны привело сюда, в Казахстан? – интересуется писатель.

– Его беспредельные степные просторы. Сюда переселились многие мои земляки-полтавчане. Хотелось посмотреть, как они здесь живут. А еще одна привлекательная сторона – хорошая охота и рыбалка.

– Так почему же тогда вы не поехали на Дальний Восток, в Приморье, например?

– А я уже побывал там, два года работал агрономом колхоз-союза в начале организации колхозов. Побывал и на озере Ханка, воспетом Николаем Михайловичем Пржевальским. Только тяжелая болезнь матери и неподходящий для ее здоровья климат помешали мне навсегда остаться в Уссурийском крае. Теперь и не жалею об этом. Если бы там остался, – я улыбаюсь, – то сегодня не сидел бы за одним столом с вами.

Покачивая головой, писатель, ничего не говоря, переглядывается со своими.

Разговор перешел на дела семейные, на моего сына Петра, который погиб на Волховском фронте, защищая подступы к городу Ленина. Шолохов спросил, почему я называю его незаменимым сыном.

– Это был сын-друг...

– А... сын-друг, – понимающе смотрел на меня Шолохов. – Не падайте духом, может, сын еще жив, находится где-нибудь в Норвегии.

– Нет, Петя не такой, в плен он не сдастся. Его товарищ Прохоров писал мне, что в тот день сын, уходя на командный пункт артдивизиона под деревней Пчева, попросил у него два патрона к нагану, чтобы в крайнем случае, если немцы, окружившие их артдивизион,

захватят командный пункт, было чем застрелиться. Гитлеровцы, переодетые в советскую военную форму, наскоком захватили пункт. Больше о судьбе сына мне ничего не известно. На все запросы получаю один ответ: «Пропал без вести в бою под деревней Пчева...»

Увлечшись разговором, я не сразу заметил, что за столом остались только мы вдвоем с писателем. Спыхватившись, конфузливо извинился, собираясь уходить.

– Ничего, ничего, посидите еще, поговорим, очень интересно.

Но мне было совестно, и разговор уже не клеился...

Через несколько дней писатель пригласил меня с семьей на просмотр короткометражного фильма «Шолохов дома, на охоте и на рыбалке». Сажу рядом с Михаилом Александровичем, любуюсь мирной Вешенской, Доном, которые вижу впервые. Оживленно разговариваем, благо тема приятная – жизнь писателя и его родной край. Михаил Александрович сообщает, что вчера под вечер, возвращаясь из Уральска, он видел четырех волков, но стрелять в них не удалось. Убил несколько стрепетов.

– На одном из них, – шутит Шолохов, – ясно видна пометка «ППГ» – видимо, вы с ним встречались, поэтому и хочу предложить его вам.

– Охотно возьму, но только займы, – неожиданно для самого себя ломаюсь я.

– На любых условиях – займы так займы, – соглашается писатель.

Уже много лет спустя, беседа с Михаилом Александровичем, я вспомнил, что с этим долгом мне так и не удалось рассчитаться – охотничьи трофеи его почти всегда были богаче моих.

Павел Иванович Зайцев, рассказывая о Вешенской, сообщает, что теперь значительная часть станицы сожжена или разрушена гитлеровцами, полчищам которых удалось прорваться до самого Дона. Разрушен и дом Шолохова.

Ряд кадров показывает Михаила Александровича на балконе дома. По соседству с ним мужчина, показавшийся мне пожилым. Запомнились вихры и заметная лысина.

– Писатель Василий Кудашев, друг Михаила Александровича. В 1941 году погиб под Москвой, – поясняет Зайцев. – Он, как и ваш любимый Правдухин, был страстным охотником. – Я хотел возразить, что Правдухин вовсе не мой самый любимый писатель, а просто интересный, наблюдательный охотник для меня, но воздержался. О Кудашеве спросил, не тот ли это Кудашев, который лет пятнадцать тому назад работал в журналах, издаваемых «Крестьянской газетой». Оказывается, он самый.

После просмотра фильма Мария Петровна пригласила зайти к ним и вручила мне стрепета.

– Вот вам презент Михаила Александровича.

Благодарю, прощаюсь и ухожу – на сей раз без всякой задержки.

С приглашением Шолоховых к себе дело затягивается: то писатель уедет на фронт, в Москву или в Куйбышев, где находились многие правительственные учреждения, то был очень занят работой над книгой о войне, отрывки из которой уже печатались в «Правде», один из первых, кажется, 5 мая 1943 года². Дарьинцы с захватывающим интересом читали их. Многие восхищались главами романа «Они сражались за Родину».

...Мой тринадцатилетний сын Витя, как и все его товарищи-под-ростки, много, с восхищением говорит о Шолохове и старается где-нибудь его увидеть, хоть издали. Однако в тот вечер, когда писатель должен был прийти к нам, Витя в десять часов уже «спал». Во время ужина мы несколько раз звали его, но он не откликнулся. Когда же после полуночи гости ушли, «сонный» сразу поднялся. И поняли мы: хитрил.

О гостях: Михаил Александрович и Павел Иванович Зайцев пришли с женами – Мария Петровна и Полина Петровна – родные сестры. Все держались очень просто. Наше скромное угощение: украинский борщ и вареники с творогом и сметаной – они, как и принято в подобных случаях, хвалили. Хорошей была признана и бутылка настойки на шиповнике.

Заходит разговор о войне. О союзниках, особенно об Англии. Шолохов отзывается о них критически, именуя их «союзничками». По убеждению писателя, больших надежд на них возлагать нельзя.

Я касаюсь недавно появившейся пьесы А. Корнейчука «Фронт». Спрашиваю, как к ней относятся в армии и как, в частности, на нее смотрит высшее офицерство?

Михаилу Александровичу, похоже, на эту тему не хочется говорить. Он отвечает коротко, лаконично:

– Не приходилось обсуждать. В общем, правильно, но сильно перегнуто. Едва ли в армии было так много бездарных командиров. Наши неудачи в начале войны зависели не только от слабых командиров. Причины этого гораздо сложнее и глубже...

– А кто, по вашему мнению, самый талантливый из наших полководцев в этой войне? Писатель, пытливно посмотрев на меня, не спеша, как бы обдумывая, начинает:

– Трудный вопрос, на него мудрено ответить.

Война выдвинула немало талантливых военачальников, а кто среди них самый выдающийся?.. Я полагаю, к наиболее достойным следует отнести Жукова и Василевского. Можно также назвать Конева и ряд других имен. Это, подчеркиваю, мое личное мнение.

– А Верховный как?

– Верховный? – удивленно переспрашивает писатель. – Всем известно, что он пользуется огромной популярностью и в армии и среди народа. Это очень много значит. Вполне обоснованно считают, что многие из наших военных успехов достигнуты под его руководством.

– А наши неудачи, за чей счет следует отнести их?

– Отчасти, возможно, и за счет Верховного. Однако стоит ли касаться таких вопросов? – недовольно морщится Шолохов. – В свое время историки все выяснят... Давайте лучше поговорим о жизни в вашем районе.

– А вам, корреспонденту «Правды» и «Красной звезды», приходилось попадать в опасные положения? – задаю бестактный вопрос. – Может, расскажете?

– На фронте неопасных положений не бывает. – И больше он ничего не сказал.

Затем разговор перешел на разные житейские темы. Михаил Александрович, любящий шутку, слегка, деликатно подтрунивал над некоторыми собеседниками, не исключая и себя.

...Вскорости Шолоховы пригласили к себе всю мою семью. Не без труда уговорили и Витю пойти вместе с нами. Шолохов приласкал мальчика.

– Ну, теперь уже не будешь стесняться? Будешь к нам ходить? – спрашивает Михаил Александрович.

– Буду, – не очень твердо обещал Витя, хотя слова своего он так и не сдержал.

... В каждый приезд с фронта Шолохов заходил в райком партии и, вдобавок к довольно скудным сообщениям Совинформбюро, рассказывал о положении на фронтах. Кроме членов бюро на этих беседах обычно присутствовали партийные активисты, живущие в райцентре или невдалеке от него.

– ... Шолохов прилетел с фронта! Слыхали?! – сообщали друг другу жители Дарышска.

... На этот раз разговор шел в основном о положении на Волге.

– Что там под Сталинградом? – беспокоились дарыинцы. – Говорят, немцы совсем уже его захватили, на левый берег Волги перебрались.

– Конечно, это была пустая болтовня! Правда, Сталинград здорово разрушен. Но наши там много гитлеровцев перемололи и овладеть Волгой немцам ни за что не дадут. На этом фронте, – сказал Шолохов, – скоро надо ждать больших, отрядных перемен, возможно – в ближайшее время...

И вправду, вскоре наши войска начали широкое наступление под Сталинградом.

...Осенью 1943 года Шолохов встречался в Уральске с председателем Совета Министров Казахской ССР Ундасыновым.

Говорили о многом: о войне, о помощи, которую трудящиеся республики оказывают фронту, о положении в Западно-Казахстанской области. Ундасынов сообщил, что на фронте погиб сын Джамбула тридцати шести лет.

Вскоре после этого Шолохов поехал в Москву. Вместе с ним были подруги – дочь писателя Светлана и моя дочь Ольга, поступавшие в столичный университет... Отъезжающие разместились в маленьком служебном вагончике, который только что разгрузили от овощей, привезенных откуда-то железнодорожниками. По приглашению хозяина провожающие уселись за столик, выпили по рюмке за счастливую поездку. Чуть позже зашел начальник отделения дороги и – к столику. Михаил Александрович чокается и с ним, немного отпивает из рюмки. Железнодорожник настаивает – чтобы всю.

– Не могу! Я ведь не лошадь, чтобы пить со всеми без меры.

Такой резкий ответ мне впервые пришлось услышать от деликатного Михаила Александровича.

Начальник отделения, не смущаясь, пытается завести разговор на литературную тему:

– «Они сражались за Родину» – статьи в «Правде» – ваши?

– Мои.

– А «Братья» чьи?

– Горбатова.

На этом, к удовольствию Михаила Александровича, расспросы закончились.

В день возвращения из поездки Михаил Александрович позвонил мне, приглашая зайти. По его рассказам, в столице и повсюду, где ему приходилось бывать, наблюдается большой подъем и бурные проявления патриотических чувств, вызванных победоносным наступлением Советской Армии. Днепр якобы уже форсирован в нескольких местах. В районе Киева три наших дивизии захватили плацдарм на правом берегу реки. На следующий день Совинформбюро подтвердило: «Днепр форсирован нашими войсками севернее Киева, южнее Переяславля и юго-восточнее Кременчуга. Советские армии возобновили наступление по всему фронту от Витебска до Тамани».

Я просидел у Шолоховых часа полтора и спохватился – ведь люди с дороги, устали. Поблагодарил и, уходя, напомнил, что мое приглашение Шолоховым побывать у меня осталось невыполненным.

– В недалеком будущем с удовольствием навестим, – заверил Михаил Александрович.

Спустя несколько дней Михаил Александрович за обедом сам сообщил о намерении в ближайшие дни переехать к Волге. Писатель недавно побывал там. В тех местах живет туговато, труднее, чем в Западном Казахстане. Но люди незамедлительно возвращаются с Востока в освобожденные от гитлеровцев районы европейской части страны.

– Стремление скорее вернуться в родные края так велико, что люди идут, невзирая на трудности, – делится своими впечатлениями писатель и, минутку помолчав, добавляет: – И нам надо двигаться.

– А не лучше ли семье побыть здесь месяц-другой?

Нет, Шолохову необходимо перебраться ближе к фронту, который отодвинулся уже далеко на запад. Чтобы добраться туда, военному корреспонденту приходится грузить автомашину в вагон. А из Камышина можно ехать на своем «виллисе» прямо куда надо. К тому же от Волги до Вешенской значительно ближе.

После обеда Шолохов вслух прочел напечатанную в «Правде» статью Гроссмана, кажется, под заголовком «На Украине».

– Хорошо написана! С удовольствием поставил бы свою подпись.

Михаилу Александровичу особенно понравились слова автора о том, что после окончания войны к радостным чувствам советских людей о достигнутой победе присоединится глубокая скорбь о погибших защитниках родины, кровью которых завоевана Победа. Эту мысль и Шолохов неоднократно высказывал в беседах с дарьинцами.

Накануне отъезда Шолоховых моя семья пошла с ними попрощаться. Посидели, поговорили, по старинному русскому обычаю выпили по рюмке «на коня». Михаил Александрович со всеми расцеловался.

Вечером того же дня Шолохов зашел в райком партии. Я знал о его намерении и к приходу писателя уже был там. Шолохов пригласил руководителей райкома завтра утром зайти к нему попрощаться.

...После короткой остановки в Уральске Шолоховы, попрощавшись с провожающими, двинулись дальше, на запад. Мы провожали их до Чаганского моста.

– Счастливого пути! – машем мы руками.

Уехали...

Почти через месяц П.И. Зайцев письмом сообщил мне: «В Камышин доехали благополучно. Квартира вполне хороша. Теперь Михаил Александрович имеет небольшой отдельный кабинет и, приезжая с фронта, много работает над военным романом».

Накануне нового, 1944 года, не имея точного адреса, я послал телеграмму: «Камышин Сталинградской писателю Шолохову. Поздравляем вас семьей новым годом, желаем здоровья, благополучия». А еще через день получаю письмо от Михаила Александровича.

Затем моя связь с писателем прервалась. «Надолго ли? – раздумывал я. – Может, навсегда?»

Покидая Западный Казахстан, Шолохов говорил провожающим:

– Не прощайте, а до свидания. Как только кончится война, я снова приеду к вам. Обязательно. Тогда уж мы с вами, Петр Петрович, – обратился он ко мне, – и на гусей вместе поохотимся.

Сдержит ли Михаил Александрович слово, приедет ли к нам в Приуралье? – часто думал я.

Осенью 1945-го, в два часа темной октябрьской ночи к домику в поселке Дарьинском, в котором я жил, подъехала машина. В окно постучали:

– Пустите ночевать?

– Кто там?

– Это – Шолохов!

...После этого писатель много раз бывал в Приуралье, проводил там недели, а бывало, и месяцы. Мне посчастливилось сопровождать его в поездках в колхозы и совхозы, разделять с ним часы досуга на охоте и рыбалке.

Большой радостью для меня были приглашения Михаила Александровича посетить его в станице Вешенской. Там, под гостеприимным кровом шолоховского дома, в кругу семьи и друзей писателя я провел несколько счастливых месяцев.

На подаренной мне книге «Поднятая целина» Михаил Александрович написал:

«Петру Петровичу Гавриленко. Пусть наша с тобой большая дружба длится столько, сколько я писал эту книгу. Хай живе она на радость нашим стареющим сердцам.

Твой М. Шолохов. Ст. Вешенская. 25.04.60».

В шолоховской палатке

Хороша в степном Приуралье ранняя осень. Воздух чист и прозрачен, насыщен запахами целинной степи. Светло-оранжевое солнце уже не жжет, а только греет. Его ласковые лучи золотят дремлющую степь, разноцветно искрятся на поседевших метелках приозерных тростников, на не тронутых косой волнами серебристого ковыля.

...К берегу большого степного озера осторожно подходит невысокий, ладно сложенный русоволосый человек с такими же светлыми усами. Он без шапки, обут в высокие сапоги, подпоясан патронташем, все гнезда которого заполнены.

Остановившись у кромки воды, охотник прислушивается к доносящемуся из-за камышей негромкому гусиному говору, к которому примешивается криканье уток, а временами – и мелодичный переклик лебедей. Лицо охотника озаряет улыбка.

Полюбовавшись отрадной картиной, охотник заходит в озеро, нагибается и, пофыркивая от удовольствия, начинает умываться студеной, чистой-пречистой водой. А на берегу снова некоторое время прислушивается к доносящимся с озера милым его сердцу звукам, а затем быстро шагает к белеющей невдалеке палатке.

* * *

Это было в конце сороковых годов. Воспоминания о давно прошедшем вспыхнули в голове, когда я, просматривая старые фотографии, задержался на одной из них: Михаил Александрович Шолохов умывается в озере Челкар.

Смотришь – и в памяти всплывает чудесное, дорогое сердцу прошлое. Достая свои дневники той поры и с волнением считаю: «... Вот уже две недели, как просторная шолоховская палатка стоит на берегу Челкара, в урочище «Кок Мечеть». Никакой «Зеленой Мечети» здесь уже давным-давно нет, и следов ее не осталось. Но старое название в народе сохранилось.

– Где же она стояла, эта самая мечеть? – спрашивали мы челкарских рыбаков.

– А кто ее знает? – недоуменно пожимали они плечами. – Старики говорили: где-то здесь, поблизу от вашего стана.

Михаил Александрович, пряча улыбку в своих, как он сам называл, «пшеничных» усах, говорил супруге:

– Мне кажется, Маша, Петр Петрович неспроста посоветовал разбить палатку у этой самой «Зеленой Мечети». Я давно замечаю у него влечение к учению Магомета. Видимо, его прельщает надежда со временем, когда его Одарка (имя моей жены) постареет, взять еще одну, молодую жену. Как Карась в опере «Запорожец за Дунаем» он тогда споет: «Нехай Одарка выбачае...»

Все посмеялись шутке. А потом снова зашел разговор о прошлом, которое безвозвратно уходит, зачастую не оставляя следов. Мне пришло на память прекрасное стихотворение А.К. Толстого «Курган»:

В степи, на равнине открытой
Курган одинокий стоит:
Под ним богатырь знаменитый
В минувшие веки зарыт.

В честь витязя тризну свершали,
Дружина дралася три дня,

Жрецы ему разом заклали
Всех жен и любимца коня.

Когда же его схоронили
И шум на могиле затих,
Певцы ему славу сулили,
На гусях гремя золотых:

«О, витязь! Делами твоими
Гордится великий народ.
Твое громоносное имя
Столетия все перейдет!

...И вот миновались годы,
Столетия вслед протекли,
Народы сменили народы,
Лицо изменилось земли.

Курган же с высокой главою,
Где витязь могучий зарыт,
Еще не сровнялся с землею,
По-прежнему гордо стоит.

А витязя славное имя
До наших времен не дошло...

Я люблю эту грустную балладу. Михаилу Александровичу она тоже понравилась. Впоследствии писатель не раз предлагал прочесть ее вслух.

– Да... Ничто в жизни не вечно, – в раздумье сказал он.

Челкар – крупнейшее озеро Западного Казахстана – местные рыбаки называют морем, хотя его диаметр всего около двадцати километров. Но в бурную погоду на нем гуляют огромные волны с пенистыми гребнями, и никто в такую пору выехать на челкарские просторы не решится. Поэтому, вероятно, приуральцы и возвели Челкар в ранг моря. Впрочем, для этого имеются и некоторые основания геральдического порядка. В далекие, доисторические времена огромные низменности теперешнего Прикаспия были покрыты водой. Потом, как говорит поэт, «лицо изменилось земли» – вода ушла. Но в одной из впадин степного Приуралья еще сохранился скромный праправнук бывшего моря – озеро Челкар.

Неплохое наследство досталось ему от древнего могучего прародителя. Прозрачные, чуть зеленоватые и в сороковых годах нашего столетия почти пресные воды Челкара богаты рыбой: здесь изобилие судаков, сазанов, шук, лещей. А в густых прибрежных зарослях тростника, рогоза гнездятся гуси, утки разных пород и прочая дичь. Все это привлекало страстного охотника и рыболова Михаила Александровича Шолохова. Начиная с осени 1945 года он в течение многих лет осенью приезжал на Челкар, отдыхал здесь, охотился, проводя на берегах озера и в окрестных степях по месяцу, а бывало, и больше. Посещал хозяйства.

Одной из первых была поездка в Анкатынский племенной совхоз, животноводы которого в содружестве с учеными успешно завершали работу по выведению новой отечественной породы мясного крупного рогатого скота, впоследствии названной «казахской белоловой».

Шолохов восхищался великолепными племенными бычками и телками: крупные, красно-бурой окраски, с лысиной на лбу или полностью белоголовые.

Михаил Александрович провел в совхозе несколько дней, беседовал с директором Годуновым, научным работником Чкаловского сельскохозяйственного института Акоюном, старшим скотником племенного гурта Дандыбаем Исхаковым. Вместе с ними побывал в гуртах и на фермах.

Дандыбай Исхаков пригласил писателя к себе в гости на традиционный бесбармак. Михаилу Александровичу впервые пришлось отведать это национальное казахское блюдо.

Михаил Александрович просил хозяина соблюдать все принятые в таких случаях приемы, но был несколько озадачен, когда ему, как самому почетному гостю, дали разделать баранью голову. Сосед выручил, подсказал гостю, что надо сделать.

В дружеской беседе с животноводами писатель провел в доме Исхакова несколько часов. На следующий день он пригласил животноводов к себе. За чашкой чая и сибирскими пельменями продолжалась беседа, в основном о «казахской белоголовой».

Тут у Шолохова родилась мысль завести таких животных в хозяйствах Дона. Позже, когда новая порода была официально оформлена, писателю удалось этот план осуществить. В Вешейском, Боковском и некоторых других районах северной части Ростовской области начало развиваться мясное скотоводство.

* * *

В первой половине октября стояла на диво хорошая погода: уже отошла летняя жара, обычная в засушливых степях Приуралья, прекратились порывистые ветры, вздымающие облака мельчайшей въедливой пыли. Солнечно, тепло. Как говорит пословица «только бы жить да радоваться». В общем, мы довольны: можно на уток поохотиться вволю, порыбачить, поездить по степи, разыскивая дроф и стрепетов, на которых тогда охота была разрешена.

Массового перелета гусей и казарок еще нет. Видимо, в полярной тундре, где они проводят лето и выводят птенцов, тоже еще тепло. Птицам не хочется покидать родные просторы Приполярья. Мы часто – ранним утром, днем, вечером, а бывает, и ночью – подходим к берегам озера, прислушиваемся, не появились ли долгожданные гости. А их все нет и нет.

...И сегодня чудесное утро. Зеленоватая гладь озера как будто безмятежно спит под солнцем. Нигде не услышишь всплеска рыбы, не увидишь расходящихся по воде кругов. А птиц почему-то очень мало, не видно обычно многочисленных здесь утиных стай. Только на плесах, под самой стенкой тростниковых зарослей, кое-где виднеются лысухи. Но сегодня они не снуют непрерывно по воде, забавно кланяясь головой, как в другие дни, а сидят неподвижно, будто спят.

В чем дело? Что за перемена? Такой же вопрос мы задали и своему гостю, табунщику Анкатиного племенного совхоза, пригнавшему на водопой стадо быков. Выпив предложенную ему чашку чая, Ахмет – пожилой казах, в волосах которого уже прибавилась седина, – погладил усы и, ожидая, пока ему нальют вторую чашку, махнул рукой:

– Я так думаю – скоро плохая погода будет. Моя нога, которую испортила фашистская пуля, шибко болит, всю ночь спать не давала.

Заметив, что мы недоверчиво относимся к его словам, Ахмет недовольно поморщился.

– Вы ничего не понимаете! Посмотрите вон туда, – указал он рукой на северо-восток.

Только тут мы обратили внимание, что над самым горизонтом темнели мохнатые тучи. Они быстро разрастались. Солнце тоже на глазах меняло свой облик. Вокруг него появились как бы венцы, от которых во все стороны расходились не яркие, но отчетливо видимые лучи.

– Вот как! – удивились мы.

– Пхе! Ничего страшного не будет. Осенью такое часто случается, – презрительно скривил губы наш частый спутник в поездках донской казак Максим, – похмурится, посурмачит, а потом и разоидется.

– Вечер придет, тогда сам увидишь, – возразил Ахмет, – я думаю, сильный ветер, буря будет, дождь пойдет, а может, и снег. В наших степях и такое бывает.

Поблагодарив за чай, казах на прощание посоветовал нам надежно укрепить палатку и подготовиться к непогоде. Мы послушались его совета: укрепили палатку, вырыли вокруг нее водосточные канавки с выходом в лощинку. Укрыли брезентом свои запасы топлива. Машину решили поставить поближе к стогу сена, с затишной стороны.

Ахмет был прав. Скоро мрачные, иссиня-черные тучи, подгоняемые ветром, заволокли все небо. Крупные, редкие капли дождя начали стучать по палатке. Потом ветер чуть притих, а дождь, постепенно усиливаясь, превратился в ливень. Уже не капли, а густые струи воды лились на землю. Степь вокруг нашего стана, куда ни глянь, забурлила ручьями, которые стекали в понижения и рытвины. Спасибо Ахмету – предупредил, и мы успели сделать водостоки, а то наше жилье, без сомнения, подплыло бы.

Сидя в палатке на кошме, мы подкреплялись только что сваренной жидкой пшенной кашей – «польским кулешом», как называют ее на Дону, – «польским» потому, что он сварен не в помещении, а в поле. На второе блюдо были жареные утки. Максим и шофер Тимоша предпочли уткам лысух «кашкалдаков», как их здесь называют, жирных и, по их словам, очень вкусных, хотя и довольно сильно пахнущих не то рыбой, не то болотной тиной. Из-за этого многие лысух не едят. Михаил Александрович собирался было отведать, но потом раздумал, отказался.

– И что же, казаки, лысухи хороши? – улыбаясь, спрашивал он любителей кашкалдаков.

– Дюже вкусные, особенно под рюмочку! – аппетитно причмокнул Максим.

– Так что, может, и по второй выпьете?

– Да кто же от добра отказывается, особенно в такую погоду? – в один голос заявили казаки.

– Что же, Петр Петрович, – обратился ко мне Шолохов, – вы у нас хлебоदार и виночерпий, налейте охотникам по стопке, чтобы они не огорчались перемене погоды.

– И вы бы с нами попробовали кашкалдачка. Ей-богу, хорошая штука, ни на какую утку не поменяю, – предлагал Максим.

Михаил Александрович отрицательно покачал головой: в другой раз, сыт.

Закончив трапезу, Максим и Тимоша отправились под тент у автомашины, где поверх сена была разостлана толстая войлочная кошма. А укрывались казаки сверх одеял еще овчинными тулупами, так что на холод не жаловались. А мы, оставшиеся в палатке: супруги Шолоховы, их сын – подросток Миша, пожилая казачка Анна Антоновна и я, не зная, что делать, изредка перебрасывались словами.

Михаил Александрович хотел прочитать что-то вслух, придвинулся поближе к «летучей мышке», скупо освещавшей наше убежище. Однако порывы ветра, от которых трепетно вздрагивала палатка, вызывали движения воздуха, фонарь коптил. Пришлось значительно убавить пламя, читать стало невозможно, и мы поневоле улеглись отдыхать.

Так рано спать не хотелось, и постепенно завязался разговор о прошлом здешних мест, о жизни уральских казаков, о Пугачевском восстании.

Народная молва с именем вождя крестьянской войны связывает места, недалеко от которых мы находились. В хуторе Кожевникове, по преданию, несколько дней перед началом восстания скрывался Емельян Пугачев. А совсем близко от поселка Дарьинска, где в годы Отечественной войны жила семья Шолоховых, расположен хутор Федулеев, из которого происходил один из приближенных Пугачева казак Федулеев, впоследствии предавший его.

Рассказывая об этом, я спросил Михаила Александровича, бывал ли он в уральском музее, в бывшем Михайловском соборе, в домике казачки Устиньи Кузнецовой, с которой Пугачев обвенчался.

– В музее и в доме Кузнецовой бывать не приходилось. Емельян сам родом с Дона, из станицы Зимовейской. Там у него была жена и дети. По преданию, люди Пугачева бывали в нашей Вешенской, Букановской, в соседних местах. Пугачев был одаренный человек. Даже Екатерина в письме к Вольтеру называла Пугачева человеком «крайне смелым и решительным».

Михаил Александрович вспомнил рассказ Пушкина о беседе с современниками Пугачева, уральскими казаками, которые в ответ на обвинения Пугачева в «скотской жестокости» с достоинством говорили: «Не его воля была, наши пьяницы его mutilовали».

Великий поэт в своей «Истории Пугачева», написанной после поездки в Уральск и Оренбург, где он на месте недавних событий собирал материалы о крестьянской войне под водительством Пугачева и его соратников, говорил: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало. Не только попы и монархи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства».

Когда, кажется, обо всем уже переговорили и кое-кто начал дремать, я, накинув плащ, вышел посмотреть, вернее, послушать, что творится вокруг. Погода буйствовала: ветер валил с ног, из низко нависших туч лились струи воды.

– Ну как там? – спросил Михаил Александрович, когда я вернулся.

– Разгулялась непогодушка. Помните у Некрасова:

Мраком подернуты небо и даль,
Ветер осенний наводит печаль,
По небу тучи угрюмые гонит,
По полю – листья и жалобно стонет...

Невесело звучит у Некрасова, а у нас еще хуже, черт знает что творится.

– Ну, ну! – осветив меня электрическим фонариком и гроззя пальцем, проговорил Шолохов. – Не забывайте, что в том же стихотворении есть и другие строки:

Благо тому, кто предастся во власть
Ратной забаве: он ведает страсть,
И до седин молодые порывы
В нем сохранятся, прекрасны и живы,

Черная дума к нему не зайдет,
В праздном покое душа не заснет.

Так что не впадайте в хандру, – добавил Шолохов. – Помните наш лозунг «не унывать».

– Да я и не собираюсь хандрить. Просто вырвалось.

– Ну вот, сразу видно потомка запорожцев, – засмеялся Михаил Александрович. – Маша, – спросил он жену, – ты слышишь, что говорит Петр Петрович?

– Слышу. Разговоры у вас бедовые. А погода все-таки мерзкая.

Говорить больше не хотелось, все молчали, но сон не брал, и мы

долго ворочались с боку на бок: то на короткое время, задремав, забывались, то, пробудившись, слушали нудный стук дождя по брезенту, угнетающий свист ветра. Всю долгую осеннюю ночь лил дождь. Не порадовал нас и рассвет – те же дождь и ветер...

Утром, выйдя из палатки, удивляемся: до чего же сузился окружающий мир: небо куда-то девалось, вместо него – темная наволочь мрачных туч. Исчез в мутной пелене дождя высокий белоголовый холм Аккулак, расположенный на западном берегу Челкара. Даже избушка рыбака Григория Погадаева, находящаяся всего в трехстах метрах от нашей палатки, еле просматривалась. А Челкар, до которого было еще ближе, мы лучше слышали, чем видели. Лишь ясно доносившийся сердитый всплеск челкарских волн и монотонный шелест тростников говорили, что на озере было очень беспокойно.

Надев плащ-палатку с капюшоном, Шолохов вышел из палатки.

– Да, разверзлись хляби небесные! Кажись, так сказано в Священном Писании о Всемирном потопе? – спросил Антоновну.

– Я об этом ничего не знаю, – отмахнулась та.

– А разве поп Иван о Всемирном потопе ничего вам в школе не рассказывал?

– Может, и рассказывал, так я запомнила.

– А гайтан носишь. Какая же ты после этого истинно верующая?

– Я давно уже не истинная, – поморщилась Антоновна.

– То-то я замечаю, что ты всегда так любезно встречаешь Ахмета, угощаешь его.

– Ну вот тебе на, то какой-то поп Иван, то Ахмет, просто диво, – развела руками Антоновна.

Михаил Александрович, улыбнувшись, переменял разговор:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.